

бельские просторы

Учредитель
Правительство
Республики
Башкортостан

Соучредитель
Союз писателей
Республики
Башкортостан

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

в номере

Издается с декабря 1998 г.

№ 7 (200) Июль, 2015 г.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Горюхин. **Двести номеров вместе** 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Мустай Карим. **Бейеш**. Рассказ из цикла «Узелки судьбы».
Пер. с башкирского И. Каримова 4
Александр Филиппов. **Крылья отгоревшего рассвета...** Стихи разных лет 7
Пётр Храмов. **Инок**. Орывок из романа 13
Юрий Андрианов. **Только ветер**. Избранные стихи 22
Александр Пикунов. **Дровяной бизнес**. Рассказ 27
Рашит Назаров. **Все песни я вложил...** Стихи. Пер. с башкирского Ю. Андрианова 36
Сергей Матюшин. **В конце сезона**. Рассказ 43
Алексей Смирнов. **Ожидал весенний ливень...** Стихи 45
Борис Четвериков. **Благословенная Уфа**. Очерк 51
Станислав Шалухин. **С высот небесных**. Стихи 60
Рашит Султангареев. **Байки о товарищах по перу**.
Пер. с башкирского Марселя Гафурова 66
Эдуард Смирнов. **Хранилище испорченных часов....** Стихи 78
Ринат Юнусов. **Сёма**. Рассказ 85
Александр Банников. **Пустыня пустяков**. Стихи 92
Шамиль Хазиахметов. **Сладкоежка**. Рассказ 96
Анатолий Яковлев. **Оттуда, где красный лед....** Стихи 109
Марсель Гафуров. **Хэппи энд**. Из цикла «Дудкинские рассказы» 116
Светлана Хвостенко. **Реалити-шоу**. Стихи 122

ГАЛЕРЕЯ

Из истории уфимской фотографии XX века 128

ВОСПОМИНАНИЯ

Сагит Агиш. **Эти страницы так манят...** Дневник. Пер. с башкирского Л. Агишевой . . . 129

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр Филиппов. **Солнцепек Газима Шафикова...** 139
Ромэн Назиров. **Распрявление человека**. «Медный всадник» А.С. Пушкина 144
Александр Касымов. **Обновление жажды**. Поэзии любви на пороге империи страсти. . . . 152



КРАЕВЕДЕНИЕ

Юрий Узиков. Башкирская осень поэта. В. Луговской, М. Бурангулов	164
Зинаида Гудкова. Уфимские лесопромышленники Чижовы.	167
Руф Игнатьев. Местоположение г. Уфы до начала XIX столетия.	170

ПУБЛИЦИСТИКА

Газим Шафиков. На границе «противостояния» разных культур.	177
---	-----

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Марсель Гафуров. Не так просто, как кажется.	
<i>Заметки о труде переводчиков художественной литературы</i>	181

КРУГ ЧТЕНИЯ

Анатолий Чечуха. «Запомни даже небо и погоду...»	
<i>Об альбоме Вячеслава Стрижевского «Расцветали яблони и груши»</i>	193

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Литература. Культура. Имена	195
--	-----

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ

Розалия Вахитова. Ангел-спаситель. Рассказ	2
Илюза Биглова. Номер спасения – 112. Стихи	7
Булат Галиев. Спасатель – профессия века. Рассказ	7
Владислав Воронов. Слушайте, люди! Стихи	9
Руслан Рамазанов. Случилось чудо. Рассказ	10



ДВЕСТИ НОМЕРОВ ВМЕСТЕ

Есть два вида юбилеев. Один – по выслуге лет, когда прожил, просуществовал до какой-нибудь «се-ребряной» даты и уже только за это тебе почёт и уважение. И есть второй вид, когда в один прекрасный день на круглых колёсиках-ноликах подкатывает грузженный вагон дел твоих. Не будем пускаться в рассуждения, какой из юбилеев более правильный, скажем лишь, что сегодня у нас вагон на колёсиках – мы выпустили двухсотый номер! Чтобы понять, много это или мало, достаточно пересчитать все книги в домашней библиотеке, а для тех, у кого домашней библиотеки (такое и предположить страшно!) нет, подскажем: наши журналы займут весь ваш платяной шкаф. Но и это не всё! Вслед за количеством необходимо осознать то, что номер «Бельских просторов» и пухлый том романиста на пыльной полке не одно и то же. Раз в месяц журнал концентрирует в себе труд более десяти незаурядных и очень разных писателей, отобранных хитроумными редакторами так, чтобы каждый номер, отражая общую концепцию, был неповторим и маняще привлекателен. Не побоимся сказать, двести номеров – это жизнь и судьба тысяч литераторов, история течений, столкновений и парадигм, срез могучего литературного дерева, по кольцам которого можно проследить весь писательский процесс, существовавший в эти годы на наших просторах. Именно поэтому мы решили составить наш юбилейный номер так, чтобы читатель вспомнил авторов, которые превратились в знаковые фигуры нашей литературной жизни и, конечно же, стали вехами в жизни журнала. Мы часто с ними спорим, изредка сердимся на них, иногда обижаются они, но друг без друга нам никак. Это и наше башкирское всё – никогда не унывавший Мустай Карим; первый главный редактор Юрий Андрианов, на плечах которого мы сейчас стоим; единственный переводчик, в совершенстве владевший литературным башкирским и литературным русским, – Марсель Гафуров; единственный Народный поэт Башкортостана, писавший на русском языке, – Александр Филиппов; серьезный Рашит Султангареев, так остроумно, но мягко подтрунивавший над собратьями по перу; яркая как метеор Светлана Хвостенко; всегда ироничный Ринат Юнусов; саркастичный Анатолий Яковлев; тихо улыбавшийся сам себе Станислав Шалухин; интеллектуал Ромэн Назиров; всегдашний критик (как нам не хватает его разборов) «Бельских просторов» Александр Касымов; взрывной Газим Шафиков. Перечислять и перечислять! Они остались для нас всё теми же добрыми, мудрыми, тонкими, весёлыми, живущими здесь рядом на страницах нашего общего журнала «Бельские просторы».

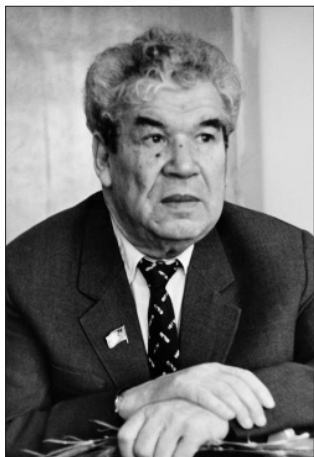


Главный редактор Юрий Горюхин

интервью
с
редактором

Бейеш

Из цикла «Узелки судьбы»



Это моя песня. Собственная, меня одного. Не с первого раза, как услышал, а со второго, то есть когда она была спета только для меня. И кто бы и где бы ни запел эту песню, лишь для меня звучит она. И сердце вбирает ее всю, без остатка. Но утолиться не может.

Увидеть, как открываются Небесные ворота, мне так и не довелось. Да и увидеть впредь надежды уже не осталось. Но чудо, сходное с этим, я ощутил тогда – в час, когда вновь родилась она. Тогда, в том краю, за Уралом, лежало, раскинувшись, волшебное озеро Ургун; к озеру приткнулась уютная деревушка, за нею Бирге-тау, Ближняя гора, нависла, гордо выпятив грудь. Мы вдвоем с Раузой идем к этой горе...

Впрочем, начать бы надо издалека, с того конца долгого, очень долгого пути, который привел сюда. Не то у пряжи нашего повествования может распуститься узелок.

Где-то в середине декабря 1934 года я зашел в редакцию газеты «Ленинец». И я вовсе не прохожий, мимоходом постучавшийся в дверь, нет, я – многих опубликованных заметок живой автор. Но в редакцию пришел впервые. Встретил меня улыбчивый рябой паренек несколькими годами старше меня. Улыбается он так светло, что лучики, выпрыгивая из глаз, скатываются в рябинки и начинают искриться в них. Накипи бед в этих глазах тогда еще не было. Темная горечь в них уже потом насочилась. Я представился. «Мухаммет Хайдаров», – назвал я. Я слегка растерялся. И попробуй не растеряться: автор заметок и стихов, которые я читал постоянно, самолично стоял передо мной! Он прочитал принесенные мной вещи, одобрил и повел меня на первый этаж, в бухгалтерию. Целая казна – полная андреевская казна, – оказывается, ждала меня там! Четырнадцать рублей! Хотя два ведра катыка и два фунтовых колобка масла из Кляшева в Уфу на продажу привези, таких денег не выручишь. Нет, на столько не потянут. Мой самый старший брат Муртаза, ожидавший меня на улице, остолбенел прямо, глазам поверить не мог. Лишь когда весь капитал ему в руку сунул, поверил.

Мухаммет, хотя и на четыре года старше был, сразу подружился со мной, на равных меня принял. Следующей осенью я поступил учиться на рабфак Уфимского педагогического института; в общежитии стал жить, на Карла Маркса, 31. Хайдаров после работы ко мне частенько заглядывает. Как-то в мае 36-го он пришел очень расстроенный. Сел рядом со мной на кровать, обнял за плечи, помолчал опечаленно и спросил: «Есть у кого-нибудь гармонь?» Из соседней комнаты я принес тальянку

проза

Мустафа Сафич Каримов (Мустай Карим; 1919–2005) родился 20 октября 1919 года в д. Кляш Уфимского уезда Уфимской губернии; умер в 2005 году в Уфе. Герой Социалистического Труда. Участник Великой Отечественной войны. Народный поэт Республики Башкортостан.

жившего там поэта Маули Садри, моего одноклассника. Сначала Мухаммет легко пробежался пальцами по клавишам. А потом заиграл, да так, словно душа места себе не находила, рвалась куда-то. Долго рыдала гармонь. Трудно было даже представить, что у спокойного, сдержанного Мухаммета душа может так стенать, так убиваться. «Влюбился, наверное, а та на другого смотрит, – по-своему объяснил я. – Это горе знакомое, я это уже изведаль, на собственной шкуре испытал. Совсем, выходит, глупая девушка! Такого, как Мухаммет, джигита еще поискать надо!»

Но гармонь сердечной боли не уняла. Вышли на улицу.

К зеленому киоску подошли, что на углу стоял. «Давай по стакану сметаны выпьем, – сказал Мухаммет, – может, она душу успокоит». Выпили. Не успокоила даже сметана. Тогда друг открыл мне свою сердечную рану: «Считай, что в клетке я. Подписку взяли о невыезде. Политическое дело шьют. Верь, вины моей нет. Прощай».

И пропал Мухаммет Хайдаров, словно в воду канул. Но три долгих года прошло – и он вернулся. Невеселый и неразговорчивый. Встречались только изредка. А потом началась война. Вернулся я израненный, к тому же больной туберкулезом легких. С начала весны 1950 года Мухаммет начал зазывать меня вместе с Раузой в Ургун, в свой аул. Там, уже женатый, он жил. Как приедет в Уфу, о целебном воздухе Зауралья, о смоляном запахе заповедных сосновых боров рассказывает, о колдовской красоте Ургунского озера, о черных линиях, что косяками ходят, сами верши ищут, чтобы в них попасться, о забавных проделках коневода Муртазы Алтынова, о мудрых сентенциях Абубакира-юродивого, о неунывающей Мастуре, которая с целым подолом детишек без мужа осталась, и ничего, растит свой выводок, только посмеивается. И все это, мною еще не виданное, стало близким. Рассказы его заворачивали меня, пленили и поднимали в дорогу. Красота горной страны, покуда еще неведомая, душу мою уже греет, будоражит мечты. Оказалось же, что еще одно сокровище там ожидало меня – околдует меня «Бейеш». Возможно, в другую пору, в другом краю воздействие этой песни не было бы столь властным...

В первые дни, как приехали в Ургун, побродил я вдоль озера, с лиственницами за околицей познакомился, на большее меня не хватило. Однако на гору, что возле аула, Бирге-тау, хочу подняться, чтобы на мерцающее внизу могучее озеро не отрываясь смотреть, покуда взор не утолится, на голубые долины, синие леса, на белые венчики Иремеля, что на самом изгибе земли. Но пока не решаюсь, дыхание сжимает. Жена Мухаммета, щедрая, на слово быстрая да острая Гайнамал, каждый день поит меня до отрыжки пенным козым кумысом. Другим, кто поздоровее, меньше перепадает. Неделя-полторы – и дыхание у меня освободилось, и в коленях окреп. И однажды по вечерней прохладе Рауза и говорит:

– Давай на Бирге-тау поднимемся.

– Уж не знаю, силенок-то хватит ли...

Однако решили, пошли. Когда до первого уступа добрались, я остановился, дескать, по сторонам смотрю, окрестностями наслаждаюсь. А сам поглубже вдохнуть стараюсь. Рауза шагов на десять повыше, на козьей тропке стоит. Подол синего платья ветерок теребит, загорелые уже колени то и дело выглядывают и исчезают. Она такая молодая, красивая, крепкая. Словно тугокрылая птица с точеной шеей.

– Тяжело стало, да? – спросила она.

– Нет. Остановился, чтобы на мир полюбоваться и на тебя.

– Если хоть одна половина правда – тогда согласна, – улыбнулась она.

Так, с остановками, пошли вверх. Она впереди шагает, я сзади иду. Уже и до вершины недалеко осталось. И вдруг тонкая нежная мелодия, словно дуновение с

небес, коснулась слуха и дошла до сердца. Я вскинул голову, посмотрел на небо: только оттуда могла быть она.

Из белой заячьей шкуры я шубу справила...

В прежние годы я слышал эту песню, Асма Шаймуратова пела ее. Красивая мелодия, протяжная, душу пленила. Но в душе долго не гостила, уходила вскоре.

Но что за чудо?! Та же самая песня, но с первой же нотой в горле ком остановился, по телу озноб прошел. И только тогда увидел: высоко надо мной стоит на большом камне Рауза и поет. Я и прежде ее песни слышал, но «Бейеш» она раньше не пела. От мягких трелей опустившейся на скалу синей птицы мой разум, словно дым, развеивается, душа с небом сливаются.

Из белой заячьей шкуры я шубу справила.

Из чего же верх будет?

Тонка нить птичьей трели, но крепка, тянет меня, я на этой нити карабкаюсь вверх, только доберусь, как птичка вспархивает выше. У меня же только страсти добавляется, новые силы прибывают. Вольной песне вслед и у меня дыхание открывается. Я теперь самого себя моложе. Судьба беспечальна, не было бед и невзгод, ни войны позади, ни тяжкого дыхания смерти. Певчая птичка уже до вершины долетела. Я не отстаю от нее, уже и обогнать готов.

Я смотрю в печальные глаза жены. А песня все тянется:

Лето на этой летовке прошло,

Зиму где буду зимовать?

Последние звуки ветер унес в сторону.

– Откуда пришла к тебе эта песня?

– Молчи. Сейчас ни слова. – Она опустила голову мне на грудь. Долго так стояла. Наконец вздохнула. Подняла взгляд. В глазах стояли слезы.

– Плачет... Вот глупая.

– От счастья. Эту песню я в позапрошлом году, когда ты в Москве в больнице при смерти лежал, по радио услышала и запомнила. В горе и горестная песня утешает, сама пою, сама плачу – и словно легче чуть-чуть становится. «Бейеш» словно бы о нашей жизни, полной тревог и неизвестности. О тебе думала, потихоньку с ума сходила: ты еще здесь, на этом свете летишь, а в зиму где будешь, куда уйдешь?.. И сказала себе: как встанешь ты на ноги, выйдем мы с тобой в чистое поле или на высокую вершину поднимемся – и я тебе эту песню спою, одному только тебе. Вот и сбылось мое желание. – И она озорно улынулась. – Так прими же мой дар, повелитель.

– Принял. Благодарю.

Вот и стою на вершине горы. Солнце возле самого плеча, на закат идет; у ног ветер прилег; внизу озеро Ургун, сверкая, лежит, остров свой с крутыми берегами обнимает; одна-единственная на нем лодочка покачивается, должно быть Абубакир в ней, юродивый философ; тянутся в легком мареве улочки; и, насколько глаз может охватить, – зеленые долины, голубые отроги, белые венцы Иремеля с каждым брошенным на них взглядом ближе подвигаются. Рядом любимая. В душе вечный подарок – «Бейеш». Что же счастье, если не все это?

– Еще один куплет знаю. Только сейчас петь не буду. Боюсь, не получится.

Я кивнул только. Потому что молния, если и дважды сверкнет, бьет только раз.

Вот потому-то «Бейеш» – моя песня, собственная. И кто бы где бы ни запел ее, звучит она для меня одного. Словно я на вершине Бирге-тау стою. Сердце вбирает ее всю, без остатка, но утолиться не может. Об одном жалею: когда я с этой летовки откочую, она сиротой останется. Это я про песню говорю...

Крылья отгоревшего рассвета...

Стихи разных лет

РУССКОЕ

Хорошо, когда тебе дарован
Этот мир, где полудень горяч.
Был я от рожденья коронован
На престол пожизненных удач.

Нам богатство накопили деды,
Славу приумножили отцы,
Но плоды доставшейся победы
Мы пустили по ветру, глупцы.

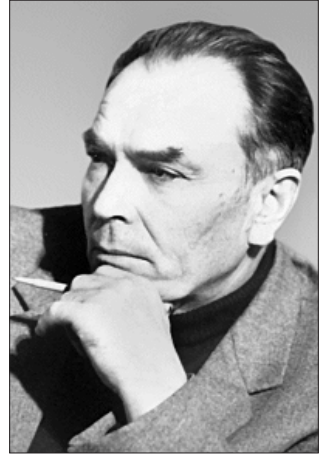
Все случилось так, как прежде было,
Нынче есть и будет навсегда:
На подворье, где падет кобыла,
Навсегда поселится беда.

И пришла она, и лошадь сдохла,
И телега сникла без колес.
И вода в колодцах пересохла,
Горькой стала, солонее слез.

Реки извели, траву скосили...
И с того трагического дня
Нищета – зубная боль России –
Беспросветно мучает меня.

Где она, великая победа?
Где страна без края и конца?
Не сумел я скрасить старость деда,
Не сберег безгрешного отца.

Шли они к Берлину и Памиру.
Да у всей планеты на виду!



Александр Павлович Филиппов (1932 – 2011) – поэт, прозаик, литературный переводчик. Родился 7 ноября 1932 г. в с. Юмагужа Кугарчинского района РБ. Народный поэт Республики Башкортостан, кавалер Ордена Салавата Юлаева. Основатель и главный редактор (1991–2011) газеты «Истоки». С 1968 года – руководитель секции русских писателей СП БАССР, с 1983 по 1991 год возглавлял Литфонд СП БАССР. Член редакционной коллегии журнала «Бельские просторы» с 1998 по 2011 год.



А вот я сегодня не по миру,
Как они,
А по миру иду.

* * *

Когда был молод, бестолково
Кричал кругом: «Я не боюсь,
Что каплей дождика слепого
В пространство неба испарюсь».

Бокалы пенились игриво,
Глотнешь – и не видать ни зги;
Бывало, испарялось пиво,
Да, слава Богу, не мозги.

Пора, растратившему перлы,
Мне перешагивать межу.
Туда, в пространство, я не первым
И не последним ухожу.

А что важней – само пространство
Иль то, что кануло туда?..
Извечной сути постоянства
Не разгадать нам никогда.

Пугает с возрастом усталость
Неотвратимостью судьбы:
Во мне ни капли не осталось
Того, что испарилось бы.

* * *

Миновало солнечное лето,
Время, время – к теще на блины!
Крылья отгоревшего рассвета
Холодом зимы опалены.

Я остановлюсь на перекрестке
Инеем подернутых дорог,
На ветру грустящие березки
Мне рассыпят золото у ног.

И за что такая вдруг награда
Тратящему скудные гроши?

Милые, мне золота не надо, —
Дайте тихой грусти для души.

Выпадало сладко жить нечасто,
Не себе прошу,
Господь, прости,
Дай ты моей Родине несчастной
Новые высоты обрести!

Чтобы чуял землю под ногами
Хлебороб, идущий в новый век,
Чтобы был сапожник с сапогами,
Чтобы был с дровами дровосек.

МУЗЫКА ЛЕСА

Живу непутево, неверно,
Греховную ношу несу,
Очиститься надо от скверны
В каком-нибудь дальнем лесу.

Уйду разнотравием диким
В убежище рыжих опят,
В колючих сетях ежевики
Запутаюсь с плеч и до пят.

Забьюсь в вековые трущобы,
Чтоб там на рогульках ветвей
Листва шелестела и чтобы
Звенел надо мной соловей.

Вдали от людского прогресса,
От буден сурового дня
Великою музыкой леса,
Как в церкви, окатит меня.

— Пора приниматься за дело, —
Заботливо щелкнул щегол,
— Очистил ты душу и тело —
И топай, откуда пришел.

...Несем мы нелегкое бремя,
То ль радость в нем, то ли беда:
Нам отдых дается на время,
А уйма работ — навсегда.



СТАРИННЫЙ МОТИВ

Кругом, от края и до края,
Лишь снег да синий небосвод.
Ямщик, уныло напевая,
Меня на родину везет.

Здесь никакой дороги, если
Свернуть и ехать напрямик.
Снега, снега вокруг... Не здесь ли
Когда-то замерзал ямщик?

На облучке, в кошёвке тесной
Сижу, укутавшись в тулуп.
«Мороз и солнце... День чудесный...» –
Слетает пушкинское с губ.

Ретивый конь бежит по следу,
Переступая ту межу,
Куда приеду я к обеду,
Как раз к застолью угожу.

Там, у заброшенной церквушки
Монашеская тень ольхи,
И всюду Пушкин, всюду Пушкин,
Его бессмертные стихи.

А колокольчик – дар Валдая –
Звенит, как прежде, под дугой...
Россия, ты одна такая,
И нет мне родины другой!

ЗИМНИЙ РАССВЕТ

Ночью ныли деревья и прутья,
Обозлившись на дикий мороз,
И луна, охладевши до жути,
Тихо плакала звездами слез.

Нет разбуженным краскам отбоя,
Возрождается зимний рассвет,
Оставляя вослед за собою
На снегу перламутровый след.

Просыпается льдиная трасса,
Дальнобойщики вышли на тракт, –
И в сиреневый сумрак пространства
Уползает полуночный мрак.

Поосыпались тусклые звезды,
Ночь угасла, прошел ее срок,
И безветренный ласковый воздух
Всем желает счастливых дорог.

УСПОКОЕНИЕ

Куда мне больно торопиться?
Зачем спешить? Чего бы для?
Я не сумел поймать жар-птицы
И проворонил журавля.

Проканителился, прохлопал,
Все перепутал: сон ли, явь.
Но успокоюсь: тот, кто сокол,
Тому не надобен журавль.

ВОСК СВЕЧИ В ГОРСТИ

Сколько зим, сколько лет –
Не сочтешь теперь...
Тишина... Полусвет –
Вместо стука в дверь.

На гранит не цветы –
Сердце кинуть рад,
Но оттуда, где ты,
Нет пути назад.

Две звезды, два крыла
Были мы с тобой...
Одному нет тепла
Даже в летний зной.

Одинок я как перст,
Воск свечи в горсти...
Предстоит этот крест
До конца нести.

МАМИНА МОЛИТВА

Мама испечет пирог,
На столе его разрежет
И немного за порог
Кинет птичкам крошек свежих.



Клюй, заморыш воробей,
Клюйте, бедные синички,
За страдания людей
Помолитесь Богу, птички.

Птицы певчие поют
Да за пищей рвутся к битве,
Все они съедят, склюют,
Не подумав о молитве.

Грешны мы... И день ко дню
Люди грех вершат, наверно,
Высоко теперь цену
Мамину святую веру.

Есть икона, стол неплох,
Хлеб не чаем запиваю,
А вот кинуть птичкам крох
Очень часто забываю.

За забывчивость мою
Надо б маме помолиться,
Но давно уже в раю
Мама – ангельская птица.

Инок

Отрывок из романа

1

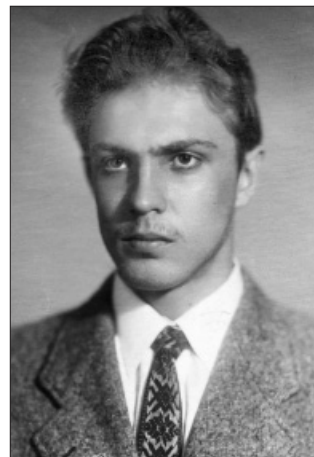
Ах, какой это был дом! Он не был похож ни на что, виденное мною до четырех лет, а видел я к тому времени хоть и немного, но ведь почти все – в первый раз. Я говорю «почти», ибо некоторые вещи, виденные мною впервые, возбуждали не удивление, а совершенно особенное чувство таинственной и родственной им сопричастности: словно небеса, речку, внимательный взгляд щенка, листву деревьев или материнскую печаль впервые видели мои глаза, но не впервые – моя душа.

А вот дом удивил. Он был весь деревянный (только лестница белокаменная), бревенчатый, с дивно вырезанными орнаментами наличников, карнизов и балкончиков, он был с крутой крышей и флюгером на ней, он был с островерхими ажурными башенками, и весь он как бы стремился к небесам и походил на остановившееся пламя. И был он весь розовый, а там, где облупилась розовая краска, как пепел мерцало старое, в светло-серых ворсинках дерево.

Ах, какой это был дом! Он менялся: по мере моего взросления в нем проступали то сказочное простодушие хором царя Салтана, то привлекательная чуждость вальтер-скоттовских замков, то совестливая и смиренная интеллигентность чеховского дома с мезонином. Впервые мы смотрели на этот дом вместе с бабушкой, и я по сей день помню ощущение своей руки в ее большой и мощной ладони. Бабушкины руки меня удивляли: громадные, загорелые и очень крепкие, были они с чрезвычайно ухоженными ногтями – полированными, светло-луночными, имевшими чистый, невинный, почти девичий вид.

Подняв головы, мы обошли дом с трех сторон, и бабушка тихо и медленно сказала: «Здесь мы будем жить». Я опустил голову и не поверил. Мне казалось невероятным, что в таком красивом, таком сказочном доме будут жить такие изгои, как бабушка, мама и я. Я был в замешательстве и, вроде как за поддержкой, повернулся налево – там текла река, а по реке шел лед.

Я впервые в жизни видел реку, тем более ледоход на ней, но не чувствовал ничего диковинного, напротив, все происходящее казалось мне само собой разумеющимся и совершенно естественным. Диковинное произошло позже, когда река очистилась ото льда и я увидел на ней темно-желтенький пароходик, со страшным напряжением



Храмов Петр Алексеевич (1939–1995) родился в Уфе. Окончил Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова. Работал художником-монументалистом в Уфе и других городах республики. Помимо романа «Инок» писал рассказы и стихи, оставшиеся неопубликованными. Лауреат премии журнала «Бельские просторы» за 2008 год в номинации «Проза».

Инок

шедший против течения и, как мне показалось, против естества – я даже кулаки сжал, привстал на цыпочки и сморщился, вроде бы помогая. Это напряжение почувдилось мне излишним и недостойным: я уже был опытен и уже знал, что нельзя идти против природы – нельзя насильно кормить щенка или кошку, надо ждать. Странно, но детское это ощущение жизнь постепенно превратила в убеждение – непоколебимое и твердое.

А вот на ледоход смотреть было и легко и весело – все шло натурально, все шло само собой, шурша, посверкивая, уменьшаясь. А надо мной и бабушкой белым, лимонным и нежно-голубым сияли и сияли небеса, а по краям, у горизонта, они сизотуманились, словно бы затихая. Много лет смотрел я на Белую, видел бесчисленное множество ее никогда не повторяющихся состояний, и стала она одной из моих жизненных опор, мерой естества и красоты, символом изменчивости и постоянства.

Такой же постоянной, как река, и изменчивой, как ее состояния, была моя бабушка – русская дворянка с крепкими мужицкими руками, молчаливая, твердая, светлоглазая, невероятно впечатлительная, до смешного самостоятельная и до странности добрая. Взявшись за руки, мы стояли у вырвавшейся на свободу реки, и по бабушкиному лицу я понял, что она кого-то вспоминает и мысленно с кем-то говорит. Я догадался – с мужем, моим дедушкой. Уже шесть лет (я знал это из разговоров взрослых) дедушка был где-то немислимо далеко, и неизвестно, был ли, но бабушка верила, что был, и вот сейчас, как я чувствовал, делилась с ним семейными новостями. Сколько же миллионов русских семей могли общаться тогда – шел сорок третий год – только так: остановившимся взором памяти, верностью душ и мучительным нетерпением сердца? Задумавшись, бабушка говорила, бывало, вслух кусочек какого-нибудь стихотворения. Вот и сейчас, глядя на блестящую воду, она сказала, слабенько прищурившись: «И от судеб защиты нет». Мы с бабушкой стояли и смотрели на реку, а лед все шел и шел, совершенно не печалась о своей обреченности. Вдруг я почувствовал, что нас уже трое. Посмотрел – рядом с нами дивился ледоходу маленький светлоричный щенок – лобастенький и скромный. Как бывало уже не раз, сердце мое мгновенно преисполнилось любовью и нежностью почти болезненной. Я стал калячить – просить, чтобы щенок жил с нами. Я особо напирал на то, что мы теперь не снимаем угол, а сами себе хозяева, и у нас есть своя комната. Бабушка молча слушала мои причитания и отразила их доводом неотразимым: «Бегаю по помойкам, он что-нибудь да поест, а у нас и самих есть нечего, и Лобик (в ходе выклянчивания я уже придумал ему имя, и мне казалось, что это увеличивает мои шансы) – и Лобик помрет». Печально спустил я с рук щенка, а бабушка подняла на руки меня, видимо в мое, да и свое утешение тоже. А лед все шел и шел, а вдоль берега пошел щенок – маленький и скромный, лобастенький и одинокий.

А на другой день мы переезжали на новое место. Вещей было мало – все разместилось на одной телеге. Помню важнейшие: швейную черно-золотую машинку «Зингер», зеркало «еще из Ростова» и несколько связок книг, нот, и журналы «Нива». Меня так беспокоила судьба моего зеленого одеяльца (может, забыли, может, потеряли) что мне показали его при отъезде, по приезде и раза два в пути. На телеге я почти не сидел, а шел рядом с неторопливой и покорной лошастью, стараясь еще и еще раз заглянуть ей в глаза, которые обожгли меня выражением нездешнего смирения. И вообще, лошадь чрезвычайно понравилась мне и всей своей статью, и тем, что, останавливаясь, помаргивала как-то простецки рассеянно, и еще тем удивительным сочетанием невыразимо вольного с невыразимо подневольным, что так роднит лошадей с хорошими русскими людьми.

Ехали долго – то по островкам асфальта, то по сырой земле, то по упрямым сизым булыжникам – путь к новому дому оказался разнообразным. Я увидел много старинных и милых домов, их резные наличники и балконы осенялись тихими липами. Мне показалось, что бабушка едва заметно кивала им со слабой полуулыбкой сожаления.

Миновав белую пожарную каланчу, мы проехали мимо черного завода горного оборудования. «Раньше он был Гутмана», – пояснила бабушка. Завод мне не понравился. Закопченный и грязный, он, казалось, осквернял все, что было с ним рядом, даже деревья в его дворе производили впечатление тягостное и жалкое. Нелепо и розно стоящие с перекрученными, казалось, стволами, с обломанными, едва зазеленевшими ветками, они походили на женщин, только что подравшихся в очереди за мукой. С облегчением смотрел я направо – ах, река, со вчерашнего она стала вроде бы шире и выпуклей, льдин стало совсем мало, и плыли они, словно одумавшись, медленней.

Телега наша спустилась под гору и по гулкому под копытами мосту переехала малую речонку Сутолоку, коричневым блеском мерцающую на дне глубокого оврага. Из оврага тянуло сыростью и запахом шиповника. Налево показалась церковь – стройненькая, голубая и радостная себе самой. Возница снял холщовую фуражку и перекрестился. Я подивился его смелости. Мама и бабушка замерли уважительно, но примеру его не последовали. Забоялись. Увлеченный дорожными видами и покорным обаянием лошади, я не вдруг заметил возницу, который после привычного ему жеста привлек любопытное мое внимание. Он явно не походил на обычных своих собратьев – не избивал лошадь, не корчил из себя «рабочую косточку», не сквернословил. Напротив, был молчалив, скромен и трезв. Запомнилась общая незаметность неяркого, смирного и простого облика, и особенно его ботиночки, размером почти подростковые, опрятные, ухоженные, старенькие. А потом мелькнул его взгляд – взгляд покорно раздумчивой безысходности, который, казалось, порою вмещает всю человеческую жизнь. Странно, но на руке его было золотое или медное колечко. Он помог нам сгрузиться, неумело принял плату и поехал, бабушка вежливо ему поклонилась. Торопливо кивнув, он как-то стесненно ссутулился и чем-то неуловимым дал нам понять, что на новом месте он желает нам счастья. Бабушка долго стояла задумавшись.

2

И вот стали мы жить в сказочном доме. Тогда я имел весьма смутные понятия о времени и, вероятно, уже через месяц полагал, что мы давным-давно обитаем в большом и диковинном тереме. Ниспосланная нам комната была маленькой, но о трех окнах. Два окна были прямо против входа, с видом на близкий забор, за коим оживал весною большой и красивый сад. Сад был частью поместья весьма странной семьи, виртуозно сочетавшей в себе патриархальщину, уголовщину и «патриотическое» доносительство. Последнее обстоятельство, очевидно, и избавило от фронта молодых и здоровенных парней этого образцового для сталинского режима семейства. Молчаливо-наглые, эти парни неспешно бродили по нашей окраине, искусно совмещая в себе хулиганскую приبلатненность шпаны с вельможной значительностью райкомовских баев.

В солнечные дни элитарный сад был как праздник и сиял так, как может сиять только сад. Были в нем и вишневые деревья. И когда я уже был старшеклассником, то, расцветая, эти пленные, казалось, деревья неуместно, печально и трогательно

напоминали мне Чехова. В нашей комнате стоял постоянный полумрак, солнце заглядывало к нам только перед самым закатом, дивно высвечивая смуглую радугу на торце старинного зеркала. Этот полумрак очень мне нравился, он казался мне уютным и четко отделяющим нашу семейную неповторимость от мира внешнего – чуждого, непонятного и враждебного.

А за садом находилась рыжая глинистая гора, на горе морг, а над моргом – тополь. Впоследствии я ходил в школу мимо осененного тополем морга с чувством неясности и смятения. Но еще в первом классе эти чувства как-то упорядочились – бабушка прочитала мне вслух жизнеописание Пушкина и показала картинки из него. И тополь мой стал словно из Лицейского садика, по аллеям которого то скучно бродил, то бегал вприпрыжку родненький наш арапчонок. А морг напоминал мне строки Жуковского о последних минутах Александра Сергеевича. Эти слова так поразили меня, что я попросил бабушку прочитать их еще раз и, слушая ее, машинально встал со скамеечки.

А смерть Пушкина я и по сей день воспринимаю как вообще Смерть. Да, смерть впечатлительного и благородного, великого и простого сердца превратила ужас абстрактного небытия в суть христианского прощания души.

Тополь над моргом... Он стал моим другом – по степени его освещенности я почти безошибочно узнавал время, по виду его листочков или обнаженных ветвей – погоду, а его состояния я всегда сопрягал с состоянием своей души. Когда он замирал в неподвижности, я тоже как-то стихал, и вроде тревожился, и вроде чего-то ждал. Я чувствовал, что это ненадолго, и действительно, только что оцепенелый, тополь мой оживал под ветерком, и ветви и листья его принимали формы самые разнообразные, напоминающие все что угодно – успевай только следить. И я следил, следил и фантазировал, расширяя глаза (я это чувствовал) и забывая положение рук и ног. А иногда, в тихие летние златонебесные вечера, не шелохнувшись ни единым листиком, он мог стоять в совершеннейшей неподвижности очень долго, чрезвычайно трогая меня мирным своим стоицизмом. Он не только приятно волновал меня многообразием своих жизнепроявлений, но, как мне казалось, знал о моем существовании и даже понимал меня. Это меня ободряло, и я залезал на печку, дабы без помех переживать радостную таинственность этих никому, кроме нас, не известных отношений. Перед сном я обязательно выглядывал в окно – вроде бы проститься с ним до утра; иногда тополь был слабо освещен снизу – значит, в морге творились дела жуткие. Тут я быстренько ложился в постель, радостно кутаясь в зеленое одеяльце, довольный тем, что я еще живой, хотя разницу между жизнью и смертью представлял не совсем отчетливо. А если мы засиживались допоздна, то над тополем появлялась звезда – очень ясная. Бабушка с несколько мистической полуулыбкой ребенка легонечко и благосклонно кивала «звездоньке», словно горничной, нуждающейся в ободрении: «Здравствуйте, моя милая, вот и вы». Помолчав, бабушка приглашала меня полюбоваться «на это чудо», но, видя мою вялость, интересовалась, какая же краса способна меня тронуть. «Глаза собак, – отвечал я и, подумавши, добавлял: – и лошадей». «Ах, – говорила бабушка и, живо переменив позу, вопрошала: – А людей?» Я помалкивал. Что делать, я и по сей день полагаю, что самое прекрасное, непорочное и чистое на свете – это глаза собак и лошадей.

А тополиную звездочку бабушка называла «вещей». Сидели мы однажды при свечке, ждали маму из школы и вечернего радиосообщения о положении на фронтах. Бабушка стояла у карты Европейской России, которая была утыкана булавка-

ми с флажками, которые она, сообразуясь с обстановкой, перекалывала с выражениями весьма разнообразными – судьба русской армии (бабушка никогда не говорила «Красная Армия») болезненно ее волновала. Составив себе мнение, бабушка подошла к окошку, увидела «звездоньку» и спросила: «Ну, что нам сейчас скажет Левитан, вещунья моя милая?» «Мигнула», – сообщила бабушка с иронической значительностью и, подойдя к круглому черному радио, сжала руки и стала, глядя в пол, ждать. В положенное время «тарелка» ожила и бодрым голосом начала перечислять бои и сражения, населенные пункты и города, а потом называть фамилии и звания полководцев. Я сидел у печки и «мусорил» – выстреливал из чурки очередной пистолетик. Вдруг я заметил, что бабушка очень взволнована: ходит, сжимая и разжимая руки, то кутается в шальку, то ее снимает... и приласкала меня как-то рассеянно. Наконец пришла мама с двумя стопками тетрадей. Бабушка с несколько напряженной торжественностью села за стол и сказала: «Галя...» Потом, перебарывая волнение, погладила рукой клеенку и, вроде бы цитируя радио, сказала: «Сегодня нашими героическими войсками...» – но не сдержалась, заплакала. Потом, утирая слезы, но не убирая морщин со лба, почти спокойно сказала: «Наши Ростов взяли». Мама положила тетради и перекрестилась. Я впервые видел, чтобы она при мне осенила себя крестным знамением. Да, перекреститься – совершить тысячелетний жест предков – можно было лишь втайне от доверчивого простодушия собственных детей. Но мама, конечно, напрасно беспокоилась: я, как и все дети, был гораздо пронычательнее, чем предполагалось, и совершенно ясно сознавал, что о теплой глубинной внутрисемейной нашей жизни в мире внешнем и поверхностном нужно помалкивать. Странно, но именно скрытность внутреннего моего характера породила простецкую открытость характера внешнего.

3

Рядом с высоким, стройным и розовым нашим теремом распласталась похожая на барак лесопилка – организация весьма разнообразная: от работников – мрачная, от пил – звонкая, от опилок и стружек – пахучая. Сырье для этого предприятия приплывало по Белой в виде бесконечно длинных плотов и доставлялось под пилы способом совершенно варварским. Несколько бревен связывались цепью, и две лошади по бокам их тащили «долготье» вверх по довольно крутой горе. Связку из трех бревен лошади влекли споро и даже хвостами помахивали от возбуждения, хотя упирались, конечно, и шеи выгибали с напряжением. Так бы работать и работать, но нет. Погонщики лошадей, как и все нетерпеливые натуры, возбуждение имели извращенное и мятежное: почти постоянно будучи «выпимши», они наивно полагали, что чем больше связать бревен и чем страшнее погонять лошадей, тем работа пойдет успешнее. Укреплял их в этом заблуждении и парторг лесопилки, человек нечеловеческой энергии, словом своим пролетарским, страстью своей партийною. «Больше связывать бревен и стьюже с этими клячами, бить их и бить, и план, и план, а вам, товарищи, – пьемальные», – скандировал он, за чудовищным неимением времени справляя малую нужду тут же на берегу, даже не отворачиваясь.

Угрюмые погонщики безнадежно смотрели на его срам, мысленно сопрягая его вид с будущими своими дивидендами. Повинуясь воле партии и химерам своего невежества, мужики-фантазеры связывали вместе пять, семь и даже девять бревен. Мат

и побои увеличивались соответственно. При девяти бревнах лошади явно надрывались, но погонщики гнали и гнали их вверх похабными воплями и истязаниями

Господи, как же они их били: мученически вытягивая шеи и тыкаясь губами в грязь, лошади падали на колени, а потом валились набок в конвульсиях, хрипели, их кроткие глаза выкатывались и, глядя в одну точку, замирали в горестном и недвижимом недоумении. Тут погонщики с «широким русским надрывом» картинно бросали оземь кнуты и, матерясь до пены, ее, лежащую, избивали уже сапогами, светясь особым, пролетарским сладострастием. А она, не владея уже телом, вздрагивала только кожей, и отрешенный ее взор, вроде бы намекая на мольбу, по-прежнему оставался неподвижным, даже когда появлялась кровь.

Сердце мое разрывалось – я мучился не меньше четвероногих своих братьев. Ведь это ясно как день: три раза по три бревна гораздо быстрее, чем один раз по девять бревен. «Так же быстрее», – говорила бабушка истязателям, показывая на отвергнутую связку из трех бревен. «Просто быстрее», – повторяла и повторяла она с нервическим подергиванием головы и, нелепо, смешно и жалко сжимая мощные свои ладони, умоляюще глядела на стоящих животных, опасаясь глянуть на распластанное живое существо. Засуетилась. Потерялась. Отчаялась. Наконец взяла себя в руки, успокоилась и вместе с одним пожилым башкиром с трудом помогла лошади встать на ноги. И та стояла, родимая, пошатываясь, растопырив ноги, в крови, сначала низко-низко опустив голову, а потом подняла ее, слабо помаргивая и как бы ища точку опоры.

Как я понял позже, зрелище это было весьма символическим: бабушка стояла перед «народом», просто-таки олицетворяя трагедию русской интеллигенции – в шляпке (нарочито барской), в черном, «еще из Ростова», штопаном-перештопаном английском костюме, таковых же «счастливых» перчатках, в пенсне, с завитым маленьким локончиком около большого уха – потерянным изумлением перед бессмысленной жестокостью и родственным состраданием к живому существу. На глаза ее навертывались слезы бессилия – ее было жалко не меньше лошадей. Она говорила с «народом» о добре. О господи! Меня почти до озноба трогали ее деликатное заступничество, вежливая попытка ее лицемерия: «Вы же советские люди», ее верность своему классу в чувствах, поступках, манерах, даже в облике своем, для окружающих чуждом и нелепом, «не нашим».

И тридцать лет спустя она продолжала верить интеллигентским своим заблуждениям. «Если с людьми говорить по-доброму, по-человечески, они поймут», – говорила она. Истязатели слушали и смотрели на бабушку с иронически уклончивой глумливостью, с молчаливым достоинством охраняя известную только им пролетарскую тайну-истину. Всем своим покорным высшему суеверию видом они словно бы говорили, что эту великую пролетарскую истину никогда не поймет тот, кто не бьет и не мучает, тот, кто не врёт и не пресмыкается, тот, кто не может увечить живое естество жизни. «Вы поймете, вы поймете», – говорила бабушка, мелко кивая головой и моргая со счастливой задумчивостью. Никогда и ничего они не поймут: через сорок четыре года одряхлевшие кнutoбойцы или несчастные зачатые «по пьяни» их отпрыски, став волею судеб народными депутатами, на первом же своем съезде недолго думая стали верноподданно и «патриотически» глумиться над Андреем Дмитриевичем Сахаровым. А он стоял перед ними, беззащитная наша защита, стоял, как стояла некогда моя бабушка перед пролетариями-кнutoбойцами, стоял, как та только что вставшая на ноги, избитая в кровь лошадь, стоял, слабо помаргивая и как бы ища глазами точку опоры.

Нет – не поймут.

Внезапно на крыльцо лесопилкиной конторы выскочила девчонка и радостно выкликнула фамилии кнутаей с приглашением на партийное собрание. Раздумчиво матерясь, беспощадные люди поплелись в административные чертоги, оставив лошадей на попечение пожилого и озабоченного башкира. Между ним и бабушкой тотчас же начался осторожный, нащупывающий вероятную степень доносительства, но дружелюбный разговор.

Мне скучно было их слушать, и я занялся внезапно появившимся Лобиком, заметно подросшим за время нашего знакомства. За это время сам собою выработался ритуал наших встреч. Увидев Лобика, я обязан был упасть наземь, раскинуть крестом руки и «умереть». Лобик же должен был, вихляя хвостиком, взобраться мне на грудь, громко обнюхать и заскулить. Тут я должен был внезапно вскочить, взвизгнуть и носиться кругами, а Лобик за мной. Замечательно. Это – если сухо, если же сырость и грязь, то я просто пожимал ему лапку, а он, прикрывая глаза, подставлял мне горлышко – чесать. Так было и на сей раз: я присел на бревно рядом с пожилым башкиром и бабушкой, слушал мерный, успокоительный тон их беседы, почесывал Лобикино горлышко и поглядывал на свой тополь, не вдруг его узнавая. После сильного и горького напряжения с лошадьми и унижений бабушкиного заступничества душа как-то успокаивалась, вроде уютно укладывалась где-то в глубине меня, и все окружающее, казалось, снова появилось на свет и не совсем таким, как обычно, а вроде проще, понятней, родней.

Но все же что-то томило краешек души, что-то надсадно ее тревожило. Я догадался – злоба. А бабушка, едва я научился говорить, всегда внушала мне, что злоба, направленная наружу, – яд, и она перестает быть ядом, если направлена вовнутрь, против своих грехов. Я встал, походил, нашел среди штабелей долготья укромный уголок, где меня никто не мог видеть, огляделся и освоился. Лобик обнюхал все углы и сел, подняв ко мне мордочку. Я встал лицом к бревнам, закрыл глаза и помолится, уж как умел, помолится за кротких и несчастных лошадей и за буйных и несчастных их обидчиков. Вроде бы полегчало. Не без таинственности выбрались мы с Лобиком из древесного лабиринта, и я опять сел на бревнышко и опять стал смотреть на свой тополь. Я смотрел на не веселую и не грустную его естественность, на серенькое наволочное небо и его неяркий свет покоя над этой простой землей. И в душе моей творилось что-то простое, неяркое и тихое. И Лобик рядом сидел тоже тихонький. И вдруг где-то слабо почувствовалось солнце – все изменилось вокруг, и показалось, что небо хочет что-то сказать, но стесняется; или Господь, подумалось мне, так улыбочиво ответил на мою молитву и молчаливо призвал к терпению.

4

О немцах я слышал ежедневно: соседи говорили о них как о стихии, которая вроде дождя – когда-нибудь все же кончится; радио же упоминало о них тоном совершенно непонятным из-за вечной своей грозной и официальной торжественности. Мама о них «и слышать не хотела», а бабушка, читая в газете описания фашистских зверств, покачивала на них головою, но удивлялась не очень: «немцы же». Немцы. Я страшно взволновался поэтому, когда в самом конце войны услышал в темном коридоре: «Вон немцев-гадов пригнали баржи разгружать, склад у нас во дворе будет». И невидимый голос добавил с подло усмешливой растяжкой слов: «С дровишками будем».

Я рассматривал пленных немцев с любопытством необычайным и пугливым – злодеи же, но потом, подстраиваясь под взрослых, стал изображать безразличие с оттенком «патриотической» гадливости. В глубине души мне казалось, что взрослые тоже изображали суровое свое негодование, не понимал я только, что в основе этого лицемерия многих был привычный и вездесущий страх. Запомнились немцы странными своими шинелями и какой-то особой настороженной молчаливостью. Даже на внезапный шум, обрушившуюся поленницу например, они реагировали как-то заторможенно: поворачивали на звук не столько головы, сколько глаза. Впрочем, иногда они что-то горячо обсуждали между собой, с удивительным согласием начиная и заканчивая свой галдеж. Отдыхая, они не обменивались шуточками, не бравировали, как русские, своей усталостью, а тихо покуривали и почему-то часто смотрели на Белую.

Меня удивило, что наши конвоиры на немцев не злобствовались, – напротив, после обеда наш солдат, приподняв половник, кричал: «Добавки кому?» В ответ несмело приподнималось несколько (не более пяти из полусотни) плоских котелков. Всегда разных. Я догадался, что немцы по очереди подкармливали друг друга. Странно, но только на примере других наций – башкир, евреев, немцев – я узнал, что между людьми одной национальности существует братская и кровная связь. Русским же, как мне смутно чувствовалось, для осознания своей национальной общности требовались условия особые и противоестественные – бунт и пожар, смерть и война, или, на худой конец, героическая пьянка с мордобоем.

Эта немецкая взаимопомощь очень меня тронула: в ту пору я был очень внимателен к еде и человеческой дружбе. И вот с одним из этих пленных я бессловесно подружился. Он казался мне очень похожим на отца, не внешностью, просто тем, что был молчаливее, печальнее других и как-то особенно одинок. Таким, казалось мне, должен быть отец там, на войне, – печальным и одиноким, без мамы и меня. Немец, видимо, чувствовал симпатию в случайных (и не случайных) моих взглядах, и в ответ что-то смягчалось в нездешних его глазах.

Мне понравилось, что он осматривал удивительный наш дом, как дети осматривают новогоднюю елку, то поднимая голову для восхищения, то опуская ее для уяснения виденной красоты. Однажды он меня выручил.

У меня в ту пору была обязанность собирать для печки щепочки и кору в большую сумку, которую с несколько мелодраматическим выражением бабушка надевала мне через плечо. Я был впечатлительным человеком с уклоном в созерцательность и, заглядевшись на пророческое отражение облаков в реке (мне многое в детстве казалось пророческим – и направление дождя, и цвет снега, и полет птиц) или на нелепую драку слесарей на лесопилке, я «забывался» и являлся домой с «непузатой» торбой, за что бабушка осыпала меня укоризнами.

Однажды, решив доказать всем свою «приспособленность к жизни», я украл безразовое полешко и потащил его меж высоких белых поленниц. Преисполненный гордости, предвкушая радостное изумление домашних, я очень торопился и вдруг наткнулся на двух немцев. Один крикнул, забормотал нечто осуждающее и рывком отобрал у меня добычу. Другой же, «мой», что-то сказав товарищу и несколько его даже потеснив, отобрал полешко, вернул его мне и как-то дружелюбно сморщился. Сначала медленно, а потом быстрее я пошел домой, очень довольный своей «жизнеспособностью» и избранником своего воображения. Потом на белом от поленниц дворе мы встречались уже знакомыми взорами, но все равно – встречались и отводили глаза.

Я стал думать, чем мне порадовать моего заступника. Постоянное чувство голода подвигло меня на решение самое натуральное: я украл дома две большие (очень большие) вареные картошки, соль и тайком принес ему. Одну картошку он протянул мне. Я отказался и ушел домой с тихой радостью, впервые в жизни ощутив в душе тот удивительный свет, который вложен в нас Богом, но я не знал, как он называется. Выходя во двор, я всегда искал его глазами, и, если работала не его смена, мне становилось как-то скучно, даже щенки не так радовали. Я заметил, что он тоже симпатизирует щенкам, особенно одному, степенному и важному. Однажды, тоже тайком и вроде бы между прочим, он подарил мне солдатскую алюминиевую пупырчатую пуговицу и карточку кошки. Чтобы домашние не приставали с расспросами, я спрятал подарки в сарайчике, – таинственность этих отношений, безмолвная их многозначительность сильно меня волновали. И во всю мою последующую жизнь меня очень трогали вещи таинственные и невыразимые никаким человеческим словом: церковь, могила матери, полонез Огинского, посмертная маска Пушкина, рублёвская «Троица», старческий взор.

А потом немцев увезли. Я стоял на берегу и смотрел, как они грузились на баржу. Грузились четко, строем, беспогонные их офицеры ими командовали. Уже на барже, среди толпы, я разглядел «своего». Мы встретились взглядами. Я боялся махнуть ему рукой, да и он, видимо, тоже: неуверенно приподнял было руку, но поправил только воротник и стал смотреть в сторону. Внезапно пароход закричал, захлопал колесами и, дрогнув тросом, повлек баржу. Я посмотрел на небо, бог знает почему, и было на нем великое множество облачков вроде перламутровых булыжников. Я долго стоял на берегу, пока баржа и пароход не стали совсем маленькими. Как ни странно, это была первая потеря в моей жизни...

Только ветер

Избранные стихи



* * *

Серым волком рыщет ветер –
Колет лапы на стерне.
Спится роще на рассвете,
Да не спится мне.

Встану тихо, встану чутко,
Шарф на горло и – за дверь.
(Смотрит сны во сне дочурка –
Ты пока им верь).

В сером небе, в сером поле,
В роще, плачущей во сне,
И не горько, и не больно,
И не страшно мне...

Только ветер.
Только снова
В заповедной глубине
Слово сдавит горло, словно
Скоро плакать мне.

Слово сломит и поднимет
В ясном дне и в чёрном дне.
Ветер в поле, роща стынет –
Скоро плакать мне?..

Но неожиданный,
Но былинный,
С кликом, с крыльями вразлёт
Журавлиный табор длинный
Небо разорвёт!

Он крылатым хором грянет,
Счастье с горем повенчав.

избран

Юрий Анатольевич Андрианов (1953–2007) родился 13 февраля 1953 г. в Уфе. Поэт. Автор книг: «Дни», «Под весенней звездой», «По воле твоей» и др. Первый главный редактор журнала «Бельские просторы». Заслуженный работник культуры РБ, лауреат премий им. С. Злобина и Ф. Карима.

Сердце канет, да воспрянет,
Болью боль поправ.
Хор небесный растворится,
Ветер сникнет.

Тишина...

Спит дочурка...
Мчатся птицы
Сквозь ресницы сна.

* * *

Постоять на крыльце до озноба,
До тяжёлой звезды в небесах,
До высокого трудного слова
На прокуренных, горьких губах.

Это просто и в меру нелепо –
Навалившись спиной на дом,
Слушать умное, позднее небо
Над родным деревянным гнездом.

Слушать гул созревающих листьев
И в траве лёгкий топот жуков,
И, скользящий на лапах по-рысьи,
Осторожный проход облаков.

Это просто – смекалку отбросив,
Стать доверчивым, чтоб ощутить,
Что высокое не произносят,
Что его надо молча любить.

Вновь дышу я дыханием вешним
Полусонных, старинных садов,
Где с любви к расцветающим вишням
Начиналась к Отчизне любовь.

Это просто – без всяких досужих...
Это свойственно сердцу – любить.
Но влюблённым трудней равнодушных
Говорить почему-то и жить...

Почему-то я снова и снова
Вечерами под небом стою.
До себя самого, до основы,
До высокого трудного,
До знобящего слова –
Люблю.



* * *

«Вы видите, птица зовёт вас куда-то», –
Промолвило дерево-женщина ветру.
«Я сплю в ваших листьях, покрытых росой,
Я сплю в ваших листьях», – сказал он.

«Вы слышите, в поле качнулась ромашка», –
Промолвило дерево-женщина ветру.
«Как трудно расстаться мне с вашей листвою,
Как трудно расстаться!» – сказал он.

«Ступайте, мы ночью увидимся снова», –
Промолвило дерево-женщина ветру.
«Когда не случится беда по дороге,
Увидимся снова», – сказал он.

А в полдень в ту рощу пришли лесорубы
С заливистой песней, с пилою...
Не знали, что дерево женщиной было.
А песню красивую спели!

* * *

Не приезжай, любимая,
Не надо –
Ещё не отогрел я спящих пчёл
И зимних птиц не научил ещё
Произносить над тихим снежным садом
Твоё лишь имя.

Здесь только я пока один умею,
От холода, немножко занемев,
Произносить его чуть нараспев –
Так дети,
В школьной тишине робея,
Слова слагают.

У нас ещё блуждают повсеместно
Слепых метелей дикие стада,
И по ночам такие холода,
Что счастье будет просто неуместно,
Как в детстве горе.

Не приезжай, любимая,
Не надо.
Давай вздохнём на верность,

На любовь...
Пусть никогда
 не встретиться нам вновь,
Давай вздохнём:
 я здесь – над снежным садом,
А ты – над всей зимой.

* * *

В том доме я редкий гость –
В том доме гостей не любят,
Там гость, словно в горле кость...
А с виду,
Посмотришь – люди.

И песня в том доме есть,
И книгами шкаф заложен,
Но лезет из песни спесь,
Но лезут книги из кожи.

Здесь вместо кота – ковёр,
Улыбке взамен – усмешка.
Зайдёшь и стоишь, как вор...
А у хозяев спешка:
– Ну долго ж ты к нам шагал...
Садись посиди...
– Да бросьте...
Мне книжку бы...
– Жаль, отдал...
Прости, торопимся в гости...
Хозяин глядит насквозь,
Хозяйка не смотрит вовсе.
Ах, чёрт возьми,
Я же гость!
А впрочем,
И вы ведь в гости...

Я б сердце своё взорвал
От горькой любви и злости,
Я б губы к губам прижал!
А вот набиваюсь в гости.

Ковёр отползёт от ног,
Откатится кресло в угол...
Спасенье для всех – порог!
О, как её взор испуган.



* * *

Через детскую память,
Вдоль тихого поля ржаного,
Сквозь тоску похорон,
По окраинам дома родного
Я пройду, словно тать,
Не замечен никем, не наказан,
Я пройду навсегда,
Без следа,
Осторожно и сразу.

Я пройду и пойму,
Что уже различить невозможно
Крик ребёнка и птицы
Над вечной, над бронзовой рожью.
Я пройду,
И напрасно
Неслышимый филином ветер
У меня на пути расплеснёт
Шелестящие сети.
Не сорвётся звезда,
Не ударится ветка о ветку,
Млечный путь не раскрутит
Свою голубую рулетку...
Лишь почудится мне,
Что промчалось над чёрной тропой
Всё, что было со мною,
Всё, что было со мною.

Дровяной бизнес

Рассказ

В далекие годы, когда мне было только еще лет шесть-семь от роду, любил я ездить с отцом в город с дровами. Хлебом меня не корми, только дай поехать в этот самый город, представлявшийся мне тогда большой-пребольшой деревней, где-то там, у черта на куличках, на самом краю света.

Жители города тогда еще не были избалованы ни водопроводом с горячей водой, ни паровым отоплением, ни сетевым газом с газовой плитой. Поэтому они продолжали по старинке кашеварить и нагонять тепло в свои квартиры с помощью дров. Этот товар тогда пользовался большим спросом и был всегда в цене.

Зимой, когда полевая страда с ее заботами-хлопотами оставалась позади, отец возил на лошади эти самые дровишки в Уфу, помогая ее жителям скоротать зиму в тепле и уюте.

Как только я чуял, что отец затевает поездку в город, тут же приставал к нему: «Тятя, возьми меня с собой!» Мать всегда была против моих таких отлучек: «Мал еще, а дорога не близкая, мороз, ночь, мало ли что может приключиться в пути». Но отцу, понимавшему мое страстное желание ехать, как-то удавалось ее убедить, и она скрепя сердце в конце концов все же соглашалась отпустить меня. И я, на седьмом небе от счастья, в предвкушении чего-то, не зная чего, начинал готовиться в путь.

Хоть компаньон и помощник-то из меня не ахти какой важнецкий, но все равно отец, надо полагать, чувствовал себя уверенней, сильнее, когда рядом находилась живая человеческая душа. Какая-никакая, а все же моральная опора, поддержка. Есть с кем перекинуться словечком за длинную дорогу. Есть кому подсобить.

До Уфы от деревни Князево наберется верст сорок с солидным гаком, а посему, если хочешь поспеть на базар не к шапочному разбору, а гораздо раньше, дабы захватить место повыгоднее, в самом центре, на пяточке, а не на задворках его, где будешь потом стоять как на иголках, в ожидании, когда на тебя наткнется хоть какой-нибудь заваливающий покупатель. И приходилось выезжать из дому с вечера, как только звезды усеют небо.

Нагрузит, бывало, отец еще засветло на дровни сухих вязовых, ильмовых или дубовых поленьев, заготовленных загодя еще в летнюю пору на луговых лесных делянках или в Риме (лесная чащоба на длинном вытянутом полуострове, образованном петлей реки Уфимки), хорошенько увяжет веревкой эти плотно уложенные отборные полуметровые чураки, а сверху бросит на них две-три хороших охапки сена. Это моя мягкая сиденка и лежанка и обед для лошади.



В час отъезда я забираюсь на воз, получше, поудобнее там устраиваюсь в этом шуршащем зеленом душистом гнезде и укутываюсь в большой отцовский овчинный тулуп с воротником из собаки.

Отец еще раз обойдет вокруг упряжи, потрогает, проверит еще раз всю сбрую: как затянута супонь хомута, потрогает гужи, крепко ли держится дуга, на месте ли чересседельник и подбрюшник. Пощупает руками завертки на оглоблях. Убедится еще раз — не скосбочился ли воз и крепко ли увязан. Затем он засовывает сзади за узорчатую самотканую опояску топор. Хотя это и лишняя обуза, тяжесть при ходьбе, но за опояской (пояской, как ее называли) самое подходящее, самое надежное место для топора. А на возу, где его ни пристрой, все равно того и гляди, что скользнет в снег и... поминай как звали. А без топора в дороге как без рук. Случись какая поломка, голыми руками только прутик и можно выломать.

Мама выходит нас проводить, чтобы открыть и закрыть за нами ворота. Она волнуется, отпуская нас в ночь, в неизвестность. А волноваться-то ох как есть из-за чего! Не так давно сосед Григорий поехал так же вот с поклажей в город на базар, а обратно лошадь привезла его уже окровавленного и холодного. Какие-то извергинелюди отняли у него грошовую выручку за дрова да еще самого отправили на тот свет. Так иногда оборачивались эти вояжи в город. Но мать отпускала нас, уповая на Бога: авось все обойдется.

Перед тем, как отворить высокие тесовые ворота с двускатным навесом, мама напутствует отца: «Ты уж поосторожнее там, Степан». «Да уж ладно», — отвечает он. А мне мама наказывает: «Ты там крепче держись, Шура, наверху-то, смотри не полети оттуда». «Ладно, мам», — отвечаю ей. Еще мама просит отца: «Ты уж копейку-то побереги там, зря не рассатаривай». «Попусту-то, конечно, не буду сорить деньгами», — заверяет он ее. Мама, наверно, втайне надеется, что ее Степан доставит оттоль, с базара-то, если и не мешок денег, то, во всяком случае, хотя бы уж набитый ими полный карман.

Отец еще раз проверяет топор сзади за опояской: не мешает ли при ходьбе. Думается, что топор он держал за опояской, как пистолет, всегда наготове под рукой для самообороны в случае чего. В те времена еще большую часть пути от Князево до Уфы приходилось добираться то кустами, то перелесками, где всего можно было ожидать на глухой ночной дороге.

Мама отворяет ворота. «Ну, с Богом», — говорит. Коняге нисколько не хочется идти со двора, из теплого сарая, покидать, можно сказать, семейный круг, где по соседству находится о чем-то тяжело вздыхающая буренка, беспрестанно, не спеша, словно в задумчивости, что-то так аппетитно жующая. И овечки, подражающие ей. Но они не в пример ей — буренке — жуют гораздо проворнее, будто куда-то торопятся. Наш трудяга — Игренька — не предвидит ничего путного для себя в том, что мы собрались куда-то на ночь глядя. «Опять тащишь невесть куда, опять бодрствуй всю ночь. Видно, мало тебе дня-то, готов еще и ночью оседлать. Эх, хозяин, хозяин, да нешто так можно: ни себе не знаешь покоя, ни другим не даешь?» Умный Игренький любил своего золотистоусого хозяина за его строгость, за заботу и внимание к нему. И в силу своего доброго покладистого характера никогда не доходил до открытого протеста или бунта, как это порой бывает с уросливыми лошадьми.

Но наконец-то наш послушник раскачался, стронул с места воз, который своими полозьями затянул нескончаемую скрипучую мелодию, будто парой смычков заиграл на какой-то неведомой расстроенной скрипке. Старт взят. Наше ночное путешествие навстречу неизвестности начинается.

Затворивши за нами большие ворота, мама долго еще стоит в распахнутой калитке, прислушиваясь в темноте, как удаляется, постепенно стихая, скрип наших дровней. Ночь нас поглотила совсем, разъединила с мамой. Потом она войдет в избу, чтобы всю ночь, а затем и день метаться, переживать за нас: «как-то они там?» И так вплоть до нашего возвращения.

Мерин нехотя переваливается с боку на бок, переставляя ноги. Он то и дело останавливается, будто устал, выдохся. Отец подходит узнать, в чем дело: не высоко ли вздернут череседельник, как сидит хомут. Проверит все. И, не обнаружив никаких изъянов, понукает его: «Но, пошел!» Тот снова неохотно трогает с места. В нем еще тлеет маленькая надежда: не раздумаем ли мы, не повернем ли обратно к дому, где его снова пустят в сарай. И он будет коротать длинную ночь в своем привычном теплом кругу. Но убедившись, что в этом плане ничего не светит, а все равно придется шагать вперед и волочить этот проклятуший воз, он, чтобы не напрашиваться на повелительное хозяйское: «А ну, шевелись! Чего плетешься как спутанный?», — в конце концов, смирившись со своей такой долей, как с неизбежностью, мало-помалу расходится, и шаг его становится размеренней. Он включает на постоянно свою первую скорость. Отец одет полегче. На ногах у него не валенки, как у меня, а добротные, собственноручного изготовления узорные лыковые лапти с белыми, сотканными мамой шерстяными онучами. Тепло ноге, уютно, легко, не жмет, не давит. Шагай себе, сколько влезет, хоть на край света. На плечах у него легкий ватный «пинджак», чтобы не упариться на ходу. Обычно он шагает сзади воза, держась за конец веревки, которой связаны дрова. Садиться на воз он себе позволяет только под уклон дороги: просто встает сзади на полозья дровней. И держится за поклажу — экономит, бережет силенки лошади, чтобы не иссякли прежде времени: дорога-то какая длиннючая, а груз не пустячный. Шагая сзади, он удерживает за веревку воз от падения на бок на раскатах, то есть на укатанных участках дороги, где дровни съезжают боком со середины ее или влево, или вправо под уклон и могут опрокинуться. А такой неприятный казус однажды с нами случился, когда мы следовали на базар не с дровами, как сейчас, а с сеном. Тогда я, сидя наверху, видно, убаюкался и крепко заснул. Да и отец, возможно, шагая сзади, притомился и потерял бдительность. А наш высокий воз с сеном будто только и ждал этого момента, чтобы тоже прилечь. На большом раскате он, съехавши вправо с гребня дороги, сильно ударился об ее обочину и повалился на бок. Я вверх тормашками полетел с воза вниз в снежный сугроб. В момент моего падения и приземления мне приснился мгновенный сон (такое бывает: именно мгновенный), наваянный фотографией Данилы — отца моего детского товарища — соседа Миньки. На этой фотографии его отец изображен с молодецки закрученными усами. Он с саблей наголо лихо мчит на своем боевом коне. Когда мы с Минькой рассматривали эту фотографию, висевшую в простенке между окнами во двор, он делился со мной своей сокровенной детской мечтой: «Вот как вырасту большой, тоже, как и отец, стану кавалеристом, отращу такие же, как у него, закрученные усы и буду на своем боевом коне догонять удирающих врагов». Чтобы не отставать от товарища, я тоже решил (когда вырасту) податься в кавалерию, чтобы вместе с ним бить врагов. И теперь вот, пока я сонный пикировал с воза в снег, мне и приснилось, будто передо мной, как в кино, развернулась панорама какой-то нескончаемой степи. И там, впереди по ней убегают неприятели-беляки. А мы с другом Минькой уже большие, у нас лихо закручены усы. И мы на своих горячих, как огонь, боевых скакунах с саблями наголо, мчимся, как ветер, пригнувшись к луке седла, и вот-вот настигнем улелеты-

вающего врага. Как вдруг, в этот-то самый ответственный решающий момент, мой разгоряченный аргамак обо что-то спотыкается, и я на всем скаку, оторвавшись от седла, кубарем лечу на землю. Лежу и соображаю: то ли я живой, то ли убитый. Чувствую, что кровь течет у меня по лицу, но почему-то она холодная. Я захлебываюсь и кашляю. А в это время мой верный конь тормозит меня за плечо, пытаюсь поднять и отцовским тревожным голосом спрашивает: «Шурк, а Шурк, ты жив, не убится?» Я не могу понять, в чем дело, продираю глаза, прихожу понемногу в себя и вижу, что лежу на снегу, лицо залеплено снегом, он тает на губах, течет по подбородку. Смотрю, это не конь, а отец трясет меня за плечо и еще раз спрашивает, не ушибся ли я. Вижу, воз лежит на боку, беспомощно задравши вверх свои лапти-полозья. И лошадь, подсеченная неожиданным ударом оглобель, как-то неуклюже завалилась на бок и беспомощно дрыгает ногами, пытаюсь подняться и освободиться от сбруи. Убедившись, что я жив, отец кинулся к коню, уговаривая, успокаивая его: «Тпру-тпру». А тот испуганно тихонько ржет, как будто умоляя о помощи. Боясь, что наш Игреша покалечится, свернет себе шею повернутым набок хомутом, отец быстро рассупонил хомут, освободил дугу, развязал чересседельник, и обрадованный Игренька, вскочив на ноги, вышел из оглобель. Отец здорово переволновался, расстроен, горюет, то и дело причитает: «Ах ты, едрит твою мать-то!» То ли себя таким образом попрекая за оплошность, то ли мерина, то ли меня — правилу, уснувшего на доверенном мне посту. А может быть, всех сразу заодно. Он умел, конечно, отводить душу, выражаться и гораздо крепче, заковыристее, как и любой русский мужик. Но в моем присутствии он такого себе не позволял, сдерживался: наверно, стеснялся меня, берег мою детскую душу. Пригнувшись, упершись плечом в воз, отец, раскачивая его под команду: «Раз, раз!» — пытался снова поднять его. Пристроившись рядом с отцом, я тоже тужусь что есть мочи, упершись в сено головой. Но, по-видимому, я не все силы выкладывал в своих стараниях, поэтому воз и не думал нам подчиняться: как лежал на боку, так и продолжал отлеживаться, не изъявляя ни малейшего желания принимать вертикальное положение. Делать нечего, отец развязал бастрик, быстро развалил сено и, установив сани рядом на дорогу, принялся снова да ладом навивать воз. Меня он поставил наверх, чтобы я осторожненько ногами утрамбовывал сено. Отец нервничает, то и дело руганью облегчая свою душу. Время идет. Держа в поводу своих лошадей, нас осторожно объезжают по снегу такие же, как и мы, бизнесмены. Один хмурый бородатый дядя, объезжая нас, крепко выругался: «Почему загородили дорогу?!» А другой, из сердобольных, сочувствуя постигшему нас горю, прокричал, не останавливаясь: «Бог в помощь!» «Спасибо на добром слове», — отвечивал отец. Наконец, воз навит, придавлен бастриком и — «Ну, пошел, родной!» Прибыли мы тогда на базар с великим опозданием и довольствовались бросовым местом. Может быть, с тех пор отец и не любил связываться с сеном: мороки с ним в пути хоть отбавляй, а барыш невелик. Тем более что мама, узнавши, как я, сонный, бухнулся с воза в снег, так перепугалась за меня, что наотрез отказалась пускать меня в такие рискованные поездки. Да и отец, наверно, в том случае перепугался за меня не меньше мамино и потому, чтобы не рисковать мной, решил поставить крест на сенных делах и переключился на дрова.

И сейчас вот мы едем с дровами. Вечерние огни погасли. Глухая ночь. Все живое давно погружено в сон. Ни «гав-гав!», ни «ку-ка-ре-ку!» не доносится ни откуда. А мы втроем: я, отец и наш мерин Игренька, — будто одни-единственные на всем белом свете, бесконечно долго барахтаемся в какой-то вязкой морозной зимней ночи, пробиваясь сквозь нее навстречу своему счастью. Под скрип полозьев, под эту дико-

винную музыку я сижу на верху воза и наблюдаю, как медленно проплывают справа и слева то очертания деревьев на фоне ночного неба, то кустов, то ровное снежное покрывало. Наблюдаю, как заговорщицки подмигивают мне звездочки, которыми усыпано, где гуще, где реже все небо надо мной. Ночь берет свое. В какой-то момент я так увлекаюсь созерцанием ночных пейзажей и бесчисленного множества небесных голубых зрачков, что, убаюканный, как в люльке, размеренным покачиванием воза в такт неспешному вышагиванию коняги, вдруг сникаю, повалившись на бок, выпускаю вожжи из рук и крепко-накрепко засыпаю сладким блаженным сном, словно провалившись в невесомость. И снится мне, будто я иду по улице и, не жалея мехов, наяриваю на тальянке, пытаюсь извлечь из нее волшебную сладкозвучную мелодию. Но вместо этого я с трудом выдавливаю из нее какие-то отвратительные, режущие слух, скрипучие звуки. Наш коняга некоторое время шагает, не контролируемый вожжами, пока они не попадут под полозья дровней и, натянувшись, резко не остановят его. Отец подходит и, ухвативши его под уздцы, осаживает назад. Он, натужившись, неохотно пятится. Затем, отстегнув один конец вожжей от узды, отец вытягивает их из-под дровней. Снова взвзвизгивает конягу и, растормошив меня, вручает мне вожжи. Я ничего не понимаю: только что в руках была гармошка, а тут вот они, вожжи. Я постепенно начинаю соображать, приходится в себя, возвращаться к действительности. А отец, шутя, попрекает меня: «Ты что же это, мужик, так крепко задумался, даже вожжи из рук выронил?» Я с усилием раздираю тяжелые, будто свинцовые, непослушные веки. Наш путь продолжается. Отец спрашивает меня: «Ты не озяб там, Шур?» А я не знаю, что такое озяб: то ли это когда продрог, окоченел, то ли когда совсем уж очурился. Поэтому отвечаю: «Не, не замерз». А мороз не церемонился. Он находил какие-то лазейки и проникал ко мне под тулуп. И тут, наверно, я немного хитрил, потому что сознайся я, что замерз, в следующий раз отец еще подумает, взять меня с собой в город или погодить. Время от времени он останавливал лошадь, стаскивал меня с воза и заставлял пробежаться, размяться, согреться, да и лошадке тоже неплохо было передохнуть. А ночь все также властвует надо всем. Вот мы уже достигли Глумилинской горы, самого трудного участка пути. Нужно одолеть этот крутой протяженный подъем, а лошадь основательно приустала. Превратилась в белую шершавую глыбу, обросшую инеем. У отца тоже белые брови, на усах сосульки. Мы стоим в ожидании, пока лошадь подкопит силенок для сражения с этой горой. Начинаем штурмовать кручу. Отдохнувший мерин с усилием волочит воз вверх, громко пофыркивает, при каждом выдохе выпускает огромные клубы пара. Иногда он, плохо уцепившись подковами передних ног за твердь укатанной скользкой дороги, падает на колени. Отец, упершись руками в воз, толкает его сзади, помогая Игреньке твердо встать на ноги. Наш незаменимый безотказный труженик притомился вконец. Он то и дело останавливается для передышки, потом снова с трудом страгивает воз с места. Но вот наконец-то мы осилили и этот тяжеленный участок пути. Мы наверху! Отец скомандовал трудяге: «Тпру-у!» Тот не стал дожидаться повторного повеления, сразу же остановился. Тяжело поводит боками. Умotalся. Пусть отдохнет. Отец подошел к нему, погладил по заиндевевшей морде, благодаря его таким образом за усердие. Тот тихо радостно заржал, согласный с отцовской похвалой: «Молодец!» А я поднес ему в руках пучок сена: «На, мой хороший Игреньчик, поешь немного». Он опять тихонько заржал, принимая мое угощение. И, вообще, я всегда при каждом удобном случае спешил к своему другу Игреньке с каким-либо гостинцем: то пучком сена, то куском хлеба (до которого он был большой охотник), наблюдая, как он бережно, осторожно, чтобы

не повредить мою маленькую руку, забирал с нее эту корочку своими мягкими бархатными губами.

Отдохнувши, подкопив силенок, трогаемся дальше. Настроение улучшается. Верный наш надежный коняга тоже воспрянул. Большая и самая трудная часть пути позади. Едем по Глумилино. Это длинная, как кишка, улица, по которой мы вытягиваемся в город.

Незлобиво, по-дежурному брешут полусонные городские барбосы из дворов, мимо которых мы проезжаем. «Кого там еще несет нелегкая по дороге ни свет ни заря?» — проворчат, не вылезая из надышанной конуры, и снова поплотнее свернутся калачиком, уткнувши нос в пушистый хвост. А дальше, как по цепочке, нас разноголосо перенимают такие же бессменные стражи хозяйского добра из других дворов, оповещая всех и вся: «Мы здесь, мы начеку, не вздумайте сюда сунуться!» Дело ближе к свету. Кое-где начинают золотиться окна домов. Это зажигаются керосиновые лампы — семилинейки. Ветра нет. Только морозище перед рассветом трещит, хватая за нос. Из труб вертикально вверх устремляются веселые дымные столбы. Народ пробудился к активной деятельности. Кое-где уже попадаются озабоченные, куда-то спешащие пешеходы. Мы приближаемся к центру города. Вдруг на одном из перекрестков улиц на сумасшедшей скорости из-за угла вывернулась грузовая автомашинка (тогда еще не было светофоров — регуляторов движения). Наш деревенский коняга, для которого еще не стали обыденными встречи с таким ревущим и чающим дымом, железным громыхающим драконом, с перепугу от неожиданности, как очумелый, рванулся в сторону, едва не сгубив оглобли и всю сбрую. Отец, кинувшись к нему, насилу успокоил беднягу. И дальше, во избежание повторения подобных сцен, отец повел его под уздцы, заслоняя его собой от улицы, а при новых таких встречах закрывая его глаза варежкой. Наконец-то, слава Богу, наши ночные дорожные тяготы кончились! Мы на рынке. Выбрали самое подходящее господствующее место. Цель достигнута! Можно вздохнуть полной грудью. Отец оборвал сосульки с усов. Разнуздал мерина. Отпустил немного чересседельник. Ослабил супонь хомута. Пучком сена обтер Игренью, соскобливши с него белую изморозь. Набросил ему на спину большую рогожу, чтобы, разгоряченный, не застыл. Одел на морду холщовую сумку с овсом, завязавши ее лямки у него на голове за ушами. И он, довольный, захрумкал вкусными зернами. Я слезаю с воза, разминаю затекшие ноги, делаю пробежки, согреваюсь.

Начинают прибывать другие, такие же, как и мы, торгаши. Тут дрова, тут и сено и всякая всячина. На базаре становится шумно. Он зажил своей специфической, присущей ему жизнью. Показываются заспанные покупатели. Но они еще не торопятся сходу набрасываться на первые попавшиеся дрова. Видя, что на базаре их сегодня — завались, выбор большой, они ходят, присматриваются, прицениваются, сравнивают. Выискивают, что подороже да подешевле. Да и продавец тоже не разбегится расстаться за бесценок со своим товаром, выторговывая лишний целковый. Некоторым праздным глядельщикам, может, совсем и не нужны так позарез дрова, но они снуют по базару, расхаивают дрова: то, мол, кривоватые, то сучковатые, и их замучаешься колоть, то, мол, сыроватые, будут чадить — все глаза повыест от дыму. А вдруг им, этим хулителям, таким-то образом и удастся сбить с толку, облапошить какого-нибудь мужичонку-простофилю, урвать по дешевке возишко дров про запас. А запас, известно, кармана не дерет. Но вот покупатели обрыскали весь базар. Осмотрели. Прикинули. Теперь уже можно рядиться по-серьезному. Прсят продавца сбавить цену, мол, дороговато просишь. «Креста на тебе нет. Смотри, у

соседей-то гораздо дешевле. А ты заломил такую цену! Не скардничай, глядишь, и сойдемся», — обхаживают они продавца. Но отец знает, что таких дров, как у него, по всему базару раз-два и обчелся или вообще больше нет. Потому что у других — то липа, то осина, то осокорь. От такого дровья в печке-то ни пыли, ни жару, не то что от вяза или дуба, как у отца. Да еще отборных — полено к полону. Поскольку на продажу он отбирал из поленицы самые лучшие. Это-то и побуждало его твердо держаться назначенной цены. Он поджидал своего покупателя. Я наблюдаю за этой захватывающей необычной процедурой купли-продажи. А вот и он подошел, наш покупатель, знающий толк в дровах, по достоинству оценивший наш товар. Поторговавшись чуть-чуть, уступив какую-то малость друг другу, продавец и покупатель сошлись в цене. Отец, махнув рукой, проронил: «Эх! Ладно, давай забирай!» В знак свершения сделки они хлопнули по рукам. Покупатель извлекает из бумажника и отсчитывает свои рублевки. Отец пересчитывает их, мусоля свои заскорузлые пальцы и, отвернув полу пиджака, тут же препровождает их в глубокий карман своих брюк, свободный от кисета с самосадом и инструмента для добычи огня (трут, огниво, кресало). Осталось только избавиться от дров — доставить их во двор покупателю. И, слава Богу, если его жилище где-то поблизости. Но, не приведи Господь, если он обитает где-нибудь на окраине, да еще на дне какого-нибудь оврага. Значит, опять Игренья упирайся, волочи туда этот опостылевший воз. А спускаться с кручи вниз с тяжестью не менее хлопотно, чем тащить вверх, да еще опаснее. Ух, наконец-то и это все позади! Дрова на месте. А там, если он, покупатель, не так прижимист, то достаивал нас с отцом чашечкой чая, да еще с куском сахара, что было нам — ох как кстати после бесконечного пребывания во власти беспощадного мороза. Или даже (пошептавшись с хозяйкой), угощал и немудреным обедом. Хозяйка наливала нам какой-то похлебки и подавала на стол горячей жареной картошки и обязательно спрашивала: «Ты, поди, парень, совсем захолонул? И зачем только, мужик, ты берешь его с собой? Пожалел бы хоть немножко парнишку-то!» «Знала бы ты, сколько он слез пролил, умоляя меня взять его с собой сюда, в город-то», — отвечает ей отец. А самый щедрый из покупателей, добрая душа, подносил отцу даже и рюмашечку: «Чтобы дрова пожарче горели». Разморенные теплом, в приподнятом настроении, мы выходим на крыльцо городского дома. Громадный дворовый пес с яростным лаем тут же выскочил из конуры, готовый броситься и разорвать нас в клочья. Но, урезоненный грозным хозяйским: «Не смей у меня!» — он молча начал бесноваться на коротко привязанной цепи, ни в какую не желая зачислять нас в круг друзей своего хозяина: «Знаем мы вас. Много тут шляется таких “друзей”, — кричали его глаза, мечя в нас громы и молнии.

А наш Игрений, как служивый, уже в строю. Насыщен. Напоен. В упряжи. Стянут ремнями и портупей-шлеей. Готов к дальнейшему безропотному исполнению возложенной на него миссии. В данный момент у него совсем другое настроение, нежели то, что было, когда мы вчера вечером трогались из деревни в ночное путешествие сюда, в город. Сейчас он нетерпеливо переступает ногами, перебирает зубами удила. И ждет не дождется команды своего командира: «Ну, дружок, поехали!»

Хозяин открывает ворота и произносит: «Ну, в добрый путь!» «Дай Бог!» — отвечает ему отец. И мы вливаемся в городской поток. Отдохнувший, подзаправившийся наш коняжка в сторону дома, да еще без груза, налегке, семенит ногами гораздо веселее. По городу отец держит вожжи в своих руках. Останавливаясь, он забегает то в одну, то в другую попутную лавчонку, чтобы обрести чекушечку для основного «сугреву». Морозище-то на улице нешуточный, пробирает аж до самых

до печенок. Да и потрамбуй-ка лаптями дорогу, шагая за возом всю ночь, померь-ка эти, кажущиеся бесконечными, версты. Несомненно, что после такой нагрузочки, нужна и разрядка соответствующая. Вот и разряжался! Да как и всякому хозяйственному, запасливому мужику, заглядывающему чуть-чуть вперед, не мешает приобрести еще и про запас одну-другую посудинку, потому как неизвестно, когда еще сподобится побывать так же вот на свободе-то. Само собой разумеется, что не обделял он и меня своим вниманием, свою правую руку, своего помощника. Он купал для меня разных гостинцев и, в первую очередь, медовых пряников, изготовленных из настоящей ржаной муки, и потому отменного вкуса, за что я их и обожал. Не забывал он и о гостинцах для кучи моих сестренек и для мамы. Он наталкивал в большой холщовый мешок конфеток, большую связку сдобных подрумяненных кренделей и обязательно мягкий, как пуховый, пышный круглый калач из белой сортовой муки. Все приобретено. Ничего не забыто. А теперь — в путь! Этот обратный путь до дому ничуть не короче, чем от дома сюда до города: те же сорок верст с гаком. Но эти обратные версты нас уже не пугают. Я, напробовавшийся гостинцев, отец, потребивший соответствующую дозу, и подзаправившийся, отдохнувший наш Игренька — все втроем в приподнятом, мажорном настроении будем одолевать этот путь уже налегке, как на крыльях.

За городом отец передал вожжи мне в руки. «Ты давай-ка, правь, а я трошки прикорну», — велел он мне. Расстелив на дровнях рогожу, которой был укрыт Игренький, он устроился на ней на остатках сена, свернувшись калачиком. Всю обратную дорогу он то дремал, то бодрствовал, интересуясь, где мы находимся в данный момент. Иногда он затягивал свою любимую: «Солнце всходит и заходит...» А я погонял Игреньку. Да и торопить-то его совсем не нужно было. Чем ближе к дому, тем проворнее он вышагивает. Ему не терпится поскорее очутиться дома, сбросить с себя эту окаянную сбрую, заковавшую его, как в кандалы. Он все чаще и чаще включает свою вторую скорость и переходит на рысь, под уклон даже стремится переключиться на третью скорость и пускается в галоп. Мне приходится сдерживать его нетерпение вожжами, натягивая их до предела. Он не хочет сдаваться, закусывает зубами удила, старается вытянуть шею, задирает вверх голову. Но в конце концов смиряется и переходит на шаг, на свою первую скорость. А затем все снова повторяется. Но мне и самому неймется поскорее очутиться в домашнем тепле и уюте, чтоб быстрее к разгоряченной каленке с жарко пылающим сушняком, обнять, чуть ли ни вскочить в нее, отогревая не гнущиеся от холода, заочневшие пальцы рук. И поэтому снова даю волю нашему рысаку, тем более что отец молчит: видно, крепко задремал. Я еще лучше укрыл его тулупом. А вот и показались впереди на горе наши родные, приветливо манящие князевские огоньки. Осталось только перескочить речку Уфимку, вымахнуть по извозу на князевскую гору и — мы дома! Но здесь я, захваченный этим неодолимым стремлением, этой безумной скачкой, совсем демобилизовался, забыл обо всем на свете и вместо того, чтобы попридержаться, осадить разошедшегося мерина перед спуском с крутого берега реки, я промедлил это сделать. И мерин на огромной скорости, как метеор, устремился вниз. А здесь-то как раз, на заключительном этапе, на финише нашего в общем-то благополучного челночного путешествия нас и подкарауливала беда, видно, происки нечистого. Уже при съезде с берега на лед наши дровни со всего маху шандарахнули на повороте об обочину дороги. И они от этого жуткого удара моментально рывком опрокинулись набок. И мы вместе с отцом, как чурбаки, были выброшены в снег.

Обычно выученный боевой кавалерийский конь, потерявши всадника, тут же остановится. Он не бросит своего седока в беде. Но наш Игренька, не обученный подобным тонкостям конской этики, почувяв облегчение, свободу, только хулиганисто взбрыкнул задними ногами и без оглядки, что есть духу припустился до дому, будто за ним гналась, сверкая алчными глазищами целая стая голодных волков. Прискакал, взмыленный, до дому, наделав там неописуемый переполох. Ладно, что мы с отцом, перебежавши напрямки через речку и выскочив на гору прямо у князевской переправы, запыхавшиеся, были дома уже минут через пятнадцать. Поднявшаяся было тревога, шум, переполох и уже брызнувшие у всех домашних срезыв из глаз, сменились на радость встречи. Мама тут же кинулась ко мне с расспросами. Довольны все: наш Игренька, что он снова наконец-то под родной крышей. А Бобик, на радостях, стараясь излить свой восторг, кинулся меня обнимать, поднявшись на задние лапы, и целовать в лицо, чуть не опрокидывая меня навзничь. Так он наскучался за целые сутки нашего пропадания, показавшиеся ему вечностью.

Сестренки мои рады-радешеньки гостинцам. Я рад встрече с ними, что наконец-то я в тепле и отогреваю ноющие от мороза, красные, как гусиные лапки, свои руки возле гудящей, как паровоз, каленки посредине избы. Я взахлеб повествую им о наших дорожных злоключениях и о диковинном, каком-то сказочном, неведомом для них далеком-далеком городе.

Отец, все еще в благодушном приподнятом настроении, держит отчет перед мамой о результатах «неудачной», как он говорит, торговли, поскольку базар был «никудашный», а покупатель привередливый.

Недовольной остается только одна наша мама, поскольку вместо ожидаемой кучи денег ей на руки от выручки перепадает совсем малая толика.

Все песни я вложил...



* * *

Тех, кто писал о Родине, не счесть,
Кто пламенем,
Кто кровью в стих пролился,
Но лишь цветам
Свою дарил я песнь,
Но сокровенным
Лишь с зарей делился.

В свет дальних звезд
Порой влюблялся я
И в девушек,
Как звезды, горделивых,
И весны шальные
Потоком вод бурливых
Врывались в мои песни и в меня.

Дорогами нить горизонта рвал,
Раздумьями
Я проникся сквозь годы,
Горящие сердца я воспевал
И тех, кто сердце
Отдавал народу.

Морозный иней и роса пошли
В мои слова,
И песни засияли!..
Любовь и ненависть
Мне сердце жгли,
Тоска и радость
Душу наполняли.

проза

*Перевод с башкирского Ю. Андрианова.

Рашит Саитбаталович Назаров (1944–2006) родился 1 ноября 1944 года в д. Турумбет Аургазинского района. Автор книг: «Встречая зарю», «Вдоль солнечного пути». Член Союза писателей РБ и РФ.

Во всем я вижу дар земли родной;
И кровь свою,
И жар души небесный —
Все в песни я вложил,
Чтоб стали песни
Частицей Родины навеки дорогой.

ВСТРЕЧА ЗАРИ

К подножью Урала припав головой,
Деревня моя стихла в дреме ночной.
Баюкает сон ее
Ветер с полей,
И добрые сказки
Сирень шепчет ей.

Так тихо на улице —
Страшно вздохнуть,
Как будто взорвется
От воздуха грудь.
И каждый мой шаг
Отдается в тиши,
Как новая песня
В глубинах души.

Я через Урал
Все на звезды смотрю,
Рукою машу,
Призываю зарю.
Печально и грустно
Прижавшись к земле,
Ночь рядом со мною
Вздыхает во мгле.
А ночь коротка,
Ночь совсем уж бледна —
Как будто боится
Рассвета она...

И вот
Над башкирской землею поднял
Зарю молодую
Мой древний Урал!

БАШКИР

Его минувший день
Я ныне созерцаю:



Навек в уральских скалах
Врезан он.
...Напев, тягуче капавший с курая,
На камень алой кровью нанесен.

И пусть из горя вышит был и боли
Его невзрачных юрт
Узор степной,
Но бился в сердце
Рвущийся на волю,
Звения уздечкой,
Конь его лихой.

И, если падал, бросив клич
«Урал мой!»,
И был в земле родимой погребен,
Из сердца выйдя,
Конь его скакал в бой,
Став другом тем,
Кто к славе устремлен.

День нынешний,
Как прошлый,
В славе длится,
Но в этой славе
Горя больше нет.
С плеча башкира
Славит счастье птица,
В седло башкира сев,
Летит рассвет!

* * *

О гордый человек!
Пускай судьбой
Ты поднят к небу, к облакам —
И все же
Не забывай,
Что ты есть сын земной,
Что и отец, и мать
Земные тоже.

Не забывай,
Что на земле любовь...

И пусть собою
Много возгордишься,
К земному роднику
Придешь ты вновь
И, шапку сняв,
Пред ним, как встарь,
Склонишься.

УЛЫБАЕТСЯ НЕБО

Предавшись песне тихою душой,
Гляжу на бег реки неторопливый,
Над головою месяц озорной,
А за спиною с ветром пляшут ивы.

...Уж ночь легла,
Уснули ветерки,
Но полон мир вокруг
Бессмертным шумом;
О чем-то тайном шепчут родники,
Мерцают горы
Под сияньем лунным.

Ночь колыбельную поет полям —
Неслышная,
В ней нежность льется звонко, —
Но им не спится,
Как богатырям,
Поля мои
На небо смотрят зорко.

Справляет свадьбу жизнь.
В ее огне
Кровь горячо и радостно вскипает.
И все мерцают звезды в полусне,
И чистый месяц
В небесах сияет.

Откуда свет его,
Кто скажет мне?
Вселенская загадка здесь, быть может?
Нет,
Это небо улыбается земле,
А месяц и улыбка
Так похожи.



МОЛНИЯ

Любовь подобно молнии сверкает,
Ей возраста преграда нипочем.
В том пламени
И стар, и млад сгорают;
Беги,
Коль жар огня тебя пугает,
Но слез своих
Не проливай потом!
Любовь подобно молнии
Сжигает.

* * *

Мне взгрустнулось,
И ты грустишь,
Мы одни в этом мире вечном...
Поздней осени желтый камыш
Возле берега что-то шепчет.

Все, что пело шалой весной,
Камышам напоследок снится.
И из сердца с тихой слезой
Нежный свет летних зорь
Лучится...

Мы вдвоем.
Мы одни с тобой.
Небо ясно, сине и стыло.
Нет ни облачка над головой,
Пустота небеса охватила.

Наши взгляды,
Как те небеса:
Холодны, равнодушны, ясны,
Будто иней прикрыл глаза —
Искры черные
В них угасли.

В берег волны холодные бьют,
Долго им еще биться в тревоге,

Но однажды
На полдороге,
Стужей скованы,
Волны замрут.
Как и наша любовь
В итоге...

* * *

Когда умру,
И ты, простясь со мной,
Положишь в головах мне
Камень белый,
Я буду тихо спать
Во тьме земной,
Не сетуя на холод и метели.

И в летний зной
В могильной тишине
Я буду тих,
Как и сама могила.
Немало сплетен сложат обо мне,
Но я смолчу,
Во мне достанет силы.

Да, я смолчу...
Но если вдруг тебя
Злоречье тронет
Черной клеветой,
Из темноты могильной
Встану я
И камень подыму
Над головою!

КИНЖАЛ

Вырываю из сердца
Я каждое слово,
Как из ножен
Горячий и верный кинжал, —
Для друзей и врагов



Он один, — нет другого,
Бог иного оружия
Мне в руки не дал.

В этой вечной борьбе
Пусть не знает испуга
Мой кинжал — мое слово.
Пусть будет всегда
Рукоятка кинжала
В ладони у друга,
Острие же направлено
В сердце врага!

* * *

Нет,
Не промчусь бесследно по земле я
Подобно желтым умершим листьям.
Соединяя песнь свою с моею,
Еще шуметь, шуметь родным лесам.

Проходит миг, мелькнет,
И вот — как не был,
Лишь сердце ловит
Свет его живой.
То солнце, то луна
Блуждают в небе,
И все шумит, шумит мой лес родной.

Но грянет час,
И ляжет мне на плечи
Длань времени...
Что спросят — знаю сам...
Свой голос слив с моим
Уже навечно.
Шуметь, шуметь
Шуметь родным лесам.

В конце сезона

Рассказ

*И.П. Максимова,
крестьянину и поэту*

Охоту в этом году открыли поздно: я как-то слишком долго прособирался, но наконец уехал-таки на озёра под Аул. Маленькая деревушка, затерянная в лесной глуши, называлась Аул. Там жил в одиночестве мой старый знакомый Игорь Павлович Максимов, спецпереселенец. Он говорил, что Аул – это не от башкирского «село, деревня», а потому, что сколько ни кричи, ни аукай, никто не услышит. Деревни спецпереселенцев одно время сообщались с райцентром посредством узкоколейки, но лет семь назад её растащили на металлолом лихие люди, и теперь добраться сюда можно было разве что на лошади. Так я и добирался, арендовав лошадку в райцентре.

От городка до Аула было километров десять неудобьями – распадки, разнолесье, урёмы, пара речушек по колено; вода в них, конечно, была чудесная. В верховьях одной имелась часовенка, там, слышал я, лечились от болезней кожи. Посещал я её; особенно удивил смотритель ключа, долговзъятый юноша с длинными волосами, больше измождённый, чем худой. Юноша Спартак сочинял рассказы, героями была всякая лесная нечисть. Он и Игорь Павлович изредка посылали свои сочинения в журнал «Речные излучины», столь же изредка рассказы печатали. Вроде даже иной раз присылали наногононорары.

Вечерком после баньки мы посидели с Игорем Павловичем за бутылочкой и самоваром, хозяин угощал груздями, я – шпротами и сыром.

Максимов редко ходил на охоту, ноги уже слушались неважно. Добывал косуль и делал солонину.

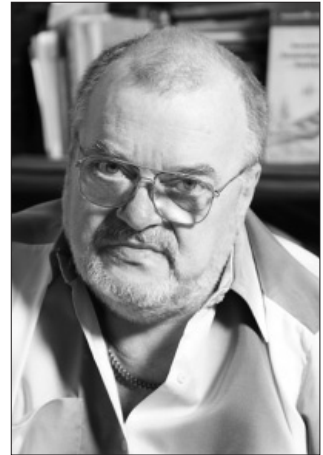
– Тебе, Юрка, чего? Жрать, что ли, нету? Ты же не бедный, вон какое ружьё украшенное, аж три ствола. Ты лучше рыбу лови.

– Да я что, Игорь Павлович, разве косуль или кабанов стреляю? У меня в патронах пуль нету, дробь одна. Так, уток на твоих озёрах. Для отдыха и развлечения.

– Ну да, – хмурился Игорь Павлович, – отдых придумали, птиц убивать.

Надо упомянуть, что Игорь Павлович последние несколько лет внезапно стал набожным. В красном углу имелась иконка на картоне «Умиление», теплилась лампадка.

– Смотри, Юрка, сколь угробишь утей, всё там, – вздел он кривой палец к потолку, – всё-о посчитают!



Матюшин

Сергей Иванович Матюшин (1943–2012) родился 14 сентября 1943 года на станции Весляны Железнодорожного района Республики Коми. Автор нескольких книг художественной прозы. Член Союза писателей. Работал и жил в г. Салавате. Лауреат премии журнала «Бельские просторы» за 2012 год.

Словом, какой-то мутноватый разговор у нас получился.

Утром, ещё туман не осел, я уже был на берегу лесного озера. Заросли камыша, осоки. Болотистый бережок. Нашёлся сухой бугор, где и устроился. Пойнтер Веста нашла в осоках крякву и подняла. Летит она прямо на меня, убил легко. Кряква летела как-то странно, иногда падая в осоку. Я догадался: это чтобы собаку отвести от выводка, от своих детишек. Веста бегают, ищет. Вдруг вижу – из осоки ко мне на траву моей кочки выковыливает небольшой утёнок. Веста принесла утку, положила у ног. И села, смотрит на утёнка, склонив голову, понюхала, лизнула его бок. Утёнок приковылял ко мне, присел и, словно котёнок, прислонился к бедру. Потом отошёл к убитой утке, к матери мёртвой своей, и глядит на меня глазками-смородинками. Утка, видимо, остыла, утёнок опять приковылял ко мне, забрался в большую вязаную шапку и всё глядит: то на меня, то на собаку.

Так, в шапке я и принёс его в избу Игоря Павловича.

Тот положил шапку с утёнком на печку, насыпал какой-то мокрой травы.

Собака сидела на полу, задрав морду, поскуливала, иногда вставала и, опершись лапами о бок печки, пыталась поглядеть на утёнка. Тот слабенько клевал Весту в нос, она смешно чихала и оглядывалась на меня.

А где остальные? – спросил Игорь Павлович.

– Там, – пожал я плечами. – Где-то в осоке.

– Ну, ничего, другие ути пригреют. Если лиса не сожрёт. Вот говорил я тебе, Юрка. Не послушал. А теперь сам понял... Ну, не переживай, эту уточку тебе там не зачтут.

– И то ладно.

Сквозь тусклые стёкла сочился ранний вечер.

Подпихнув под крыло голову, спал утёнок. Спала и Веста, вздрагивая всем телом.

Вообще я планировал провести в желанной глуши недельку. Однако утром собрал рюкзак.

Выйдя на крыльцо, я обнаружил, что лошадка моя уже под седлом. Немного отъехав, я оглянулся. В окошке домика Игоря Павловича еле мерцал огонёк зелёной лампадки.

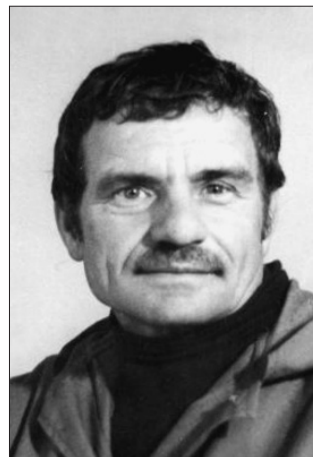
Ожидал весенний ливень...

СТАРИК

С экрана музыка не льётся:
в деревне отключили свет,
и к очень старому колодцу
пришёл такой же старый дед.

Ведро о стенки сруба билось,
срывая сети паука,
и, мхом покрывшись, возвратилось
обратно в руки старика.

Тревожно сердце деда бьётся:
не так уж ноша тяжела,
но страшно, что тропа к колодцу
густым бурьяном заросла.



ГРАД

По-мальчишески наивен,
был я туче этой рад:
ожидал весенний ливень,
но пошёл крупнящий град...

И стоял я между грядок
на защите овощей –
ледяные били ядра
в лоб, и в спину, и в зашей.

И от этого кошмара,
от ледовых этих пуль
с грядок пугало сбежало,
бросив в лужу ридикюль.

Всё растущее сметая,
град пошёл вокруг земли...

А под плёнкой, как медали,
огурцы рядком цвели.

РАННИЙ ПОЕЗД

Я и сегодня в сердце ранен
холодным грохотом колёс:
опять кого-то поезд ранний
из дома отчего увёз.

Уходят родичи с вокзала,
не веселятся, не поют,
и тихо плачущую маму
подруги под руки ведут.

А где-то мачеха-чужбина
откроет в злой ухмылке рот
и, встретив неродного сына,
на долго-долго обоймёт...

НА МАЛЕНЬКОЙ РЕЧУШКЕ

Там, на маленькой речушке,
среди цветущих буйных трав,
жили наши деревушки
на поющих берегах.

Те же избы, те же крыши,
те же мысли и дела,
только ваша чуть повыше
по течению была.

Ах, какое время было!
До чего я счастлив был:
ты повыше ноги мыла —
я пониже воду пил...

ПОСЛЕДНЯЯ КОРОВА

Приседая под коровой,
вымя кистью ухватив,
весел был хозяин новый,
да и старый не грустил.

За дверями укрываясь,
чтоб увидеть не могли,

он, слюнявя грязный палец,
пересчитывал рубли.

По скрипучему настилу,
как сумели, так смогли:
с коркой хлеба, с хворостиной –
Милку в кузов завели.

Мы смотрели вслед КамАЗу
без улыбок и без слёз.
Лишь хозяин старый сразу
как-то грустно произнёс:

«Вот теперь деревню нашу
можно городом назвать:
свет и газ у нас, и даже
нет коров, едрёна мать!»

КУРИЦА

Ушла хохлатка со двора,
а может, курицу стащили:
хохлатка справная была,
а остальные-то тощие.

Петух живёт в чужом дворе.
Хозяйка с горем примирилась б,
но вот однажды в сентябре
хохлатка с выводком явилась.

Плетень от инея блестел.
Опавший лист летел куда-то...
Но, как апрельская капель,
в деревне тинькали цыплята.

МАЙ

Пчёлы мёд носили к чаю,
суетились между ив...
Всё живущее кричало
и шептало о любви.

В голубой своей рубаше,
на раскидистом суку
целовал голубку вяхирь
под весёлое «ку-ку».

И сидел я над обрывом,
слушал струек перезвон.

В Сухайле плясали рыбы
под лягушечью гармонь.

Обжигал мои ладони
горицветовый букет...
Забреду-ка с речки к Тоне:
вдруг да мужа дома нет.

СТАРУХА

До чего ж стара старуха –
от морщин просвета нет.
Нет ни памяти, ни слуха,
и желаний тоже нет.

Сядет старая под вечер
на крылечке, как сова,
и разносит майский ветер
очень грустные слова:

«Для чего живу на свете?
Что ж Господь не приберёт?..
Не боюсь своей-то смерти...
Жаль, погибнет огород».

НА МОГИЛЕ У МАМЫ

На могиле у мамы порядок.
Кустик розы заснул до весны.
И сыновни могилы, что рядом,
погрузились в глубокие сны.

Полсемьи под надзором у мамы.
Все послушны, не курят, не пьют.
Им за это в ликующем мае
соловьи свои песни поют.

На могиле у мамы порядок...
Но внимательней чуть приглядишься –
не прикрыта калитка ограды:
сыновья-то не все собрались.

СТАРИКИ

На больничную скудную кашу
понадвинулись «богатыри»:
кто-то гнётся от страшного кашля,
у кого-то клокочет в груди.

Эти шприцы, таблетки, системы,
вы поверьте, ей-богу же, нет,
не являются вечною темой
наших послеотбойных проблем.

Ну, поохаем, ну, повздыхаем,
пожурим непутёвых сынов
и, представьте же, штука какая,
вспоминать начинаем любовь...

ДВОРНЯГА

Пёс был точно беспородный.
Жил совсем без конуры,
охраняя огороды
и соседние дворы.

Был он вечно делом занят.
Разбирался тонко в том,
на кого слегка полаять,
а кому махнуть хвостом.

Под хозяйскую гармошку
вечерами нежно выл
и, пожалуй, даже кошкам
настоящим другом был.

Лишь к хозяину бросался,
разорвать готовый вмиг,
если трезвый возвращался:
пёсик к пьяному привык.

БОЛЕЛЬЩИК

Мы в конюшню прибежали.
Любопытно сорванцам:
там сегодня объезжали
молодого жеребца.

Лучший конюх, Лёня-Суслик,
на глазах у всех людей
демонстрировал искусство
укрощенья лошадей.

Но свобода не сдавалась,
ну попробуй удержи.
Вмиг оглобли поломались,
оборвались гужи.

Конь взметнулся, словно птица,
вольным голосом заржав...
И убого волочился
укротитель на вожжах.

Было жутко. Было дико.
Но с начала до конца
в этом страшном поединке
я болел за жеребца.

БЕДА

В маленькой роще – большая беда,
аж соловьи онемели:
ночью грачонок упал из гнезда,
ну а летать не умеет.

Маленький клювик открыт широко,
пляшут испуганно глазки –
птенчику нужен, конечно же, корм
и материнская ласка.

В роще семейство хорьков и куниц,
коршун над рощею кружит –
некому вовсе птенца покормить,
много желающих скушать.

БОЖЬЯ КОРОВКА

К ночи готовлюсь,
постели стелю.
Божья коровка
бежит по столу.

Тьма за окошком.
Коровку ждёт Бог.
Кладу на ладошку,
несу за порог.

«Лети в своё стадо,
туда, в облака:
Боженьке надо
попить молока»...

Благословенная Уфа

Очерк

В Уфу наша семья приехала в 1909 году. Здесь я учился и в 1917 году окончил гимназический курс. Эту Уфу, сравнительно давнюю, я хорошо знаю. Ее сейчас нет, есть другая Уфа, ничем не похожая на прежнюю. Начиная рассказ о той, исчезнувшей Уфе, я чувствую себя таким чудом уцелевшим жителем Китеж-града, вынырнувшим со дна озера и решившим поведать людям о бесследно сгинувшем мире. Пожалуй, так оно и есть? Только не надо думать, что этот мир исчез бесследно. Есть неисчислимое наследство, несмотря на пожары и войны, несмотря на разрушения, на святотатство осквернителей могил и беспощадную работу времени. Нетленно богатство России, как его ни истребляли, и мы – счастливые наследники величайших ценностей, неисчерпаемых богатств.

Когда мы приехали в Уфу, я донимал отца вопросами:

– А почему мы раньше никогда не жили в Уфе? Разве ее не было? Или мы мимо ездили, а в нее все не попадали? Почему?

Приятелей-мальчишек я расспрашивал, давно ли они живут в Уфе и какая Уфа была, например, в прошлом году. На меня таращили глаза:

– Какая! Такая же и была!

Я не мог объяснить, но знал, чувствовал нутром: такая же, да не такая! Я и сам не понимал, чего я хочу, чего добиваюсь. Только сейчас мне понятно, что это был жгучий интерес к людям, к истории, который сохранился во мне навсегда.

Все, что я видел в уфимской гимназии, тоже нужно знать. И тем, кого волнует и привлекает судьба России, и нашим уважаемым педагогам. Кое-что им не понравится в прежних методах преподавания и порядках, кое-что они с негодованием отвергнут, но кое-что заставит призадуматься, и, может быть, нехотя, скрепя сердце, но признать более удачным, чем некоторые современные штампы.

А что? У старой гимназии есть чему поучиться, есть что позаимствовать. В 1927 году, тридцатилетним, но все еще незрелым человеком, я написал роман о гимназистах «Синяя говядина». Теперь, на закате своей жизни, я жалею, что там я охал и ахал гимназию – всю целиком. Это несправедливо, и случилось это потому, что писал я «Синюю говядину» в двадцатые годы, когда модно было отрицать все старое, писал по своим гимназическим дневникам, не задумываясь над фактами, не оценивая их и выплескивая из ванны вместе с водой и ребенка. Сейчас, на расстоянии лет, глазами



Борис Дмитриевич Четвериков (1896–1981) родился в городе Уральске. Учился в уфимской гимназии, первое стихотворение напечатал в гимназическом журнале «Мозаика»; в 1915 году выступил в уфимской газете. В 1981–1982 годах издательство «Современник» выпустило «Избранное в трех томах». Воспоминания Бориса Дмитриевича «Благословенная Уфа» впервые были напечатаны в 1997 году в 4-м томе сборника «Башкирия в русской литературе».

мф

много испытывавшего умудренного человека я иначе расцениваю гимназическое преподавание и, в частности, обстановку той гимназии, которую я окончил. Сейчас я вижу, как много дала мне моя гимназия, взрастившая в своих стенах очень многих людей, достойных того, чтобы о них вспомнить.

Мог ли я, ученик 3–4-го класса уфимской гимназии, вообразить, что здесь произойдет еще немало сражений, что настанет день, когда в тихой, провинциальной Уфе загрохочут орудия, затрещат пулеметы, разразится кровавая Гражданская война и все перевернется вверх дном? В мои гимназические годы в Уфе было такое затишье, такая безмятежность. Было много снега. Были бурные вёсны. Цвела липа. Благоухала сирень.

Итак, мы приехали в Уфу в августе 1909 года и поместились в казенной квартире на Телеграфной улице, дом 6, в том же красном кирпичном здании, где размещался Учительский институт. Хорошая квартира, в нижнем этаже, в левой части, если лицом повернуться к дому. Только наша малышня – Вера и Толя, которых мы звали Бим-Бомами, они были неразлучны и ходили всегда взявшись за руки, – наша малышня боялась на прогулках ненормального мальчика, который жил где-то по соседству. Говорят, это был сын богача Красовского. Он гулял в сопровождении няни, но очень пугал детей, стараясь их схватить, и при этом кричал и смеялся.

По правую сторону от института стоял двухэтажный деревянный дом, где находилась квартира директора института Лисовского. Он был холостяк, жил вдвоем с дочерью Ларисой. Все, кто его знал, в один голос говорили: хороший человек.

Отец пошел сразу по приезде к нему представляться, и Лисовский в первую же встречу предупредил отца, что за ним учрежден негласный надзор полиции и что из учительского персонала наблюдение поручено учителю географии Сухотину и законоучителю Боголюбову, о чем он, Лисовский, считает долгом уведомить Дмитрия Никаноровича.

Здание гимназии оказалось поблизости. Не так далеко была и река Белая. И вообще, что ни возьми, все было рядом: и магазины, и базар. А когда настала зима, выяснилось, что и городской каток в Видинеевском саду тоже находится поблизости.

Мой отец преподавал в Учительском институте и вел один класс в городском училище – от младшего возраста и дальше, из класса в класс. Как ни гоняли его из города в город, он остался таким же неугомонным и строптивым, таким же смелым в подаче материала, таким же свободомыслящим и упрямым в пропаганде своих взглядов и убеждений среди молодежи. В городском училище народ подобрался особенно дружный, мне рассказывал об этом один из учеников отца – Леонид Петрович Гнедков (в шестидесятые годы он был главным редактором газеты «Советская Башкирия»). Весь их класс поклялся не выдавать учителя, когда он увлекался и говорил на уроках истории совсем не то и не так, как полагалось говорить по официальной трактовке темы. И ведь не двое, не трое – целый класс дал клятву, что все будет строго конфиденциально. Был среди них один ненадежный мальчишка – сын торговца. Но с ним поговорили по душам, что если он только пикнет... И ничего, молчал как миленький. Знал малый, что ребята не шутят и ссориться с ними – упаси бог.

Гнедков же мне рассказывал, как однажды (а может быть, и не один раз) они выручили своего учителя из беды, я даже использовал это происшествие в романе. Дело в том, что неясные слухи о крамольном учителе Четверикове все-таки дошли до начальства, – недаром же его предупреждал Лисовский о негласном надзоре. И вот для проверки внезапно, без предупреждения пришел на урок Дмитрия Никаноровича сам попечитель округа в сопровождении инспектора. Вошли. В середине урока. Ученики встали, как положено. Начальство замахало на них руками. Все сели. Но один остался стоять, будто продолжая отвечать урок. Дмитрий Никанорович, увлекшись рас-

сказом о гнилости и исторической обреченности царского строя, забыл, а что же полагается сегодня по программе. И вдруг услышал от смышленного ученика-башкира: «Смутная время была, оощень смутная...» Замешательство Дмитрия Никаноровича прошло, ученик знал задание назубок и отчеканил свой рассказ с акцентом, но без запинки. Попечителю округа ничего не оставалось, как только поблагодарить Дмитрия Никаноровича за отличную постановку дела. А у нас в семье эта фраза о смутном времени навсегда осталась в ходу, как и многие другие.

Но я все отвлекаюсь и отвлекаюсь. А речь моя – о гимназии, о МОЕЙ гимназии, о моей ЛЮБИМОЙ гимназии.

Немало написано о гимназии и гимназистах писателями и просто любителями воспоминаний и очерков, причем большею частью написано это без лишних похвал. Мне почему-то из этих книг больше всего запомнились «Гимназисты» Гарина.

Учителя были разные, многие мне нравились, хотя и не все. Но самой большой достопримечательностью в нашей гимназии был, конечно, директор – Владимир Николаевич Матвеев. Он был и не стар, но как-то весь соединялся в моем представлении с обликом гимназии, так что мне казалось, что и гимназию-то создал он и сколько она существует, столько существует и он.

Владимира Николаевича Матвеева я свято чту. Чтобы понять и оценить всю его мудрость, всю глубину его любви к человеку, мне потребовалось немало времени. Он занимал, в сущности, не бог весть какой пост. Но через его опеку проходили целые поколения, его заботами выращивалась будущая русская интеллигенция. Вся жизнь Владимира Николаевича была в нас, гимназистах. Гимназия была его держава, его детище, и он любил ее всей душой. Никакие циркуляры не могли хотя бы на миллиметр сдвинуть его личных убеждений или его решений по любому вопросу. Может быть, он веровал в Бога. Но не думаю, что веровал в министерство народного просвещения. Министерство народного просвещения само по себе – Владимир Николаевич сам по себе. У него свои оценки, он по-своему смотрел на воспитание юношества, по-своему решал, что дозволено, что нет.

Но некоторые случаи из моей гимназической жизни повергают меня в недоумение, потому что при анализе их Владимир Николаевич Матвеев вырастает в какого-то рыцаря правды.

Например, в истории с «Крысой» – с инспектором гимназии Соколовским.

С этим субъектом мне довелось познакомиться еще в Троицке. Там я узнал, как гимназисты, уже получившие аттестаты, отомстили инспектору Соколовскому, по прозвищу Крыса, за все жестокости, за все унижения. И надо же было случиться, что мы всей семьей переехали в Уфу – и сюда же, чтобы замести следы неприятного происшествия, убрали инспектора Соколовского!

Урок, полученный Соколовским в Троицке, не пошел ему впрок. Он и здесь, в уфимской гимназии, продолжал травить гимназистов, подслушивать, придирается, даже сажать в карцер за мельчайшую провинность, хотя карцер давненько был вычеркнут из комплекса воспитательной работы. Инспектор устраивал обыски, обыскивая наши шинели, висевшие внизу, на вешалке, где не было ни номерков, ни специального гардеробщика. Сделав обыск, инспектор производил потом безобразные судилища за найденные в карманах портсигары или пачки папирос, за любовные и совершенно невинные записочки, за использованные, но по рассеянности не выброшенные билеты на спектакли, которые нам запрещалось смотреть.

И вот здесь во мне обнаружился боевой дух, коего я и сам в себе не подозревал: я организовал «крысиный бунт», причем был удивлен и обрадован, что нашлось

много помощников, много изобретательных бунтовщиков среди, казалось бы, таких тихих гимназистов.

Штаб бунта находился у меня дома, в моей комнате. Ближайшие мои друзья – такие, как Саша Федоров, Гиравитис, Никита Башилов (должен заметить, что как его отец – губернатор – понравился моему отцу, так Никита нравился мне, это был исключительно хороший, исключительно талантливый и порядочный юноша, мы замечательно дружили) – так вот, мои друзья быстро привлекли к делу еще добрый десяток смельчаков. Включилось несколько человек из числа оркестрантов, там был отчаянный народ. Мы не заседали, не произносили зажигательных речей, мы действовали.

Все началось с утра, еще до начала уроков. Загрохотали взрывы, взвились воздушные шары с призывом: «Долой Крысу!». Стены покрылись трудно смываемыми надписями. Сторожа сбились с ног, срывая плакаты и отскабливая надписи со стен. Кто-то из надзирателей без всякого успеха пытались шваброй достать воздушные шары, торчавшие у потолка. На всех идущих по лестнице сыпались сверху листки с воззваниями. Педагоги, выглянув из учительской, снова скрывались там. На лицах некоторых из них сияло явное одобрение и удовольствие: Соколовский и учителей не оставлял в покое, доносил на них, ябедничал, читал мораль на заседаниях педагогического совета.

Разнеся слух: приехал сам попечитель округа. Теперь все зависело от директора, от того, какое он даст освещение всем этим крайне необычным, даже небывалым событиям. Попечитель, испуганно озираясь на клубы дыма, на разноцветные воздушные шары под потолком, быстро прошествовал к выходной двери.

И что же дальше? Были расследования? Искали зачинщиков? Прочесывали? Допрашивали? Наказывали? Ничего подобного!

Занятия мирно продолжались. Соколовского сняли с должности инспектора и оставили простым преподавателем латинского языка.

Я не сомневаюсь, что директор отлично знал, кто руководил «крысиным бунтом». И я думаю: где бы могло все так гладко обойтись? Где бы не воспоследовало исключений из гимназии, суровых кар, репрессивных мер? Просто невероятно! И у меня зарождается подозрение: не хотелось ли и самому Владимиру Николаевичу запустить хотя бы один воздушный шарик с призывом «Долой Крысу!»?!

Вспоминается еще один эпизод, тоже очень значительный, оставивший во мне большой след. Он связан с преподавателем модной тогда Сокольской гимнастики приглашенным в гимназию для занятий с нами.

Это был чех Терек (или Герик? Не знаю точно). Он довольно хорошо говорил по-русски, хотя и коверкал некоторые слова на свой лад. По-видимому, он привык командовать и покрикивать на учеников там, у себя на родине. Был он небольшого роста, но весь слеплен из сильно развитых мускулов. В этот день он пришел к нам на свой первый урок. Мы построились в шеренгу, поздоровались с ним дружно, когда он вошел, и сразу же Терек приступил к занятиям, причем выбор его остановился почему-то на мне, может быть из-за моего хорошего роста. Он что-то скомандовал, но что именно – трудно было понять. Я неподвижно стоял и старался вникнуть в смысл этих слов, чтобы понять, что надо сделать.

– Больван! – вскричал вдруг Терек. – Ты слушал моя команда?

Эти слова я понял отлично. После мне рассказывали, что сначала я густо покраснел, затем стал бледным-бледным. Бросив презрительный, как мне казалось, взгляд на Терка, я молча повернулся и твердой походкой, но не спеша вышел из класса.

Преподаватель гимнастики пожаловался на меня директору. Я ожидал, что меня вызовут к нему. Но прошло несколько дней, и никто меня не вызывал.

В конце недели я спускался по лестнице, направляясь в раздевалку, и очутился рядом с директором, который тоже шел вниз. Я поздоровался, и мы пошли рядом.

Помедлив, Владимир Николаевич как бы мимоходом спросил меня:

– Что у вас случилось на уроке гимнастики?

Я с некоторой даже горячностью стал рассказывать. Говорил о том, что у нас в семье никогда не ругаются, в гимназии тоже всем говорят «вы», а учитель гимнастики накричал на меня и назвал болваном. И что рассердился преподаватель гимнастики напрасно, потому что я не понял, что он говорил, да и все не поняли, потому что были произнесены какие-то слова, смысла которых мы не знали.

Некоторое время мы шли рядом и оба молчали.

Затем так же спокойно и просто директор произнес:

– Можете не ходить на уроки гимнастики.

Я был потрясен. Вообще-то я ожидал почему-то, что Владимир Николаевич все поймет и все рассудит правильно. И я не ошибся. Но такого ответа я все-таки не ожидал и настолько был ошеломлен им, что даже не сумел ничего ответить, хотя бы сказать спасибо.

Но рефераты рефератами, гимназия гимназией, а мое описание жизни в Уфе будет неполным, если я не коснусь нашего, ну что ли пригородного, хозяйства в районной станции Черниковка, – мы-то называли его «хутор».

Я не нашел никаких его следов, когда в пятидесятые-шестидесятые годы приезжал на свидание с моей Уфой и специально ездил по этим местам. Все застроенно-перестроено – не узнать. Сплошные здания, железнодорожные пути, переезды, улицы, магистрали... Людно, шумно... Не только хутора – окрестных деревень и то не нашел. Ни Каловки, ни Курочкиной, ни Глумилиной, ни Черниковки – ничегошеньки! Даже села Богородского и речки Шугуровки в помине нет. Единственное, что я обнаружил, – это горюшку вдалеке, за зданиями: когда-то она стояла посреди чистого поля, и по ее склонам я мальчишкой собирал землянику...

А взять саму Уфу? Она хороша, красива, в ней много новых высоких зданий. Но я бы сказал, это новый город, построенный на месте прежней Уфы! Достаточно сказать, что в городе взорваны чуть ли не все 27 церквей. Одно это меняет облик города. Улицы переименованы. Маленькие домики – с палисадниками, яблоневыми садами и необычно пышной сиренью – снесены с лица земли. Улицы залиты асфальтом, постройки хороши, но производят впечатление некоторой гигантомании. А я думаю: почему бы новый город не построить на новом месте? Что за скверная привычка – прежде чем начать строить, обязательно разрушить все и ломать?

Шалыпин в зените славы, в полном благополучии и семейном уюте жил в Париже и все вспоминал, тоскуя, о каком-то российском сеновале, где он когда-то в давнюю пору ночевал. И у каждого есть свой такой сеновал – чудесный, врезавшийся в память на всю жизнь. Если разобраться, все мои воспоминания – это лирическое повествование о каком-то моем сеновале. Но уж извините, за этой сеновальной лирикой вы найдете много страданного, много значительного для каждого непредубежденного ума и сердца.

Итак, хутор.

Три с половиной десятины «неудобной» земли были куплены задешево (по 125 рублей) и в рассрочку через земельный банк. Три рощицы – или как еще назвать три болотца, поросшие деревьями и непролазным кустарником? И примыкает наш участок вплотную к железной дороге. А со всех остальных трех сторон мы были окружены ржаными, овсяными, гречишными полями. Представляет?

Задуман был отцом этот хутор всего лишь как подспорье, приработок, наконец, корм нашим всегда голодным ртам. Семейка-то была ничего себе: папа с мамой, нас целая пятерка, Мардыгалям, папин ученик и воспитанник, тоже давно зачисленный в нашу роту, в состав нашей семьи, да дядя Володя – папин брат, который после нашего переезда в Уфу поселился с нами.

Девять человек, конечно, нелегко было прокормить, и подсобное хозяйство было весьма не лишним. Но отец еще и другое имел в виду, покупая участок: приучить детей к физическому труду, дать им сельскохозяйственные навыки, образовать нечто вроде семейной трудовой коммуны.

Хутор... Произнесешь это слово – и повеет на тебя запахами ржи, цветущей гречи-хи, свежеспаханной земли, болотным дурманом... А деревья! Надо возле них и среди них пожить, чтобы различать волнующий запах березы, терпкий запах черемухи... И у каждого дерева и куста, у каждой травинки и былинки свое особое приметное дыхание, свой нрав, свой облик, которые научаешься различать и начинаешь прочно, глубоко любить не просто лес, а множество знакомцев, множество зеленых друзей.

Купили мы в деревне на снос избу. Перевезли ее. С одного боку соорудили дощатую пристройку, где жил я, с другого боку построили теплицу. Отец выращивал в ней среди другого-прочего раннюю клубнику и любил удивлять друзей: дарил им в горшочке клубничный кустик с уже созревшей ягодой – и это когда? – на Пасху, когда никакой ягодой ни у кого еще и не пахло! Фурор был полный!

Поблизости от избы был вырыт колодец – сажень на сажень, хороший колодец, с воротом, чтобы крутить ручку и спускать привязанное на веревку ведро, пока оно не захлебнется, зачерпнув воду. И еще был построен, как в деревнях, большой навес, частично включавший в себя конюшню, погреб, и во всю длину этого навеса, то есть крытого пространства, укрепленного на прочных столбах, находился под самой его крышей просторный сеновал. Сено мы косили сами. И сами там спали. И сами радовались.

Я пробовал впечатления от хутора воплотить в повесть «Золотой Клин», рассказал о хуторе в повести «Синяя говядина». А все кажется, что я еще ничего о нем не рассказал. Да и возможно ли все о нем рассказать, если это неисчерпаемо много? Легче было выкачать всю воду из нашего колодца, а мы в дни больших поливок это делали, причем поливка производилась вечером, после захода солнца, чтобы растения вдосталь напились и вода не испарилась, вся пошла на благо кочанов капусты, кустов помидоров, участков виктории (так в Уфе называли садовую клубнику, в отличие от полевой). Тяжелая это работа, да еще одолевают комары, а руки заняты, в каждой по ведру или ведерной лейке. И все бегом, и все слышен голос отца, отец организовал этот поливочный аврал, подбадривает нас, работает сам и досадует, что вот-вот вычерпаем весь колодец: столько народу, что можно бы еще поливать и поливать, а как это необходимо в такие жаркие засушливые дни.

Между прочим, как это ни странно, помидоры в те времена в некоторых деревнях Приуралья не выращивали и даже сроду их не видели. С первых же дней, как мы расположились на хуторе, к нам стали приходить крестьяне из соседних сел и деревень. Приходили какие-то настороженные, как будто входили в клетку льва. Здравовались. Тоже сдержанно. Слово за слово, разговорившись, оценив уважительное к ним отношение, слушали рассказы отца о сортах малины, земляники, овощей.

Я видел, как наши гости косятся на тарелку, полную спелых сортовых помидоров. Косятся, но ни один не желает показать себя неучем, дураком и не спрашивает, что это за штука.

Отец сначала не понял, что помидоров они вообще не видывали. Он думал, их занимает, что это за сорт и каковы они на вкус. Отец назвал сорт и предложил им попробовать, тут же потребовав уксус, соль, лук, сметану, хлеб, тарелки и вилки.

Мужики присматривались, не вышучивает ли их приезжий учитель: разве ЭТО едят?

Между тем отец наложил в тарелки по несколько кусочков помидоров, приправленных перчиком, уксусом, репчатым луком, а в своей тарелке залил все сметаной.

– На мой вкус, – объяснял отец, как бы совершенно не замечая ни замешательства, ни недоверия мужиков, – вот эти хороши. Вы не смотрите, что они желтые, это не значит, что не дозрели, это сорт такой. Некоторые не любят со сметаной, а едят просто с солью, – кто как. А я вот с лучком да с уксусом... Вкуснота! Говорят, что уксус со сметаной несовместимы, а у меня так очень совместимы, я и пельмени так ем – и с уксусом, и со сметаной.

Видя, что отец ест и похваливает, один из мужиков – рослый такой великан, черный и, видать, сильный, даже стесняется своей силищи, – крикнул, махнул этак рукой, дескать, где наша не пропадала, и, как будто собирался на кулачки схватиться, сказал:

– Давай!

Сел на табуретку и, неуклюже ковырнув вилкой, подцепил кусочек желтого помидора и осторожно откусил от него. Все остальные деревенские пришельцы испытующе смотрели на него.

– А что? – сказал великан. – Огурец не огурец, яблоко не яблоко, а как бы это сказать... Скусно!

– Скажи ты! – удивился самый невидный из всех, но, видать, весельчак и балагур. – Ничего?

– Да ты не жмись, Арсентий, – несколько пренебрежительно цыкнул на него великан. – Боисся – отрависся и помрешь? Невелика потеря.

– Я это боюсь? Да я, Иван, поди давно истратил все боялки, остались одни наплевалки.

И тут Арсентий юркнул за стол, бойко придвинул к себе тарелку, взял кусок хлеба, перекрестил лоб и стал за обе щеки уплетать помидоры.

– Конечно, это не пища, – ораторствовал отец, – это приправа к мясному. Например, к телятине, к котлетам...

– Прохаживались по котлетам, да, кажись, прошлым летом, – прожевав и проглотив, нараспев отозвался Арсентий.

– Пошел! Теперя не остановишь! – хохотнул великан.

– Нам останавливаться нельзя, – отозвался Арсентий. – За остановки не погладят по головке.

Мужики обернулись к отцу:

– Он у нас такой, не обращайтесь внимания.

– Да нешто. С него что взять – голь перекатная.

...Хутор был школой, программа этой школы была обширна, а профессорский состав пёстр: ректор – лес, учителя – Арсентий из деревни Курочкиной, Иван Кузьмич Хворостинин из села Богородского, Николай Иванович Ключарев, пчеловод, Анна Васильевна, мастерица делать медовую кислушку. Невзрачный мужичонка Арсентий без назидательных вступительных слов, так, вроде бы мимоходом, научил меня слышать то, что слышно, но почему-то не улавливается многими людьми.

ми, особенно горожанами. Оказывается, слышно, как режут в полете воздух крылья птиц, и можно по этому признаку различить, какая птица пролетела, даже если ты не увидел ее. Оказывается, слышно, как на заре раскрываются назревшие бутоны полевых цветов, слышно, как шуршит ящерица по камням и песку, слышно изда-лека, как надвигается ливень... И множество других, как будто неуловимых звуков заполняют мир. Научиться слышать – значит как бы войти в царство живых, приобщиться к порядкам, нравам, навыкам всего живого населения лесов и полей, рек и песчаных отмелей, проезжих дорог и лесных тропинок.

– Слышал? – таинственно спрашивал Арсентий. – Это медуница, лесная пчела пролетела, – Арсентий смеялся счастливым смехом, – Тяжело летит. Набрала веточных соков свыше меры, дуреха.

Он же научил меня различать запахи.

Оказывается, издалека можно унюхать, что впереди река. Оказывается, вечером можно учуять далекую грозу. Ее пока не видно и не слышно, однако остерегайся завтра поутру забираться куда-нибудь далеко, в места, где негде от грозы укрыться.

И вот я стал домашним каждый вечер предсказывать погоду.

– Дождь? – насмеялся брат Виталий. – Ну какой может быть дождь, когда солнце не село в синюю пелену, когда в небе ни-ни, ни тебе облачка, ни тебе хоть какой-нибудь малюсенькой дымки.

Я снова отходил от всех в сторону, слушал, принохивался, вглядывался и возвещал:

– К полдню у нас ливни пройдут. Да вы послушайте, как лягушки надрываются! Вы завтра собираетесь в город? Не забудьте взять зонт.

Один отец понимал меня. Он тоже умел предсказывать, предчувствовать дождь и был рад, что я научился этому.

Нет, это не знахарство, не колдовство. Надо научиться (именно научиться!) различать запахи, ими всегда наполнен деревенский воздух. Конечно, береза пахнет не так, как осина. А запах вереска? Запах спелой ржи? По запаху можно на большом расстоянии определить, что там, чуть не на горизонте, движется: воз сена или пустая телега, в которой сидит осоловевший шалый мужик, отметивший в городе «сороковкой» удачную продажу кочанной капусты. Надо пользоваться носом, коли он у вас есть. Видеть, обонять, слышать – значит включиться в окружающее, значит узнать о многом, чего раньше не замечал, стать побратимом травам, кустам, птицам и зверюшкам, облакам и ветрам, молниям и солнцепеку. <...>

У нас так было заведено: в страстную субботу вечером мы надевали новые рубашки, начищали до ослепительного блеска ботинки и шли с отцом бродить по городу. Улицы были тогда слабо освещены, и тем поразительней выступали из тьмы двадцать семь городских церквей в фонариках иллюминации. Каждая церковь хотела выглядеть в пасхальную ночь наряднее других. Разноцветные фонарики, гирлянды огоньков освещали церковные здания до самого купола. Да и сами церкви были разной формы, разной окраски. Например, Успенская церковь была светло-зеленая. А какая-то церковь была построена в форме пасхальницы. Спасская церковь красовалась над оврагом своими белыми колоннами. Кафедральный собор массивен и величав, создавали особое впечатление зажженные плошки, расставленные на Соборной площади, их пламя создавало живые полосы света, все мерцало, казалась необычной толпа, стоящая перед входом в собор, который не вмещал всех прихожан.

Самая необычность этой ночной прогулки да еще не такое частое у нас общение с отцом – все это радовало, будоражило. Красивое было зрелище, когда духовенство

со свечами, с хоругвями обходило вокруг церкви, а затем священник в сверкающем праздничном одеянии выходил на крыльцо и внятно, эффектно произносил, обращаясь ко всем: «Христос воскрес!», трижды произносил, и толпа все три раза гулко, мощно отвечала ему, как полагалось согласно обряду: «Воистину воскрес!» И тут все двадцать семь церквей поднимали многоголосый целодневный особенно напевный звон во все колокола... Как мне жаль людей, которые никогда не слышали этой ни на что другое не похожей, изумительной музыки, потрясающей все существо! Не слышали и вряд ли уже услышат. <...>

Внешне после февраля 1917 года в городе не произошло никаких особых перемен. Не было и столкновений. Так что создавалось впечатление, что в стране ничего такого не случилось. <...>

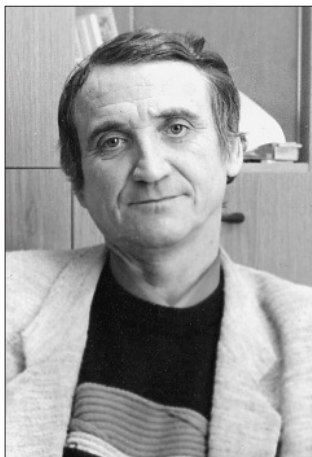
Я бродил по полям, широким лугам, нарядным перелескам в окрестностях хутора. Я любил, стоя на берегу Уфимки, протекавшей здесь же неподалеку, вглядываться в искрящуюся отблесками солнца лиловую даль. Там Миньяр, Сатка, Кропачево... а дальше – Златоуст, Миасс, Челябинск... еще дальше – и Томск, куда я собирался ехать... С любовью и нежностью перебирал я эти близкие мне и в то же время загадочные, неразгаданные названия. Мой милый красавец Урал! Я навеки привязан золотыми нитями родства к тебе, сказочный Урал, с твоей нарастающей свежестью, с твоей безыскусной врожденной прелестью. Но меня манили и новые места, влекли ближние и дальние края, окутанные тайнами и загадками.

Река блистала. Ветер запутался в ветках берез. Облако разлохматилось и было похоже на старое ватное одеяло, во все дыры которого лезут солнечные лучи. Я вглядывался в заречные дали, в бездонные небеса и думал о своем будущем, о новой полосе жизни, открывающейся передо мной. Что-то ждет меня? Что будет завтра? Судя по стихотворению, которое сохранилось у крестной в подлиннике, написанное моим почерком и мною подписанное, с датой «29 м. 1917 года» («м», вероятно, означает «март». Или «май»? Нет, думаю, что «март»), – так судя по этому стихотворению, настроение у меня в те весенние месяцы было самое безмятежное и радужное:

*Последнюю весну встречаю гимназистом.
Последнюю весну – и светлую весну.
А дальше впереди, как в летнем небе чистом,
Так близко к сказке все, к виденью, грезе, сну...
Там, впереди, манят свободной жизни годы,
Там, впереди, простор, рожденье в жизнь мечты,
Там царство красоты, там творчество свободы,
Там солнечная жизнь, там яркие цветы.*

Я верил в свою звезду, в свое светлое завтра. Я готов был бесстрашно вступить в это завтра, в новое, какое оно будет, какое сочинит неистощимая выдумщица Жизнь. А она сочинила страшное, если прикинуть объективно и беспристрастно, если трезво, без лозунгов и трафаретов осмыслить все произошедшее с нашей страной...

С высот небесных



НА ЦЫГАНСКОЙ

Трава молодая – смотри! – зеленеет,
на ветках птенцами пушистые почки,
а там, на Цыганской поляне, синеет
и плавают лодки, заборы и бочки.

А там, на Цыганской, бурлит половодье,
и семьи дрейфуют и в плеске, и в звоне,
и веслами, быт догоняя, разводят,
и кто-то догонит, и кто-то потонет.

Зачем же и ты, загорая, стгорая,
от солнца и бликов вся-вся золотая,
бормочешь, как песню сквозь сон, повторяя:
травы молодая, травы молодая...

РАСПУТИЦА

Прочь, безлюдная, прочь, беззвездная,
не кружить тебе, не пуржить.
Пережилась ты, стужа лютая,
долго, значит, будем жить.

Словно льдинки в зрачках растаяли,
ясен, резок и близок мир.
Молодая ли, золотая ли,
созывает на брачный пир?

Я дымлюсь, горю! Так веди меня
в перезвоны, журчанье, свист,
сквозь алмазный плеск голубого дня
озаренный дрожит карниз.

О распутиц разногосица!
Зацелуй, запои, хмельна!
И зажмурившись, сердце бросится
в бездну яркую – и до дна!

Там, где стужей свистят заученной
ледяные мои пути,
я к тоске припаду, измученный:
– Отпусти меня, отпусти...

СОВЕСТЬ

Морось, морось по болоту,
шорох, шорох в камышах...
Одиноко в непогоду
на замшелых гольшах.

Не смотри, не зная броду,
в этот шорох, в этот плеск,
на заржавленную воду,
на дрожащий темный блеск.

С этим блеском нету сладу,
если души сожжены...
Что ты смотришь как расплата
из болотной глубины?

Что ты вяжешься за мною
по пятам, по камышам,
зачумленной глубиной,
по замшелым гольшам?

Все тревожней, глуше, глуше,
все безвестней в серой мгле...
Отпусти ты мою душу
по сырой земле!

ТОПОЛЕЙ ВЫСОКИХ ШУМЫ...

Не зажгу в квартире света.
Нынче, нежен и угрюм,
буду слушать до рассвета
тополей высоких шум.

Что мне сны любого сорта?
Я не видел целый день



огоньки аэропорта
и мерцанье деревень.

Дышит свежесть в темных шторах
в ночь распахнутых окон...
В этот шелест, в этот шорох
пьян от свежести балкон.

Пьяны запахом травы,
стекла – отблеском луны,
теплой сыростью – канавы
и прохладной – валуны.

Пьяны все, кому не спится
в галактической пыли,
на окраине столицы
посреди родной земли.

Все нежней, безбрежней думы,
все слышнее издали
тополей высоких шумы
с придыханием земли...

* * *

Из поэмы «Душа, идущая ко мне»

Зашел в вагончик – тесен, душен.
Подсел к костру – галдеж и дым.
И мне никто здесь не был нужен,
и сам я не был нужен им.

Я звал Любовь – как ночь, как милость,
как сон мерцающей реки,
где вся вселенная струилась
у ног, ступивших на мостки!

Я звал Любовь – как нежность, жалость,
как свежесть ветра и волос.
Я звал – и сердце разрывалось,
и чудом не разорвалось!

Я звал Любовь – как дух небесный,
как жизнь – у смерти на краю,
звал как звезду из темной бездны,
как странник – Родину свою!

* * *

Я поднимался по ступеням
щербатым... Церковь Покрова
встречала ладаном и пеньем,
за дверью слышимым едва.

Ладошки детские теснились, –
хоть плачь, а в каждую положь...
Старушки, кланаясь, крестились
за каждый выпрошенный грош.

Как болью, пением объятый,
я в высь небесную летел
и вторил хору: «Боже Святой...»
А Он со всех сторон глядел.

Треща, спешили свечи капать
на неотчищенную медь.
И так хотелось горько плакать,
и так хотелось умереть...

Господь, прости, за эти слезы,
что застилают мне глаза,
прости за то, что нетверезый
я стал под эти образа.

Спасибо, Господи, за милость,
за хлеб, нажитое тряпье,
за что хорошего случилось,
но... где же Царствие Твое?

Поклон за свет икон чудесных,
за золотые образа,
но там... с высот Твоих небесных
видна ли хоть одна слеза?

Прости, я знаю не по слухам
народ, не верящий в тебя...
За что Любовью, Миром, Духом
я нищ – как Родина моя?

* * *

Пусть боль крылами не измерить,
зачем над прожитым кружить.



Во что-то сердцу надо верить,
и чем-то телу надо жить.

Просты, но стираны одежды.
Прост, но надежен милый кров.
Восходит Вера из Надежды
и излучает в мир Любовь!

И каждый день обыкновенный
в тревогах, в розах и в пыли
выводит формулу Вселенной,
решая формулу Земли.

Жизнь, как заря во мгле, красива!
За каждый день в моей судьбе,
за всю Любовь и Боль – спасибо,
спасибо, Господи, Тебе!

* * *

Когда из облачка, что меркнет,
выходит ранняя звезда...
Когда я слышу пенье в церкви
и вижу Бога иногда...

Когда волшебного блаженства
окатит призрачной волной –
все неземное совершенство
желанной Женщины земной...

Когда из сумерек наитий
потянет странный холодок –
как из таинственных открытий
дверей, закрытых на замок...

Когда прощаются в передней
и затихают голоса...
Любовь уходит прочь последней,
и... ночь глядит в ее глаза!

И даль встречает на пороге...
И след теряется в пыли...
Я слышу ветер на дороге...
Я вижу зарево вдали...

Душа жива, – и мир все тот же,
хоть каждый миг уже не тот.
И что с Душой случится, Боже,
то на земле произойдет.

И льется Ангельское пенье.
И Душу обнимает Дух.
Я вижу более, чем зренье.
Я слышу более, чем слух.

Промчатся ливни, минут сроки,
а в сердце, сколько ни живи,
предощущение Дороги,
предощущение Любви...

Байки о товарищах по перу



Мать, бывало, бранила меня: «Не передразнивай людей!» Думала, должно быть, что мои шалости могут обернуться против меня самого. Но у земляков моих, темясовцев, всякого рода передразнивания, розыгрыши, подшучивания друг над другом – обычное дело. Острословие и веселый нрав в вину не ставятся, – такой уж в моем родном ауле образ жизни, ставший для меня привычным.

Привычка, говорят, – вторая натура, последовала она за мной в Уфу. И здесь я передразнивал окружавших меня людей; шутливо изображал товарищей по перу, выпячивая смешное в их характерах, поступках, манере речи; придумывал разные байки о них. Того, кто готов был выслушать мою байку, я предупреждал: «Это я только тебе говорю, другим не пересказывай!» Да разве же человек, услышав шутку, удержится, не перескажет! Товарищи, которых мои шутки непосредственно не касались, посмеявшись, озабоченно советовали мне: «Ты свои байки, пока жив, опубликуй в печати, а то пропадут зря». А те,

кого касались, кисло роняли: «Насчет меня не очень удачно у тебя получилось», – и отворачивались. Поэтому я до сих пор байки в печать не отдавал. Но люди, заинтересованные в их судьбе, пожалуй, правы: и впрямь могут пропасть зря. Подумал я, подумал – и решил опубликовать их. Не все. Излишне колкие отсеял.

Ладно, кто-то обидится, так обидится, труса играть, уже выйдя на пенсию, мне, думаю, не к лицу. И вот что еще должен сказать: в части баек отражено то, что было на самом деле, в некоторых правда приправлена вымыслом, в остальных – игра воображения.

Итак, представляю товарищей по перу...

НАЗАР НАДЖМИ

Внук Аскар:

- Дедушка, ты народный поэт Башкортостана или Татарстана?
- Когда я, внучек, в Казани, то – Татарстана, когда в Уфе – Башкортостана.
- А когда в Москве?
- В Москве я – Назар Наджми!

*Перевод с башкирского Марселя Гафурова.

Рашит Тимранович Султангареев (1935–2000) родился 25 декабря 1935 года в с. Таймасово Куюргазинского района РБ. Автор двадцати книг, в том числе «Теплый дождь», «Возвращение домой», «Земля, на которой мы живем». Лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева. Заслуженный работник культуры РБ и РФ.

* * *

Назар-агай, будучи в Москве, зашел в Центральный дом литераторов, решив перекусить в тамошнем буфете. Говорит буфетчице:

– Один кофе. Буфетчица восхитилась:

– Вот, нерусский товарищ, а знает, что «кофе» – слово мужского рода, не то что наши московские писатели!.. Что вам еще?

– Один булка!

(Замечу, что, в зависимости от аудитории, в этой байке могло прозвучать и другое имя – не обязательно народного поэта Назара Наджми).

ТИМЕР ЮСУПОВ

Тимер Юсупов в молодые еще годы решил купить себе новый костюм. Поэт он, сами знаете, замечательный, но в обычной жизни очень уж непрактичный. Поэтому взял с собой в консультанты своих друзей – Рами Гарипова и Миассара Басырова.

Купили костюм. Покупку, конечно, надо обмыть. Пошли в ресторан.

Наутро Тимер хватился – костюма нет. Забыли сверток в такси, в котором поехали домой из ресторана. Хотел было уже махнуть на пропажу рукой, но тут пришли к нему Рами с Миассаром. Миассар-то был шустрый парень, сразу сообразил, что надо сделать. Позвонили в таксопарк: так, мол, и так, костюм посеяли. Оттуда отвечают: да, вчера таксист сдал тут сверток, можете забрать.

Поехали, забрали. На радостях пошли в ресторан. Знаю, что вы подумали: опять потеряют. Ничего подобного! Врать не буду, сам не видел, но люди рассказывали, как они шли к квартире Тимера: двое шагали, вцепившись в сверток с двух сторон, третий, раз ему к свертку невозможно было подступить, шел сзади, намотав на руку конец привязанной к нему бечевки. Чтоб не потерять, значит.

САФУАН АЛИБАЙ

По радио идет передача для детей.

Звучит песня:

– Лепечет, лепечет, лепечет и лепечет,

Лепечет, лепечет, лепечет и лепечет...

Диктор:

– Вы слушали песню, написанную специально для вас... Слова Сафуана Алибаева...

* * *

Едем в «Жигулях» Сафуана. За рулем он сам. Недавно прошел сильный дождь, на дороге много луж. Встречная машина обдала нашу грязной водой, и мы едва не угодили под «КамАЗ».

– Если бы мы погибли, – заметил я, – в газетах напечатали бы сразу два некролога. Интересно, чей поставили бы первым? Наверно, мой – я старше по возрасту.

– Нет уж, агай, – возразил Сафуан. – Поставили бы по алфавиту, значит, впереди был бы я!

– Да ты, видать, плохо знаешь башкирский алфавит! По-башкирски твоя фамилия начинается с буквы, которая стоит почти в самом конце алфавита.

– Зато по-русски начинается с «А»!

– Ладно, коли так, ты пойдешь первым в русской газете, а я – в башкирской и татарской.

АСЫЛГУЖА БАГУМАНОВ

Я приехал в командировку в Сибай, и меня, сославшись на дороговизну в гостинице, устроили в рабочем общежитии на улице Островского. Вечером, когда поели в ашхане и «почаевничали» в чайхане, Асылгужа Багуманов взялся проводить меня в это общежитие – дескать, ты Сибая не знаешь, можешь заблудиться. Сам он второй год работал в должности «безответственного» секретаря местной писательской организации. Часа полтора мы промаялись в поисках улицы Островского. Асылгужа ругал проектировщиков:

– Безмозглые, черт знает как спроектировали город! Не брались бы, раз не умеют!

Встретились двое парней, спрашиваем их, где улица Островского. Они направили нас в обратную сторону. Но там искомой улицы – пропади она, как выразился Асылгужа, пропадом – не оказалось. Асылгужа рассердился на тех парней:

– Безмозглые, живут тут, а города своего не знают! Слушай, давай позвоним в Уфу Наилу Гаитбаеву, он Сибай хорошо знает.

Однако телефонная станция ночью, оказалось, не работает.

– Ладно, агай, не стоит из-за пустяков расстраиваться, айда, переночуешь у меня, – решил Асылгужа.

Пошли. Но теперь он никак не мог отыскать свой дом. Удивлялся:

– На другое место, что ли, его перетащили? Ладно, не стоит из-за пустяков расстраиваться, пошли на вокзал, там как-нибудь остаток ночи перетерпим.

Но и на вокзале не повезло, он был заперт. Асылгужа постоял, озираясь по сторонам, и вдруг радостно закричал:

– Хай, мы безмозглые! Вон же мой дом! С вокзала-то дорогу к нему я знаю!

* * *

Асылгужа написал повесть. Тогда как раз входило в моду мероприятие, именуемое презентацией. Асылгужа объездил чуть ли не все наше Зауралье, представляя народу эту самую повесть. В Сибай ему был задан вопрос:

– Агай, над чем вы сейчас работаете?

– Не видите разве сами?! – возмутился Асылгужа. – Над презентацией?

РОБЕРТ БАИМОВ

В Кармаскалах, на родине Роберта Баимова, устроили вечер встречи с именитым земляком.

– Товарищ Баимов, – обратился к нему пожилой колхозник, – есть у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы писатель или профессор?

Баимов, поднявшись из-за стола, пожал плечами.

– Вы, товарищ, задали вопрос, чересчур упростив предмет разговора. Я бы порекомендовал формулировать вопросы, конкретизируя и индивидуализируя их соответственно политическим и социальным аспектам нашего бытия, с учетом привходящих обстоятельств, сложившихся в той или иной ситуации. В сегодняшней реальности я нахожу целесообразным называть себя в писательской среде профессором, а в научной среде – писателем.

– Понятно, – сказал колхозник.

РАИЛЬ БАЙБУЛАТОВ

В период горбачевской перестройки началась так называемая аттестация – в официальных учреждениях должны были написать характеристики на своих работников. Первый заместитель председателя правления СП Раиль Байбулатов читает характеристику, которую я сам на себя написал, – руководству неохота было этим заниматься, вот самому и поручили.

– Тэ-эк, Султангареев Рашит Гимранович родился в 1935 году. Был секретарем комсомольской организации колхоза... Окончил Башкирский государственный университет... Работал у нефтяников... Лауреат премии имени Салавата Юлаева... Несколько раз избирался членом правления... Член КПСС с 1966 года...

Прочитав, спрашивает у меня:

– А второго экземпляра нет?

– Зачем он?

– Это же готовый некролог! А то умрет человек – ломай голову, как написать. Здесь же надо только добавить: «Светлая память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах», – и все!

* * *

Собираемся с Мустаем Каримом съездить в мой родной район. Раз окажемся там, надо и в мой родной аул заехать. А заехав в родной аул, как не побывать в отчем доме!

Дело было зимой. Бурило. Наверно, улицы аула, думаю, занесло снегом, на машине не проехать. Выказал свою озабоченность Раилью Байбулатову.

– Рашит-агай, не беспокойся насчет этого, – сказал наш зампред. – Я позвоню главе района, он мой тезка и очень хорошо ко мне относится, распорядится улицы в ауле расчистить.

Позвонил. Через два дня звонит снова:

– Раиль Абдуллович, извините, Мустай-агай не сможет поехать к вам, Султангареев один поедет, так что не надо расчищать улицы.

РАВИЛЬ БИКБАЕВ

Равиль Бикбаев во время одной из поездок в Москву решил заглянуть там к свояку. В подъезде дома, где тот жил, стояла в ожидании лифта молоденькая девушка. Посмотрела она на нашего бородатого председателя и говорит:

– Вы не садитесь, я одна поеду.

– Почему?

– Боюсь. Вдруг вы – лицо кавказской национальности...

* * *

Звоню однажды Равилю Тухватулловичу, – как, мол, поживаешь.

– Сижу, агай, плачу. – Он величает меня «агаем», когда навеселе.

– Что случилось?

– Пенсию принесли.

* * *

Равиль Тухватович перед съездом писателей вызвал к себе в кабинет своего советника Ирека Киньябулатова.

– Кого в председатели ревкомиссии предложим?

– Можно Сабира Шарипова.

– А он считать умеет?

– Умеет, но зачем тебе ревизор, умеющий считать?

– В самом деле, зачем? Давай лучше Хисмата предложим.

ХИСМАТ ЮЛДАШЕВ

Встретился я однажды с Хисматом в Москве, когда он еще студентом был, учился в Литературном институте. Почему-то, здороваясь, он мне левую руку подал. И потом, гляжу, кружку с пивом в левой руке держит, а правая сжата в кулак, да так крепко, что пальцы побелели.

– Ты что это, – спрашиваю, – со сжатым кулаком ходишь?

– Да деньги у меня тут... – Раскрыл ладонь, показал – рубль и восемьдесят пять копеек были в руке зажаты.

– Почему в руке их носишь?

– Карманы у меня дырявые.

* * *

Одно лето, приехав на каникулы, Хисмат прожил на моем садовом участке. Его дневной рацион: буханка хлеба, сколько влезет прошлогодней завядшей картошки и ведро воды из скважины – без фенола.

Я отправил из района доски для строительства на участке, сказав шоферу:

– Там один парень живет, он поможет выгрузить доски. На-ка, заодно передай ему десять рублей, пусть еду себе купит.

Шофер потом рассказывал, что Хисмат, увидев десятку, растерялся:

– У меня же сдачи нет!

ГАЙСА ХУСАИНОВ

Придя на наш съезд или большое собрание, Гайса Хусаинов садится где-нибудь с краю.

– Гайса Батыргареевич, почему вы все время с краю садитесь?

– Меня ведь непременно в президиум выберут.

ГАЗИМ ШАФИКОВ

В 1987 году мы, группа литераторов, совершая поход по следам партизанской армии Василия Блюхера, вступили в поселок Красноусольский. На улице высыпал народ – и стар и млад. Гляжу, ребятишки гомонят, указывая на Газима Шафикова:

– Вон Горбачев, Горбачев!

Я потом, смеясь, сообщал об этом Газиму, а он серьезно так:

– Да, нас часто путают.

РУСЛАН МАКСЮТОВ

В квартиру Руслана проникли воры и, увидев, что пожить в ней нечем, оставили записку: «Так жить нельзя!».

ЗУЛЬФАР ХИСМАТУЛЛИН

В хрущевские времена случился хлебный кризис, у булочных выстраивались длинные очереди. Вижу однажды в хвосте очереди Зульфара Хисматуллина.

– Ты что, – спрашиваю, – тут стоишь? Тебе же и без очереди продадут.

– С какой стати?

– Вот сейчас увидишь – с какой... – И, обращаясь к стоящим впереди, говорю:

– Товарищи, тут наш друг из Китая стоит, неудобно как-то, все-таки иностранец, надо бы пропустить без очереди.

Глянули люди на Зульфара – точно, китаец. Щеки – во, глаза узенькие...

– Ладно, – кричат, – пусть пройдет вперед!

А Зульфар рассердился, повернулся и ушел. Писатель-юморист называется! Шуток не понимает!

БУЛАТ РАФИКОВ

Президент Борис Ельцин читает бумаги, касающиеся людей, представленных к государственному наградам. Берет написанное Динисом Буляковым ходатайство о награждении Булата Рафикова орденом в связи с его 60-летием.

– А, Булат Рафиков! Помню, помню его, встречались в Уфе. Что, орденом Ленина? Ну, Динис Мударисович, даешь! Я же орден Ленина упразднил. Булат очень любит татар – женился на татарке, любит русских – дочь выдал замуж за русского. Орден Дружбы народов, понимаешь, ему будет в самый раз!

МУСТАЙ КАРИМ

Было это на самом деле. Мустай-агай выслушал мои байки, отобранные для публикации, и спросил:

– Обо мне ты ничего не сочинил?

– Нет.

– Ну и ладно, и не надо.

А по правде говоря, была у меня байка, в которой фигурирует и он.

Многие, наверно, помнят Кави Муфтахетдинова. Он писал стихи, подчас вполне приличные, да вот беда: Кави стоял на учете в психбольнице. Тем не менее, как любому поэту, хотелось ему увидеть книгу своих стихов. Ходит в книжное издательство, требует издать, а заведующий редакцией художественной литературы Агиш Гирфанов не принимает его рукопись – и все тут. Пошел Кави с жалобой к Мустаю Кариму. Мустай-агай позвонил Агишу:

– Почему отказываетесь издать стихи Кави?

– Он же ненормальный!

– Все мы, поэты, ненормальные. Только у него есть справка об этом, а у нас нет.

ШАКИР ЯНБАЕВ

Однажды Шакирьян-агай пригласил товарищей по работе в редакции к себе домой на обед. Те, зная, что он скуповат, растерялись, спрашивают, не шутит ли.

– Нет, нет, не шучу, – заверил он. – Идемте.

И в самом деле накормил всех, а когда поднялись из-за стола, поблагодарил:

– Спасибо вам! Вчера у меня гости были, много еды осталось. Если бы вы не съели, пришлось бы выбросить.

ТАЙФУР САГИТОВ

Молодые наши годы, работаем в редакции газеты «Совет Башкортостаны». Тайфур на свое рабочее место ходит через проходную комнату. Утром мимо-

ходом, если в газете появился его материал, кивает: «Хороший сегодня номер получился!» Если его материала нет – «Говенный сегодня выпустили номер!»

* * *

Однажды весной наши сады затопило. Когда вода начала спадать, спрашиваю у Тайфура:

- У тебя в погребе не стояло что-нибудь крепенькое? Бутыль не разбилась?
- Не знаю. Вообще-то я выпил ковш воды из погреба – и в голову ударило.
- Дай-ка стакан, и я попробую.
- Брось, мне самому всего полпогреба осталось.

НАИЛЬ ГАИТБАЕВ

Министр культуры Салават Аминев перед тем, как назначить Наиля Гаитбаева своим заместителем, вызвал его на официальное собеседование.

- Как вы, – спрашивает, – товарищ Гаитбаев, думаете, что такое культура?
- Культура, по-моему, – это культура. А вы как думаете?
- Правильно, культура – это культура. Иди в кабинет напротив, приступай к работе. Кстати, ты ведь тоже баймакский?
- Да, кстати, я тоже баймакский.

* * *

- Наиль Асгатович, почему вы перестали писать пьесы?
- Сколько мог – написал, теперь других учу.

ФАРИТ ИСЯНГУЛОВ

В 1973 году в Якутии решили провести Дни башкирской литературы. Делегация во главе с Мустаем Каримом собирается полететь в далекую республику из Уфы, а Фариту Исянгулову, находившемуся в это время в Киргизии, сообщили, что он должен вылететь в Якутск прямо оттуда.

При пересадке в Новосибирске Фарит отправил в Якутский союз писателей телеграмму: встречайте, рейс такой-то.

Прибыл самолет в Якутск. Вышел Фарит на трап и растерялся. По бетонке растелена ковровая дорожка, поодаль гремит духовой оркестр, с одной стороны дорожки – пионеры с цветами, с другой – рабочие с флагами и транспарантами, посредине, прямо напротив трапа, как выяснилось потом, – руководство республики во главе с первым секретарем обкома. «Наверно, какую-нибудь иностранную делегацию встречают», – решил Фарит и, увидев среди встречающих знакомого якутского писателя Габышева, кинулся к нему:

- Коля, дорогой, как дела?

Первый секретарь и члены бюро пришли в недоумение: что это такое, что за невоспитанность? Башкирский писатель, вышедший из самолета первым, вместо того, чтобы поздороваться с руководством, кинулся обниматься с приятелем!

Оказалось, телеграмму Фарита недопоняли, поднялась суматоха, прозвучала команда свистать всех наверх, то бишь в аэропорт – встречать дорогих гостей из Башкортостана. Но вот разобрались, что прилетел пока один Исянгулов. За сим последовала немая сцена, как в «Ревизоре» Гоголя.

Делегация из Уфы прилетела ночью, и ей такая встреча не досталась.

СУЛПАН ИМАНГУЛОВ

Где-то в 60-х годах Сулпан по каким-то делам съездил в Москву. В то время поездка из Мелеуза в Москву считалась большим событием.

Пришли к Сулпану соседи, знакомые – провести, расспросить, как оно там, в столице Родины.

– И-и, Сулпан, ты, наверно, и на Красной площади, в Мавзолее побывал, Ленина видел. Как он выглядит?

– Вы что, никогда мертвого человека не видели?! – буркнул Сулпан.

ИРЕК КИНЬЯБУЛАТОВ

Ирек Киньябулатов по служебной обязанности выпускал буклеты к юбилеям писателей. И кому бы буклет ни посвящался, подыскивал фотоснимки, на которых запечатлен и он сам.

Буклет, выпущенный к 100-летию со дня рождения Шайхзады Бабича. Под фотоснимком – текст: «Снимок сделан в 1916 году на литературном вечере в медресе «Галия». Слева направо: Шайхзада Бабич, Газиз Альмухаметов, Тухват Ченекей и Ирек Киньябулатов.

РИФ ТУЙГУНОВ – ТУЙГУН

– Риф-агай, почему ты только теперь, прожив пятьдесят лет, отсекаешь окончание своей фамилии, стал Туйгуном?

– Поздновато я понял, что без этого не обойтись. Если, братишка, хочешь стать настоящим поэтом, сейчас же отсеки себе хвост.

* * *

Риф, проработав некоторое время заместителем председателя правления СП, отрастил усы и бороду, хотя это ему не шло.

– Браток, зачем ты бороду отпустил? – спросил я.

– Агай, ты уже в годах, а простых вещей не понимаешь. Нынче ведь Равилу Тухватовичу 60 исполнится...

Через некоторое время сбрил он с лица реденькую растительность.

– Что так, – спрашиваю, – почему сбрил?

– Похоже, не выгорит у меня дело. Равиль Тухватович говорит, что и на пенсии останется в председателях.

РИЗВАН ХАЖИЕВ

Приняли в наш творческий союз группу пишущих, которые до этого ходили в «молодых». Когда утвердили протокол, взял слово Ризван Хажиев и начал свою речь так:

– До обеда мы были журналистами, теперь стали писателями...

АМИР ЮЛДАШБАЕВ

Кандидат наук Амир Юлдашбаев перевел «Воспоминания» Заки Валиди с турецкого языка на башкирский. Турецким он овладел самоучкой. Когда книга вышла в свет, спрашиваю у него:

– Не допустил ли ты в переводе ошибки из-за того, что изучал турецкий без чьей-либо помощи?

– Без ошибок никакое дело не обходится, и у меня в переводе вместо красных проскочили белые, вместо большевиков – меньшевики, вместо Ленина – Керенский, вместо Сталина – Троцкий, вместо Заки Валиди – Гаяз Исхаки... Но, знаешь, в науке на такие незначительные неточности не принято обращать внимание, вы, писатели, чересчур щепетильны...

ИМЯРЕК

Один наш писатель примерно моих лет (имя не назову) поехал в санаторий с женой и внуком. Там с местами было туговато, поселили их в двухместной комнате.

На другой день писатель принялся жаловаться:

– Издеваются тут над людьми! Нам нужно три кровати, а в комнате их только две, мне пришлось спать с женой!

В конце концов не выдержал он «издевательств», на третий день обругал главврача и уехал со своим семейством домой, где у них было три кровати.

СО СЛОВ БАЯЗИТА БИКБАЯ

– Знаете, как надо прятать деньги, чтобы жена не нашла? Я сую их в карман ее пальто, летом – зимнего, зимой – летнего.

* * *

Когда Сагит Агиш получил новую квартиру, Баязит Бикбай, страдая от похмелья, пришел поздравить новоселов. В руке – пылесос, дефицитная в те времена вещь.

Хозяева, увидев знатный подарок, воодушевились, Фарзана-енгэ быстренько накрыла стол. Угостили Баязит-агая тем, в чем он нуждался.

Через несколько дней зашла к ним соседка, просит вернуть пылесос.

– Какой пылесос?

– Мой. Баязит попросил его у меня, чтобы пропылесосить вашу квартиру...

СО СЛОВ КАДЫРА ДАЯНА

Назара Наджми назначили директором Башкирского академического театра драмы. Услышав об этом, Кадыр Даян позвонил в директорский кабинет.

– Мне бы директора...

– Я слушаю.

– Брось, Назар, шутки шутить! – сказал Кадыр Даян и, якобы рассердившись, положил трубку.

Спустя некоторое время опять позвонил:

– Мне директор нужен.

– Я слушаю, Даян-агай.

– Хватит шутить, Назар! Мне настоящий директор нужен.

После третьего звонка Назар Наджми понял их смысл. «Какой из тебя директор!» – вот что было в подтексте.

* * *

После переезда Кадыра Даяна на новую квартиру наконец-то ему провели телефон. Подвыпив на радостях, звонит он в три часа ночи соседу Ахнафу Харису:

– Харис, у нас в подъезде кошка мяукает, не знаешь чья?

Харис, хорошо знавший повадки Даяна, положил трубку, ничего не сказав в ответ.

Следующей ночью, тоже в три часа, зазвонил телефон Кадыра Даяна.

– Даян, извини, я не смог выяснить, чья кошка мяукала.

ИЗ БАЕК ПЕВЦА РАМАЗАНА ЯНБЕКОВА И КУРАИСТА ИШМУЛЛЫ ДИЛЬМУХАМЕТОВА ДРУГ О ДРУГЕ

Рамазан Янбеков купил легковую машину. Едет в ней в свой сад, но не своим ходом – тащит ее грузовик. Ишмулла, остановив его, спрашивает:

– Ты что это едешь в новенькой легковушке, прицепившись к чужой машине?

– У меня прав еще нет.

* * *

Ишмулла Дильмухаметов решил приобрести садовый участок. В то время давали по четыре сотки земли, а он попросил пять.

– Зачем тебе лишняя сотка? – спросили у него.

– Я на ней курай посею.

Осенью начальник, ведавший выделением садовых участков, поинтересовался:

– Ну, Ишмулла-агай, удался у тебя урожай курая?

– Всходы были хорошие, да марьи*, решив, что это укроп, все повыдергали и съели.

ПЛАГИАТ

Однажды заявила ко мне в Уфу из Кумертау сестренка Альмира. На ней – новое пальто. Только было оно ей велико, чуть по полу не волочилось.

– Зачем, – спрашиваю, – такое большое купили?

– Мама сказала – на вырост.

Я вспомнил об этом через пятнадцать лет, в 1978 году, когда нам, новым лауреатам, собирались вручить в обкоме КПСС премии имени Салавата Юлаева. Инструктор отдела культуры обкома Фарит Габитов предупредил меня:

– Ты должен выступить на торжестве с благодарственным словом. Подумай хорошенько, что скажешь, чтобы ни нам, ни тебе потом не было стыдно.

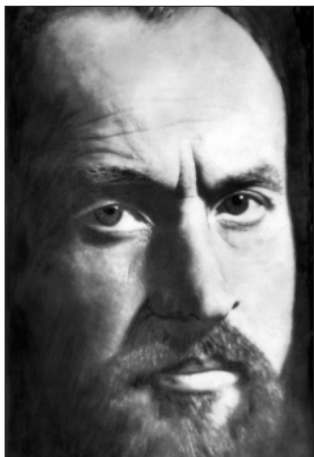
Перед началом торжества Фарит завел меня в свой кабинет прорепетировать мое слово. Ему оно понравилось. Повел для его утверждения в кабинет заведующей отделом Клары Тухватуллиной. Там мне пришлось повторить свою коротенькую речь. Она и Кларе понравилась. Наконец, я третий раз произнес ее на торжестве, проходившем под руководством секретаря обкома Т. И. Ахунзянова. Я сказал:

– Когда я был маленьким, мать сшила мне пальто. Оно было мне велико, я расстроился. Мама успокаивала меня: «Я сшила его тебе на вырост. Вот подрастешь, и пальто станет тебе впору». Я считаю, что и премию имени Салавата Юлаева мне присудили на вырост. Со временем, надеюсь, она станет мне впору...

Народ, собравшийся в зале, поаплодировал, потом мне пожимали руку, хвалили, полагая, что это я сам придумал. Теперь, спустя двадцать три года, признаюсь, что это был плагиат. Мысль насчет выроста до меня мама моя высказывала.

* Имя «Марья» стало у башкир нарицательным, приобрело значение «русская женщина».

Хранилище испорченных часов...



ЛЕС

Огромный май дарил нам этот вечер.
Был солнца круг, как русский щит, багров.
И тьмою стрел летели нам навстречу
Звонящие кошмары комаров.
Взрывались утки фейерверком звуков.
С лесной воды ожившего тепла
Плыл ровный стон. Ныл стон блаженной муки,
Органый стон прозрачнее стекла.
Подводные, земные твари, звери,
Умеющие плыть, ползти, лететь,
Открыли норы, скважины и двери
И шли плодиться, драться, есть и петь...
Под сводами блистательного леса
Шумел черемух свадебный хорал,
Шла умопомрачительная пьеса,
Где нашу жизнь великий лес играл.
Скворцы шипели раздраженной кошек.
Был май велик в заботах и птенцах.
Как тысячи не мной дареных брошек,
Цветы черемухи держала ты в руках...

* * *

Сырая осень серых облаков
Из глаз твоих, из ветрености вечера,
из скважин на земле лежащих яблок
в слова уходит вычурно и ветрено.
Сырая осень злаков и плодов,
уйдя в слова, как в раковину море,
дарила астры сумраку садов
и золото беззубому забору.

издание

Эдуард Григорьевич Смирнов (1939–2005) родился в г. Ржеве. Окончил 4 курса МГУ по специальности «искусствоведение». Художник. Поэт. Автор книг стихотворений «Дом с нарисованным окном», «Розы и груши», «Грузчик и Роза». Участник АСУП-1. Публиковался в «Литературной газете», журнале «Урал» и др. печатных изданиях. Жил в г. Уфе.

Закручивались листья на огне,
И каменели астры на окне.

Устойчивая осень ожиданий,
осенних вин рубиновый огонь,
пора потерь, пора воспоминаний,
где лист похож на желтую ладонь,
сдуваемы в чужие закоулки,
в хранилище испорченных часов
кленовый лист, деталь твоей прогулки,
закрытый в каземате на засов!

Но время не уходит вместе с нами.
И осень быстротечна.
И звончей
в венчании усталыми плодами
мелодию ведет виолончель...

Уже октябрь. Уже желанны розы.
Уже огонь, как девушка, хорош.
И дворники – богатые, как Крезы, –
сжигают золота пластинчатую дрожь.

* * *

Памяти Александра Банникова

Две бабочки набоковских присели
На черную свирель Кара-Идели.

Ломатель логики наткнулся на забор,
И начался афганский мушкетер.

Скорей налей, уфимский муравей,
Стакан свободы в комнате своей.

И льется одуряющий Афган
В огромный, как Россия, твой стакан.

И молится тишайший инсулин,
И обнимает музу диабет.
О, камикадзе, зомби, инвалид,
мучитель одиночества, поэт.

Мне не поднять твою нагую боль.
Другого поколения жилец.
Но выстрелит французский алкоголь,
Переливаясь медленно в свинец.



Бросает Бродский броские слова,
И недоступен Жданов и высок,
И падает последняя глава,
Собою прикрывая твой висок...

Последней встречи пасмурный урок...
Не доглядел, не смог, не уберег.

Две женщины, оплакав, онемели
У черных вод слепой Кара-Идели...

* * *

Печально я гляжу на наше поколение...

М. Ю. Лермонтов

И в этот раз, наверно, принесет
Орфей сосуд и чашу круговую.
Февраль пришел, отбросив старый год
В заваленную хламом кладовую.

А старый дом угрюм, как инвалид.
В умерших яблонь скрученные руки
Безмолвный снег таинственно летит
Предвестником немислимой разрухи.

Как Палех недоступны снегири.
Ломай забор, стремянку ставь повыше,
Чтоб день рожденья утренней зари
Не прозевать с ломающейся крыши.

Ломай забор, как сбывшуюся ложь,
Хоть ночь темна и псом обычным лает.
Лохматый снег завалит окна сплошь,
Завалит вход и выходы завалит.

Мы внутрь войдем не только через дверь...
Топор в крови – сквозь щель опасно глянет
Разваленный на части тихий зверь,
Соединится в целое – и встанет.

Тогда бокал прозрачный подниму
За коммунизма дряблые останки...
И «мерседес» покойного Камю
Раздавят ржавеющие танки.

«Чужой» найдет сокровища «Чумы»,
А в занесенном доме, будто в чуме,

Окажемся несбывшиеся мы
Поспешным выводом из лермонтовской «Думы».

ОГРАБЛЕННЫЙ ЛАРЕК

Когда окна
на убыли боль,
надень шапку на воспоминание обо мне,
дай шарф,
цвета воробьиного живота,
перчатки из пустых пятерок, –
тащи, тягай
– ограбленный ларек –
в хрустящие сокровища потемок!
Там хорошо, там можно на троих,
там нет чужих в своем домашнем круге.
Грохочет ветер
в окнах глаз моих,
язык примерз скобою на фрамуге.
Как памятник,
ограбленный ларек.
Раскурочена дверь
железною прямизною лома,
железной раны
рванный лепесток
закручен в рог
на линии излома.
Ромашка?
Отсутствие ромашки, как дыра
в двери. По краю пустоты
солидность серебра,
струна звенит железного ромansa:
(это ветер зацепился за оборвыш
на дыре)
в кобуре, похожей на Африку,
черный столб
зашевелился, растопырился
и вдруг,
раздвигая полукруг,
в танце огненном забился.

Холодно пустому ларьку,
поет ему ветер про Африку,
забинтовывает раны.
заваливает нутро
серебром,
белым,



а когда ж одуреет от мести,
как сдвинутые стаканы,
громыхают
листы жести
в порыве несмелом.
Лежит на боку?
Растерзанная дверь – единственное крыло –
на снегу.
С одной бочки ободрали фанеру,
ветер следует негодяев примеру.
Остов из металлических костей –
остров в море людей.
Погнутые ребра –
единственная защита.
Одно – синусоидой кобры –
орнаментом жутким покрыто
(готово ужалить?) –
всего лишь ужа нить.

Бедный, бедный ларек,
ларец, ларчик, лареха...
распотрошили твой фанерный кулек,
утащили конфеты, коврижки,
«белочки», «сказки», «мишки»,
сладкий-пресладкий песок –
и вот ты – пустая прореха –
нигде ни ореха!
Но ветер не верит,
он шарит у двери,
копается пальцем из воздуха
в проеме не узком,
за сплющенной кружкой,
швыряет бумажки без отдыха,
он хочет ириску,
ириску-Лариску
подсунуть себе под язык,
сосать онемело
ирисочье тело,
вздымая небритый кадык,
и сладкие слюни пускать
в свою снеговую кровать.
У, этот ветер – искатель сокровищ
в отбросах!
Назойлив, как глухонемой,
коровиц
вопросов
нагонит –
дон расторопной рукой.

Копается пуще
в рыхлеющей гуще,
под дверь норовит,
хватает за уши
бумажные туши
и тащит на вид.

Ларек не шевелится, лежит,
вроде бы спит,
а может, притворяется,
мышь бежит.
Оторвался кусок фанеры,
завертухался по дороге,
как от милиционера пьяный,
плоский и рваный,
а может, к фанерной Венере?
Жесть хлопает,
отделиться хочет от тебя, поверженный,
хлопает, как стреляет в себя
рассерженный...

Тишина. Огромные звезды кажутся маленькими.
На снегу следы оставили чьи-то валенки.
Наверное, Бог проходил,
поест приносил.
Тишина. Нет ничего подозрительней тишины,
особенно во время войны.
Все притаилось. Ну, кто первый
вылезет радостной стервой,
того и хватай,
рот зажимай,
отнимай
май.
Притаился ларек,
изодранный кулек.
Не округа – а сплошные глаза
ждут? Друга или козла?
Все смотрит, все молчит,
одна тишина кричит:
да разве кто услышит –
ларек еле-еле дышит.

Небо – синяя внутренность шапки земли
с дырками. Проносилась шапка,
воз ниток надо. Ну хотя бы охапку.
Нет, строим подводные корабли,
и – пли.
Заяц и тот съел язык, убежал в тайгу.



Никто ни гу-гу.
И когда стало уж совсем невыносимо,
разодрал ларек железные обручи
железных челюстей,
заорал что было силы:
«Ко мне, я – чей?»
Эхо захохотало: «Я чей? Ячей? Ячей!»
Ячейки тишины полопались, как нитки,
отовсюду полетели поздравительные открытки.
Голуби, сизые комочки тепла,
бились в темные проруби стекла.
Откройте, откройтесь –
он здесь, он здесь –
явление ларька народу
в глухую темную погоду.
Вот он идет,
машет единственным крылом,
которое хотели на слом,
песню поет
о наших душах:
слепой глухого да не задушит!

С одной ногой,
с одним крылом,
в ржавых кусках жести,
полон нежности и мести
в вихре пыли и бумаг,
сея радости и страх,
одноного приседая,
воспевая и стеная
в дырах, скважинах, рванье,
не мечтая о белье,
как изодранный кулек,
к людям двигался ларек.

Сёма

Рассказ

Баркас был продырявлен топляком, которого на этой сибирской речке больше, чем греха в мире. Но дырка получилась маленькая, да еще и бревно ее закупорило, поэтому баркас то-нул медленно и неохотно.

Экспедитор Федя Климов рвал на себе волосы и пытался один хватать и тащить стокилограммовые ящики с аппаратурой. Матросы, смеясь, отпихивали его в сторону и, деловито подцепляя ящики талью, сгружали их в подходящие от поселковой пристани лодки.

Капитан, маленький худой старичок, курил не трубку, а «Кэмэл», и не было у него на плече попугая, меняющего пиастры на рубли, а в ушах торчали пюговки наушников. Весь рейс капитан крутил ручку приемника, и даже сейчас была слышна какая-то музыка.

Федя Климов, уже видя себя на дыбе за запоротое дело, выль как пенопласт о стекло:

– Дядь Коля, пропадаю, что же мне делать. Тут же добра на сто тысяч в валюте. Я же все это на ТЭЦ должен доставить через три дня. Меня же посадят, расстреляют, депремируют... Дядь Коля, меня же уволить могут! Капитан спокойно наблюдал за разгрузкой:

– Федя, у меня судно гибнет, я и то помалкиваю, у меня стахановцы твои ящики спасают с риском для жизни, можно сказать, геройствуют, а ты им небось и бутылку не поставишь. – Дядя Коля презрительно поглядел на Федю. – Ладно, не дрейфь, салага, в этом поселке есть мехколонна леспромхозовская. Договорись с машиной, они тебя через перевал перевезут по лесовозной дороге. А там по трассе на ТЭЦ и выйдешь.

– Договорись! Как это – договоришься... – уже как подбитый «мессершмитт» взвыл Федя. – Кому я тут на хрен нужен, кто меня везти станет. Я же здесь никого не знаю. Я же здесь как персик в столярной мастерской.

– Ну ты, Федя, даешь. У тебя, что, языка нет или с людьми никогда не говорил? И кого только в Сибирь не шлют, тьфу...

Ящики сгрузили в здании поселкового совета, заперли на три замка, и Федя в предынфарктном состоянии пошел к начальнику мехколонны.

– Оно понятно, Федор Сергеевич, дело сурьезное, государственное, «КрАЗа» я тебе дам, с водилой рассчитаешься сам, а за машину пускай на ТЭЦ три тонны соли лары нальют. Бочка у «КрАЗа» в кузове.



Ринат Рифатович Юнусов (1961–2010) родился 9 ноября в Уфе. Поэт, прозаик. Окончил Уфимский автотранспортный техникум. Печатался в республиканских газетах, журналах «Уральский следопыт», «Крещатик» (ФРГ), «Бельские просторы»; автор поэтических книг «Пригоршня звезд» и «Стихотворения». В издательстве «Вагант» вышла его книга «Медленное небо».

мфедя

Начальник говорил, но чувствовалось, что чего-то он не договаривает. Федя никак не мог взять в толк – чего.

К водителю пришлось зайти домой.

Скуластый черноволосый Руслан Утяшев дожевал огурец и, подумав, сказал:

– Три штуки за два дня – это, конечно, заманчиво. Только, знаешь, я, наверное, не поеду...

– Ну в чем еще дело, родной, денег, что ли, мало? – Федя понял, что недоговорки начальника сейчас начнут всплывать.

– Не, денег как раз нормально... – торопливо заговорил Руслан. – Ты пойми, про твой груз уже по всей реке знают, да ты и сам с баркаса орал, мол, сто тыщ барахло твое стоит. Люди уже думают, что там вместо транзисторов золотые пятаки стоят царской чеканки.

– Какие пятаки? Какое золото? – Федя от досады чуть не откусил себе язык.

– Там его грамма три-четыре наберется, да и то техническое. Русланчик, ну и что дальше? Что мне здесь жить оставаться?

Руслан жалостливо поглядел на Федю:

– Ну, ясно дело, ехать как-то надо. В общем, прикрытие надо. Возьмем с собой стрелка. Плати ему отдельно, иначе не поеду.

– Стрелка?.. Я что-то не понял, стрелять, что ли, будут? У вас здесь, что, закона вообще нет?

– Слушай, Федя, если ты сейчас думать не начнешь, я с тобой вообще разговаривать закончу и выручать не стану. Вот сколько вы плывете, дня три? Капитан по радиции о топляке в пароходство сообщил. Сколько надо, чтобы оттуда набрать Красноярск? Если бригада уже в нашем районе, сколько надо, чтобы слить тебя из Красноярска им на мобильник? А все это наверняка случилось. Тут лес с лесовозов грабят, а у тебя вон какой груз. Если хотя бы три человека накладные видели, все, сливай воду. – Руслан глянул на враз притихшего Федю, усмехнулся и закурил. – Да ладно, не помирай раньше времени, если кого надо с собой возьмем, может, и проскочим. Тут главное – уговорить.

Через полчаса на окраине поселка нашли дом.

– Вон он, в огороде копается, – показал Руслан.

Вскапывал грядку явно не «зеленый берет». Маленький, длиннорукий, кривоногий, с небритой, явно похмельной рожей, в кирзовых сапогах и в пиджаке с затертыми до блеска карманами. Ни квадратного подбородка, ни холодной стали в глазах не было у этого крестьянина с понурой фигурой, обреченно вцепившегося в свою лопату.

– Руслан, ты, по-моему, своего спившегося зятя на шабашку подтягиваешь. Какой же это стрелок? У него вид как у жертвы. Может, кого другого поищем?

– Не, этот в самый раз. На экстерьер не смотри. Только ты при разговоре больше не с ним, а с бабой его контракт подписывай.

И они шагнули в калитку.

– Александра Яновна, – начал Руслан, – тут вот клиенту груз надо сопроводить до трассы, на ТЭЦ которая...

– И не просите, мужики, картошка не сажена, крыша не делана. Не, не поедет никуда, – отрезала хозяйка, не в пример огороднику статная, крепкая и вполне симпатичная женщина.

– Ляксандра, ты погоди, две штуки за два дня тебе, что, карман оттянут? – Руслан прищурился на хозяйку, потом на Федю.

– Руслан, ты, что, глухой? Ты гляди, у всех уже все сделано, а этот хмырь вчера где-то самогону достал... У, скотина, глаза бы не смотрели...

Федя весь подобрался. По категоричности отказа он уже понял, что пришли они явно куда надо.

– Александра Яновна, вы рассудите сознательно: груз государственной важности, кораблекрушение, там люди ждут...

Разговор затянулся на целый час. Затрагивались такие аспекты, как сознательность, совесть, взаимовыручка, корысть и даже вопросы религии и атеизма.

Все это время огородник, его звали Семеном, кротко поглядывал то на хозяйку, то на Федю, то на Руслана и иногда вставлял:

– Ну, Саня, ну не бухать же едем... Да закусывал я... Александра, ну какие в тайге бабы...

– Ну, ладно, езжай, прогуляйся, – наконец прозвучал высокий вердикт. – Иди получай шпалер и патроны. Да смотри, сучья морда, чтоб людей живыми доставил. Не хватало мне позора на седины мои. – Поправила Александра Яновна каштановые, без единой сединки волосы. – Если что – на порог не пущу, будешь в шалаше жить. Федор Сергееч, а деньги вы мне прям щас отдайте. Если с вами что... я их вам верну.

Федя почесал затылок, не понял таежного юмора и отсчитал две тысячи.

«КрАЗ», трехмостовый лапотник, уже семь часов штурмовал таежный перевал. Лесовозные дороги от нормальных отличаются тем, что прокладывали их не дорожники с теодолитами и рейдерами, а лесорубы с мотопилами и трелевочниками, поэтому направления, уклоны и примыкания их были столь замысловаты, что после нескольких часов езды на ум приходили мысли о четвертом измерении.

– Если так будем ехать, то за неполные сутки доберемся, – прикидывал Руслан.

Федя сидел посередине. Семен у окна в полглаза следил за дорогой и обочиной. На коленях лежал армейский заграничный карабин.

– Русланка, еще одно дерево, – предупредил Семен. Он сидел, весело поглядывая на тайгу, и напряженное ожидание не мешало ему оставаться в хорошем настроении.

Руслан, сбавив скорость, перевалил машину через ствол упавшего дерева и опять добавил газа.

Они переехали очередную речку и, уйдя с подъема на поворот, уперлись в завал из пяти стволов свежесрубленных деревьев. За завалом стояло два «хаммера», один был в грузовом варианте.

– Вот они, соколики. Далеко забрались, – нервно подгазовывая, проворчал Руслан. – Видно, долго мы в поселке сопли жевали.

Семен оживился, задвигался в кабине:

– Нет, дня два ждут, по щепкам видно. В общем, Федя, выберемся – капитана пытай, кто ему сказал на топляк сесть. Да поинтересуйся, кто настоял тебя одного без охраны отправить.

От завала к ним пошел мужик лет пятидесяти в защитке, на плече висел короткоствольный «калаш».

– Выдь, робята, поговорить надо.

Семен через ветровое стекло взял мужика на мушку и крикнул в окно:

– Ты, брателла, волюну свою на пол клади и за нами иди. За речку уйдем, там и поговорим.

Мужик, видимо, был знаком с промысловым стилем стрельбы, поэтому медленно, за ремень, снял автомат с плеча и положил на землю. «КрАЗ» начал тихонечко

сдавать задом, мужик медленно, не дергаясь, шел следом и, только отойдя метров пять, начал махать руками и перекрикивать шум мотора:

– Да вы же так напряглись-то, мы же по-хорошему... У нас предложение есть... Ну, на хрен вы меня через воду тащите, какая разница, где болтать.

«КрАЗ» переехал воду и остановился на въезде в лес. Мужик, матерясь, по колено перешел реку и, подойдя, встал за три метра, держа руки на виду.

– Федя, ты с этого момента никуда не выходи, ни с кем не говори, и вообще – попутно с нами едешь, – шепнул Семен и с карабином в правой руке спрыгнул с подножки.

– Ребята, – начал мужик, – я вам темнить не буду, нам аппараты ваши нужны очень. Мы их сами на ТЭЦ сдадим, не на эту. А вам за беспокойство откупную... Сами скажите сколько.

– Нисколько, дядя, зачем тебе тратиться. Мы ящики сгружаем, отъезжаем, вы нас на «хаммерах» часа за два догоняете и на ходу автоматами кладете всех троих под одну березу. Правильно я тебя понял, брателла? – Семен улыбнулся самой добродетельной улыбкой, однако ствол убирать не стал.

Мужик зло зыркнул на карабин:

– Ты, как я погляжу, шибко умный. Ну, тогда прикидывай, выхода у вас нет. А так хоть бабки в руках подержите, может, пешком по тайге и уйдете.

– Выход, дядя, всегда есть. Например, ты можешь до погрузки не дожить. Машинки ваши от нашего «КрАЗа» могут кверху колесами кирдыкнуться.

Щека у мужика нервно дернулась. Один «хаммер» стоил дороже «КрАЗа» и груз вместе взятых. На таежной дороге обычные джипы долго не продержатся.

– Это ты своей дулей против шести автоматов, что ли, воевать собираешься. Мы же вас пулями завалим.

– Эх, служивый, для человека, как и для белки, одной пульки достаточно, – Семен пристально поглядел в глаза мужику. Мужик нерешительно начал отходить.

– Ладно, нет так нет, бывайте здоровы.

И только с середины реки крикнул:

– Один час вам на обед и подумать.

Семен залез обратно в кабину.

– Слушай, Сема, он же у нас в руках был, – тихо произнес Руслан. – Взять его, ствол в затылок и тихо ехать, а?

– Нет, Русланка, эти не как наши отрицалы-каторжане. У этих одни бабки на уме, они раненых своих пристреливают, а ты говоришь – в заложники...

У Семена вдруг появилась та самая сталь в глазах и расчетливое спокойствие. В отличие от Феди, Семен чувствовал себя все лучше и лучше.

– Класть их надо, другого выхода у нас нема. Класть, а потом следы замечать. Значит так, ты, Федя, все понял, мировой с ними быть не может. Значит, подтяни штаны, воевать будем. Да не бойсь ты, это нам не впервой.

Федя собрал в кучку остатки мыслей:

– Семен, я же не вояка, я, боюсь, дрогну в неподходящий момент.

– Мужики, Федя, все – вояки. Только многие этого не знают. Добуду тебе «калаша», возьмешь его в руки – сразу все поймешь. Ну, ладно, болтать кончаем, на все про все нам один час. Я пошел. Следите за рекой. Если пойдут – жмите в лес, я вас найду. Федь, да не трясись ты, мы ж у себя дома, а они, кроме казино да кабаков, ни хрена не видали.

Семен соскочил с подножки и тихо скрылся в лесу, двигаясь вниз по реке.

– Руслан, – стуча зубами, проямлил Федя, – может, и вправду надо было плюнуть на все и бежать?

– Нет, Федор, здесь не те места. Во-первых, они нас будут гнать, пока не кончат. Мы же их видели. Живи мы в тайге хоть год, все равно достанут. Во-вторых, ты вернешься, тебя за ящики эти обязательно посадят, а в лагере человека, как кролика, придушить легче легкого. В-третьих, если их время от времени не окорачивать, они вконец осатанеют. А нам здесь как-то жить надо. Да ты, Федя, просто-напросто в Сему верь, да сам не помри от страха. А Семен свое дело туго знает. Он бывший кадровый, сейчас на пенсии. Ему этот карабин во Вьетнаме главный их царандой подарил за то, что он две роты из-под огня вывел. Для него эти фуцины как булки с повидлой.

За разговорами пролетело сорок минут. Сбоку зашуршали кусты, и мокрый Семен с двумя автоматами залез в кабину.

– Ну, таких наглецов я еще не видел. Я к ним со всей душой, а они грибы собирают. Нашли место...

– Сема, а мы что-то выстрелов не слышали...

– Не бойсь, еще постреляем. А этих я ножиком взял. – Семен похлопал себя по голенищу. – Их там шестеро осталось.

Федя взял протянутый автомат и два запасных рожка и с уважением посмотрел на Семена.

– Ну ты, командир, волчара. Ну, я прямо оживать стал. Дай я тебя обниму, родной.

– Ладно, ладно, – расцвел Семен. – Обниматься потом будем. Ты главное для себя пойми: бить их можно и нужно. Сейчас рассыпаемся по реке и сидим тихо. Никаких очередей, бить одиночными в башку, они все в «брониках». Подпускайте ближе, не бойтесь, эти на пули не побегут. Как стрельнем, позиции бросайте и все ко мне вниз по течению. Все, айда.

Через пятнадцать минут выше по течению хлопнул «калаш». Федор замер. Потом прямо на него выбежал Руслан.

– Че расселся, пошли к Семе.

Они побежали по кустам и почти сразу услышали, как ухнул Семенов карабин.

– Четверых они уже не имеют, еще четверо осталось, – повеселел Руслан. Из кустов полетела палка. Они тормознули и увидели Семена, застывшего у пенька.

– Чего вы, как бизоны, ломитесь, потише не можете? Значит так, я – на тот берег, слушайте, как моторы заведут, потом ждите пять минут. Если я не стрельну, значит, уехали, быстро в машину и – к завалу, я вас там ждать буду.

– Семен, – отдышавшись, проговорил Федя, – а может, подождем, пускай уедут. Семен недоуменно посмотрел сначала на Федю, потом на Руслана.

– Русланка, у этих городских точно ведь сала в башке нету, что у тех, что у этого. Федор, тут ведь арифметика – проще некуда: они нас спецом на трассу подтягивают. Здесь втихую не вышло, так они нас там пытаться будут... Правда, там им подороже встанет: менты-кенты и прочее... А самое главное им – живыми остаться, тогда они нас и под землей найдут при любом раскладе, понял? А наша задача – никого из тайги не выпустить, иначе нам удачи не видать. Вот так. Ну все, я пошел.

Руслан и Федя вернулись к «КрАЗу» и стали ждать.

– Руслан, мы же их не догоним, у них вон какие тачки.

– Догоним. Там есть короткий путь через болото. «Хаммеры» – не знаю, а лапотник пройдет, если шины спустить немного.

Бандиты, видимо, посоветовались, созвонились с начальством и приняли то решение, которое до них уже принял Семен. Моторы завелись, и их звук стал удаляться. Выстрела не было. Руслан завелся, переехал реку и тормознул у завала. Семен уже оглядывал стволы.

– Федя, в кузове трос есть, доставай, – крикнул Руслан и побежал к завалу.

Через полчаса, растащив завал, они на предельной скорости погнали дальше.

– Русланка, вот здесь, кажись, съезжать надо, – заволновался Семен.

– Не лезь, Сема, я знаю где, – буркнул Руслан и, пролетев еще два съезда, на третьем круто свалил машину на еле заметную просеку, заросшую кустами.

Через болото прорывались тяжело и некрасиво. Два раза пришлось прыгать в грязь по самую грудь и тащить трос передней лебедки до ближайшего пня. Цепляли конец за пень, и «КрАЗ», как барон Мюнхгаузен, сам себя вытаскивал из трясины. Но зато перевал прошли много ниже основных дорог и выиграли часа три.

«КрАЗ» поставили поперек.

– Сема, – предложил Руслан, – а может, повалим деревья? Вдруг в машину стрельнут...

– Нет, нам тут следов оставлять нельзя. А они, как подъедут, так от «КрАЗа» и очумеют. Тут уже не стесняться, лупить по дверям очередями. Если они из четырех стволов стрельнут – хана. На малой дистанции шансов нам не оставят. Вы здесь останетесь, а я у них в тылу засяду, вдруг с отрывом пойдут. Ваши позиции с двух сторон вот на этих горках, патронов не жалеть. Или пан или пропал. Все, я пошел.

Через два часа оба «хаммера», как сцепленные, вылетели к «КрАЗу», и задний с разгона влетел в корму переднему. Руслан и Федя открыли безжалостный шквальный огонь, расстреливая машины почти в упор. Федя трясся вместе с автоматом и орал в голос, исключив из своего сознания все и оставив только звериную ненависть к этим дергающимся как заводные куклы телам в машинах. Ненависть за весь ужас, который он хлебнул в этой проклятой Богом, чужой и страшной тайге.

В одну минуту все было кончено, но Федя и Руслан, обалдело глядевшие на то, что только что натворили, не двигались с места. Семен, запыхавшись от бега, осторожно подошел и заглянул по очереди в обе машины.

– Эй, людоеды, все нормально, выходи.

Руслан, увидев набитые пулями, изуродованные трупы, согнулся в три погибели и начал блевать и орать одновременно. Федя стоял как вкопанный. Семен посмотрел на его штаны, потом потянул носом воздух:

– Ладно, будем считать, что это ты на болоте опарафинился.

Потом он залез в карманы убитых бандитов, повынимал бумажники и расшвырял деньги вокруг машин.

– Получается, те четверо своих же поколбасили, ограбили и в тайгу ушли. Ну, народ... – цинично сплюнул Семен.

В полном молчании доехали до ближайшей речки, умылись, помыли машину и до самой трассы молчали. Уже на подъезде Федю прорвало в истерику. Семен дал ему десять минут на рыдания, а потом ласково сказал:

– Федя, ты никакой вины за собой держать не вздумай. Это были нелюди. Вместо них сейчас мы должны были там лежать, а они бы жировали на кровавые деньги. И еще бы много кого на тот свет проводили. А то что мы не ранены, не убиты, а они – считай, в ящиках, так это мы их переиграли, передумали... Будь они поумнее – не известно, как бы оно повернулось. А теперь, Федя, ты выйди и нас здесь обожди. Если ты на сдаче груза засветишься, они тебя искать будут. А так, ты попутку загрузил в

поселке, а сам на веслах до станции спустился, там пару деньков по пьянствовал и домой. Ну а мы сейчас номера снимаем, груз сдаем, на обратной дороге тебя забираем и бросаем до ближайшего городка. Там ты уже сам, но смотри, про нас никому...

– Мужики, а как же вы назад поедете, там же эти... гробы.

– Через болото, Федя, а что делать.

За три часа «КрАЗ» обернулся, и, как только доехали до городка, стали прощаться.

Федя в десятый раз обнял обоих.

– Хочу вам что-то такое сказать и не знаю что.

– Не говори, Федя, мы же не дубовые и так все понимаем. – Семен заулыбался, а Руслан уже мысленно был в пути, как и все нормальные водилы.

Отойдя немного, Федя бегом вернулся.

– Я к вам в гости приеду, водки попить. Когда лучше, чтоб вы дома были?

Тут заулыбался и Руслан, а Семен зацвел как подсолнух.

– Дак в конце осени рекой и приплывай, и водки попьем, и на рыбалку сходим, – сказал Руслан. – А то зимой лесоповал начнется, меня не найдешь, а этот кнутяра в тайгу на всю зиму уйдет бедных зверей истреблять. Только водку с собой привози, у нас тут проблемы.

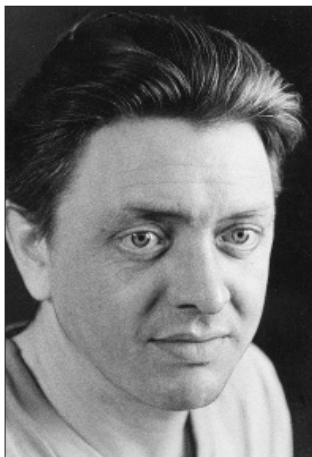
К концу осени Федя взял отпуск и с десятью ящиками водки высадился на той злополучной пристани. Руслана разыскал в мехколонне. Он готовил своего лапотника к долгой в этих местах зиме. Вместе пошли к Семену. Уже на подходе они услышали какой-то шум и, подойдя к забору, увидели, как разъяренная Александра Яновна с приличной палкой в руке гоняла Сему по огороду:

– Как это ты комбикорм не получил! А на кой хрен ты им каждую зиму зверя бьешь. А что у нас скотина жрать будет?

Семен, как под беглым вражеским огнем, мелкими перебежками скакал по огороду и причитал:

– Ну, Сашка, ну мне оставили... Ну, завтра заберу... Ну кончай, больно же...

Пустыня пустяков



ЛЕТО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Единственный – значит один, одинокий, однажды
Знание, будто грех первородный, познавший,

Что в мире подлунном, подземной вселенной
Подобного нет – ему равного нет. И бесследно

Исчезли сомненья во всем и во всех, потому как
Исчезли и сами предметы сомнений и муки.

А грех первородный – в предощущении сладкий –
Последнюю каплею стал – одиночество в свалке.

И, выхватив руку из мыслей своих – будто из пасти, –
Другую рукою острым кремнем – и по запястью,

Чтоб боль испытать как испросить желанного тождества
С тем, кто второй – «мир минус я»... Только что

Собственной боли могу уподобить – чужое и дикое?
Шрам, будто веки, глядящего вглубь плоти инока.

Не будет сомнений. И боли не будет. Не будет столетия.
Раз не было лета. Или прошло так незаметно.

* * *

Этот проклятый день, наконец, издохнув,
Напоминание оставил, как скверный запах.
Потому так давно никуда из дома
Я и шагу не сделал – крепко запер

издание

Александр Геннадьевич Банников (1961–1995) родился 18 июля 1961 года в пос. Магинск Караидельского района Башкортостана. Учился в Башгоспединституте. В 1985–1986 годах служил в Афганистане. В 1989 году участвовал в работе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Работал сантехником, плотником, кузнецом, газосварщиком, обрубщиком сучьев, журналистом, учителем. Печатался в журналах «Знамя», «Урал», «Бельские просторы» и др. Автор книг «Человек-перекрёсток» и «Пятое измерение» (Уфа, «Китап»).

Самого себя – там снаружи ждет пусть,
Сколько хочет, меня, кто хочет.
Только воздух в доме замер – пуст –
Сотни раз пройдя мои легкие – точно

Так же все предметы многожды
Сквозь глаза проходят, становясь мертвецами,
Труп цветов и запаха самого. На доньшке
Чуть живого зеркала пыли пыль мерцает.

Непригодно для жизни все. Так, бывало,
В многодневных походах у легионеров
Умирала вода... Заболеваю.
Умерщвленное время мстит так, наверное.

ЧУЖИЕ ПОВЕСТИ

Вчерашний день. Координаты: где-то, кто-то...
Глубокомысленный рассказ о чьей-то жизни,
По меньшей мере, не смешнее анекдота.
А что касается глубоких истин...

Будь это исповедь святой или гетеры –
Сюжет сужается в ушном отверстии
В банальную прямую. – В геометрии
Нет толщины у линии – невестина

Загадка: ведь должна же быть тонюсенькая –
Как паутина – плева, и не только мысленная.
Ан нет... А впрочем, это тоже исповедь –
Как и другая – вдрызг. Но искр не высекала.

Лишь аксиома спальни: есть порок
Всегда, где дева есть. И так же
Учитывая, что в ней нет вины порой.
– И камень невиновен в том, что тяжесть

Его убийственной стала для чьего-то лба...
И в воздухе повисли повести
О том, как обретают, потеряв. И как, любя,
Теряют. По закону подлости,

Который с постоянством гравитации
Бесчинствует в пространстве нашем, как не наш:
Где тверже – падаем, и пьем по пятницам,
И видим воскресенье. Но оно – мираж.

Мы у подлейших на крючках, будто подлещики.
Блаженных ловим сами на крючки и перлы...



И это тоже повесть, анекдот... И женщины
Вообще-то нет. Исчез мужчина первым.

ДОРОГАМИ ДОБРА И ЗЛА

1

Паутину паук ткёт зимой без обиды
На отсутствие мух – из любви к искусству.
Человек, очнувшись, в стуле стул увидя,
Вымышляет законы жизни стульев.

Все законы врут. Но верна привычка
Заключать в закон – под замок – все сущее.
Если б знали птицы законы птичьей
Механики крыл – разучились б тут же.

Я – себе вопреки. В гору вода
Потекла бы, узнав о себе подробнее...
Предположим, истинны время да
Дороги добра и зла. – Попробуем?

2

Забывается быстро хорошее – и хорошо –
Не победившее – непобежденное.
Если б помнилось долго – то не прошло,
Не явилось хорошее новорожденное.

Только помниться долго дрянь, к сожаленью.
Но, однако, дорогу новой дряни не
Заслоняет, похерив закон движенья.
И война – как война – новой войне

Придает злую скорость, сама зверея.
Столько войн в человеке, сколько секунд
В прошлом, нынешнем, будущем... Время
Четвертое – вечной войны – Страшный суд.

3

– Наиболее нелюбимая цитата Евангелия.
О похмелии вспомнит, в запой отравившись,
Здравомыслящий муж с головой оловянной,
Оловянной еще от запоя от давнешнего.

И к убийце, может быть, ангел явится,
Позовет его душу в небо из камеры.
Палачи поймут, что стреляют в мясо...
Потому, наверное, кажутся каменными

Небеса на закате – не только ангелы
Парят над нами. И не только бесы
Вас с пути сбивают и губят... Ладно бы
Они были. Но некому и поклон отвесить.

4

Кому сказать хотел – тот не слышит,
Как я не слышу тех, кто возле.
Что ж, жизнь и так серьезна слишком,
Чтоб говорить о ней серьезно.

Дорогами добра и зла – Иудин
Минуя путь – иду... Когда я вниз
Сорвусь, тропинки спутав, – скажет умник,
Что это старый тракт – релятивизм.

И в уши время свищет мне – не ветер –
Наверное – как все вокруг – придуманное,
Как Атлантида, Коммунизм и Вертер,
И, вероятно, прегрешение Иудино.

ПУСТЫНЯ ПУСТЯКОВ

Ждать унесенное волной в другой волне.
Как принесут мне медяки на серебре.
Но каждая потерянная вещь – вещь вдвойне:
Воспоминания о ней и вещь сама в себе.

Вернуть утраченное – большего лишиться,
Иное дело вера: двери отворяю
И вижу свет в крови – как плащаница...
Поверить – заложить в себя утрату
И нежно нянчить на несчастье. Вера –
Кукушкино яйцо. А кукушонок
Объест птенцов родства – и сгинет в небо.
Птенцы песочных песен по-смешному –

Как вещь без формы, сахарный песок
И соль сквозь пальцы, половицы: «Мы летим...»
Я остаюсь в своей пустыне пустяков,
В которой каждый холм песка – Олимп,

Голгофа каждый жест и взмах
Решает судьбы мира (жестов много –
Поэтому мир цел). И любой пустяк –
В Пустыне Пустяков быть может Богом.

Сладкоежка

Рассказ



Он ни разу в жизни не влюблялся. Влюблялись в него. Стоило женщине увидеть высокого, стройного молодого человека, с глазами черными и чуть влажными, какие бывают у мальчиков, которых незаслуженно отрутали мамы, – стоило женщине увидеть одинокого Давлетшу, как она теряла сон и аппетит. Ее неудержимо тянуло заглянуть в эти загадочные глаза, заглянуть и пожалеть, обогреть это взрослое дитя, которое наверняка не знало в своей жизни тепла и женской ласки. Уже потом Давлетша, пригретый и обласканный, рассказывал своей пылкой подруге, что рос в хорошей семье, где его любили и где ему уделяли внимание. Но ему не верили.

Но – странное дело! – через некоторое время очередная подружка теряла интерес к Давлетше и бросала его так легко и небрежно, будто выкидывала из дома надоевшую игрушку. Если он случайно встречал на улице свою недавнюю возлюбленную, она проходила мимо, бросая на Давлетшу холодный, равнодушный взгляд.

Задетый за живое, он вздыхал и размышлял про себя: «Только-только привык, а она... вертанула хвостом. Ну как можно? Я бы, может, и полюбил ее, как все нормальные люди, а она... хвостом по физиономии. Ну, хоть бы, как нормальная, поплакала на прощанье, записку бы написала». Рассердившись на коварство бросившей его женщины, Давлетша заключал свои размышления горестной мыслью: «Не всплакнула, не написала. Попользовалась – и выбросила. Я разве лимон, который сперва выдают в чай, а потом за ненадобностью отправляют в ведро?»

Однако недолго горевал Давлетша. Налетала новая женщина, – яркая, симпатичная, в брюках или юбке, готовых лопнуть по швам на бедрах. Хищно улыбаясь, она брала его легко и властно, и Давлетша надолго успокаивался в новых руках. Он уже привык, что женщины, выбирающие его для своих утех, поразительно схожи. Одевались они модно и броско, предпочитали тесные, облегающие одежды, держались гордо и независимо, уверовав, видимо, раз и навсегда, что именно их избрала судьба на роль хозяйек на пиру жизни. И когда Давлетша видел шагающую навстречу рослую красивую женщину с надменно вздернутым подбородком, с ярко подведенными глазами, которые требовательно-ласково оглядывают видных мужчин, – он уже знал, что женщина замедлит шаги и без стеснения оглядит его всего, от макушки до пят, так, как оглядывают на собачьих выставках великолепных в своей мощи и стати мраморных догов. Он уже знал, что женщина задумчиво сощурится и спросит, приоткрывая в улыбке пухлые, чувственные губы: «Молодой человек, простите. Не

Шамиль Сафуанович Хазиахметов (1941–2012) родился 8 сентября 1941 года в п. Алексеевка Уфимского района. Автор книг «Солнечный город», «Мир вашему дому», «Горькие плоды осени», «Красный стык» и др. Член Союза писателей с 1981 года. Чемпион города Уфы и города Омска по боксу.

могли бы вы подсказать, как пройти на бульвар Героев довоенных пятилеток?» У Давлетша чуть учащенной забьется сердце, скрывая минутное волнение, он сделает по инерции два-три шага, и женщина, все так же не сводя с него хозяйски-восхищенного взгляда, шагнет следом, и Давлетша обреченно вздохнет: «Ну зачем вы так шутите? В нашем городе нет такого бульвара». А спутница его уже хохочет, непринужденно болтает и свойски берет под руку.

Именно так познакомился Давлетша с некоей женщиной, назвавшейся Кармен. Он был уверен, что имя это вымышленное либо переименованное с башкирского: ее могли звать Катиба, Каусария, Карима. Но опереточное имя тоже очень подходило к ее красивой, изящной внешности.

Они встречались на квартире ее подруги. Бурные ласки Кармен удивляли видавшего виды Давлетшу. В ту весну он сильно возмужал и чаще обычного задумывался о жизни. Наступало лето, и Давлетша, поглядывая на календарь, с неприятным ощущением думал о том часе, когда Кармен объявит ему «отставку». Но неделя шла за неделей, неумолимая Кармен настойчиво требовала новых свиданий. И недоверчивый Давлетша расслабился, поверил в чувство женщины. Он заглядывал в зеленые распахнутые чему-то неведомому глаза Кармен и спрашивал ласково: «Куда спешить-то? Ты бы это... не суежилась. Я ведь, девушка, привыкать к тебе начал. Давай вечером по улицам погуляем, просто так, а?»

Кармен смотрела непонимающе, мотала головой и, поглядев на часы, начинала торопливо одеваться. И снова Давлетша неприятно удивлялся про себя: отчего это женщины никогда не стесняются его – он же живой, а не нарисованный для рекламы мужчина.

Тот роковой час все же пробил. Однажды Кармен поцеловала его, отступила на шаг и, внимательно рассмотрев точеный торс, узкие, по-мужски худые бедра, ноги, мускулистые и длинные, как у хорошего бегуна, – рассмотрев, кивнула головой своим мыслям и ушла.

Через неделю утомленный разлукой Давлетша позвонил на работу Кармен.

– Куда ты запропастилась? – спросил он капризно.

– Давлетша! – изумленно вскричала Кармен. – О чем ты? Забудь! Разве я тебе не говорила в последний раз, Давлетша?

Называя его имя, Кармен неприятно нажимала на последний слог.

– Как же теперь мне быть? – задумчиво спросил он. – Привык я к тебе... Ждать мне тебя или плюнуть на все?

– Наплюй! – посоветовала она весело. – А что меня дожидаться? И зачем тебе замужняя женщина?

– Разве ты замужем? – неприятно удивился Давлетша. – Чего ты раньше не говорила?

– Забыла, наверно, – беззаботно сказала она. – А ты чего? Влюбился, что ли?

– Да нет, – скусающе сказал он. – Но привык как-то, я ж тебе говорил. Выходит, не встретимся больше?

– Не встретимся, – начала раздражаться она. – У меня есть приличный, порядочный муж. А ты зачем?

– Не пойму ничего, – грустно сказал Давлетша. – То был сильно нужен, а теперь вовсе не нужен. Разве я тебе красивая тряпка? Поносила – и выбросила.

– Станный ты какой! – рассердилась она. – Ты ж в упор не видел меня. Я сама к тебе пристала. Ну, знаешь, как банный лист: сперва пристанет, а потом тихонько отлепится. Да и первая, что ли, я у тебя? И не последняя. Ну, хочешь, с подругой познакомлю?

* * *

Давлетша повесил трубку и случайно взглянул на часы. Они показывали шесть вечера. На невидимой отсюда реке не смолкали гудки теплоходов. Давлетша спустился к крутому берегу и долго смотрел на сверкающую под июньским солнцем ленту реки, на белые палубы неспешно проплывающих мимо пассажирских теплоходов, на черные замученные корпуса речных танкеров, на юркие катера, яхты и моторные лодки, от обилия которых, казалось, кипела река. Еще дальше, за противоположным берегом, простиралась совсем другая жизнь: на темно-зеленых лугах ползали мелкими разноцветными букашками стада коров, овец и коз, еще дальше спичечными коробками вставляли фермы, между ними лежали обширные светло-зеленые поля.

Давлетша долго бродил крутым берегом, спускался вниз, к воде, и снова поднимался наверх, и в который раз оглядывал реку, луга и поля, простирившиеся до той светлой хрустальной полоски, где смыкалась земля и небо.

В сумерках зажглись на реке огни бакенов, и редкий слабый свет их побежал за дальний поворот, словно звал за собой вниз и вниз, к берегам седого и ворчливого Каспия. Давлетша сел на теплый камень и стал смотреть на огни. Чем больше темнело небо, тем ярче светили они. И гудки теплоходов, буксиров и катеров стали тише, басовитый, тоскливым криком отражаясь в душах населявших берега людей.

Долгий летний день словно пал на реку и уснул в прохладной ее глубине. Давлетша устало оперся ладонями о колени и встал. Кармен умерла в нем вместе с сегодняшним днем, оставив в душе зияющую пустоту.

* * *

Через неделю Давлетша сам плыл по этой реке. Новая его служба была неустойчивой, но хлопотной. Он обслуживал дизель посменно, часто вахту нес ночью, а днем спал в своей тесной каюте, просыпаясь от грохота ног наверху, музыки и плеска воды о борты.

Встав и умывшись, он томился в душном чреве теплохода жаждой и одиночеством. Воспоминания о последнем разговоре с Кармен мучили его и пугали. Никогда прежде он не испытывал к себе жалости, долгие изнурительные часы наедине с собой почти убедили его в справедливости унижения, нанесенного лукавой Кармен.

Измочаленный жарой, томимый жаждой, он выскочил на верхнюю палубу, надеясь добраться до буфета и напиться сладкой фруктовой воды. Полосатая тельняшка, обтягивающая широкую грудь, и белые штаны, болтавшиеся на его длинных ногах, привлекали внимание пассажиров. Давлетша, стараясь пройти незамеченным, быстро и ловко пробиравшись через толпу. Краем глаза он успел заметить нескольких женщин, с откровенным любопытством рассматривавших его. Одна из них, росленькая, голубоглазая, с цветущими в улыбке губами лихо подлетела и спросила:

– Товарищ матрос, Набережные Челны скоро?

Давлетша, не останавливаясь, повернул голову и увидел глаза женщины. Она сильно щурилась, будто всматривалась через прицел винтовки. Еще он успел заметить короткие тесные шорты и высокую грудь под белой блузкой.

– Набережные Челны скоро? – весело повторила она, так же проворно и ловко пробираясь рядом с ним в толпе пассажиров.

– Как прибудем, так и объявим, – с ленцой ответил он. – Вы бы не суежились, гражданочка...

– Какой сердитый! – надула полные губки голубоглазая красавица и в нарочитой досаде легонько хлопнула себя по загорелому бедру между коленкой и шортами. – Знаете, на этой посудине можно сдохнуть от скуки. Такая унылая публика!

Он взял протянутые буфетчицей две запотевшие бутылки фруктовой воды и холодно оглядел незнакомку. Ему показалось, что она пристроилась в длинный хвост женщин, сразу за Кармен, чтобы потом так же равнодушно и жестоко выбросить его из своей жизни.

– Гражданочка, я сегодня не обслуживаю, – сказал он ей.

– Да я вас про Челны спрашиваю! – с досадой сказала пассажирка.

– Не обслуживаю, – упрямо и тупо повторил Давлетша.

– Я про Челны... – женщина все еще шла за ним, привлекая веселые взгляды пассажиров и от этого злясь все больше. – Вы мне ответите или нет: когда будут Набережные Челны? Или мне обратиться к капитану?

– Вот пусть и обслуживает вас капитан, – огрызнулся Давлетша и нырнул в трюм. Он успел заметить развеселившихся пассажиров и яростное от гнева лицо голубоглазой красавицы.

Давлетша добрался до своей каюты и повалился на жесткую койку.

«Ведь ни одна не спросила, кто я, откуда и зачем живу, – со смятением вспоминал он свою жизнь. – Им надо было тело. Они пьянели, разглядывая мое сложение, а на душу мою им было наплевать. Они быстро пресыщались, ибо их интересовало только грешное мое тело».

Вдруг ему в голову пришла неожиданная, напугавшая его мысль: «А если они... выпили меня до дна? Вот оттого-то тоска и жить не хочется».

Страх не отпускал, и Давлетша вспомнил, что ему уже двадцать семь лет, надо бы по-хорошему заводить семью, а у него на примете никого. Отец, тот видел, в чем корень жизни, – женился он в двадцать и всегда все делал вовремя. Выходит, у него непутевый младший сын.

«Молодой еще, – пытался Давлетша успокоить себя. – Года два поживу один, погуляю, а потом женюсь».

И все же страх не проходил. Сегодня в толпе пассажиров он видел много красивых женщин, но ни одна не приглянулась, наоборот, он ощутил к ним глухое неприятие, непонятное раздражение.

«Выпили... – потерянно думал он. – А вдруг это не пройдет?»

Он забылся тяжелым сном, а проснувшись, увидел в иллюминаторе огни на берегу: красные, зеленые, молочные. Они медленно брели за теплоходом, излучающим тепло и свет, бравурную громкую музыку, голоса мужчин и смех женщин. Угнетенному событиями дня Давлетше показалось, что это он, согнувшись и изнемогая от непосильной ноши, тащит на себе по реке этих праздных людей, а огни идут ему вслед и кривляются, подмаргивают друг другу.

К середине ночи огни отодвинулись, потускнели, и Давлетша понял, что теплоход вместе с Агиделью вошел в широкое русло Камы.

* * *

Ночью Давлетша спал плохо, часто просыпался и слушал плеск воды за иллюминатором. И утром он проснулся с чувством собственной неполноценности. Наверху гремела музыка, смеялись пассажиры; низкий потолок давил и раздражал. Через

иллюминатор скупно сочился дневной свет, и Давлетше показалось, что его запеленали в простыню и унесли сюда, вниз, подальше от света и шумного мира. Он встал, оделся и выскочил на палубу. Там гуляли и громко переговаривались пассажиры. Давлетша брел среди них и натыкался взглядом на молодых женщин в легких нарядах, открывающих загорелые руки и ноги, и снова с тревогой ощутил, что не испытывает к женщинам не только влечения, но даже легкого любопытства.

У борта он увидел прямую, красивую спину, подошел ближе и сказал почти в затылок:

– Простите, что был груб. Челны через час.

Рядом со вчерашней голубоглазой женщиной стояла другая, помоложе, видимо, ее подруга. Она была ниже ростом, неказиста, и Давлетша равнодушно скользнул по девушке взглядом, успев заметить ее пристальный взгляд, обращенный к нему, и вздернутый нос.

Красавица холодно смерила Давлетшу с ног до головы и обнажила в мстительной улыбке мелкие ровные зубы.

– Что? Влетело от капитана?

– Да, сильно влетело, – сказал он с тяжелым вздохом, пытаясь обманом загладить свою вчерашнюю грубость.

– Я бы вообще не держала таких матросов на теплоходе!

– Зачем ты так? – оглянувшись по сторонам, осадила ее подруга.

– Помолчи, Бану! – Голубоглазая шагнула к Давлетше. – Я охотно прощаю вас ради моей подруги – она неравнодушна к вам.

Давлетша взглянул на вспыхнувшее лицо курносой девушки и, склонившись к надменно подбоченившейся красавице, сказал тихо:

– Простите, но я никого не обслуживаю.

– О, боже мой, он опять за свое! – простонала голубоглазая уже вслед косолапо шагавшему Давлетше. – Ну, с-скотина...

Громко завозмущалась курносая, довольно хохотнула ее красивая подруга, и Давлетша привычно нырнул в проем.

* * *

Теплоход уже плыл по Волге, но Давлетша избегал появляться наверху. Отстояв вахту, он шел к себе, валился на койку и, закрыв глаза, слушал, как шумит река, расступаясь перед большим телом судна, как доносится с палубы гомон толпы и крики круживших над теплоходом чаек.

Как-то в дверь постучали, и он, не успев изумиться столь деликатному поступку кого-то из товарищей-матросов, машинально крикнул:

– Войдите!

В дверь боком просунулась девушка, и курносое, горящее от робости и стыда лицо ее умоляюще глянуло на Давлетшу.

– Простите...

– Я же сказал... – Давлетша нахмурился, но позы не сменил, не смутился обнаженного своего тела, кое-как прикрытого тельняшкой.

– Да, я знаю, что вы не обслуживаете, – девушка смело глянула на хозяина каюты. – Но я пришла не за тем, о чем вы думаете.

– Я как раз ни о чем не думаю, – угрюмо возразил Давлетша. – Так зачем вы пришли?

– Я пришла извиниться за свою подругу, – она избегала смотреть на обнаженное тело Давлетши. – Нельзя так хамски обращаться с людьми. Я не боюсь сказать этого, хотя она и моя подруга.

– Еще неизвестно, кто из нас больше виноват, – великодушно заметил Давлетша. Он ждал, когда уйдет гостья.

– Спасибо, – она снова умоляюще глянула на Давлетшу. – Наверно, вы очень не уважаете женщин?

– А что? – удивился он.

– Вы бы хоть прикрылись, – лицо гостьи страдальчески поморщилось.

Давлетша нехотя укрылся простыней.

– Обычно на меня смотрят с удовольствием, – буднично сказал он.

– Я понимаю, что у вас прекрасная фигура, – теперь курносая смотрела на Давлетшу. – Но в том нет вашей заслуги. А во-вторых, на все есть приличия.

– Женщины до сих пор внушали мне другое, – пробурчал он и добавил в свое оправдание: – Я не звал вас.

– Вы должны оставаться человеком, – горячо возразила она, будто он собирался спорить. – Вы – мужчина!

– Ох, как давно я хожу в мужчинах! – сказал он с непонятной для гостьи злобостью. – Вам ли учить меня?

* * *

Темно-красные сочные ягоды малины свешивались через забор, и Давлетша, соблазнившись, сорвал одну из них, затем вторую, третью. Не удержавшись, пролез через дыру в заборе и только начал было срывать ягоды, как чьи-то цепкие, горячие пальцы схватили его за ухо. Давлетша попытался вырваться, но и второе ухо оказалось в плену. Он поднял испуганные глаза и увидел соседку Лейсан, невысокую пышнотелую женщину. Ее красивое, нежное лицо смеялось.

– Отпустите, больно же, – попросил Давлетша.

– Воровать нехорошо, сладкоежка, – она теперь держала лицо Давлетши в своих мягких ладонях. – Вот к мужу сейчас поведу.

– Его нет дома, – Давлетша покорно застыл. – Он улетел в Тюмень, на нефтепромыслы.

– Все знаешь, – сказала она одобрительно. Руки ее скользнули по плечам и спине Давлетши. – Ты, может, и яблок нарвал? Ну-ка, признавайся.

Соседка не торопясь ощупала бока, живот и бедра мальчика.

– Тебе сколько лет?

– Четырнадцать.

– А выглядишь как мужчина, – Лейсан ласково оглядела соседа. – Ну и фигура у тебя... И за что тебе такое наказание?

Она снова провела руками по его телу. Давлетше показалось, что пальцы ее дрожат.

Он попятился к забору.

– Неужели боишься меня? – пожурила соседка. – Идем ко мне чай пить.

Она обхватила его за плечи и почти затащила к себе в дом. В маленьких комнатках было чисто и уютно. В стеклянном книжном шкафу Давлетша увидел множество книг с нарядными корешками.

– Любишь читать? – спросила она. – Возьми что-нибудь. Только не потеряй, – муж мне голову оторвет за книги.

Давлетша, стесняясь, попил чаю с вареньем и унес с собой два томика Фенимора Купера. В дверях Лейсан поцеловала его в щеку.

Через неделю Давлетша вернул книги. Лейсан тормошила его, обнимала, и он, ощущая ее большое горячее тело, заливался краской, пытался высвободиться, но она, хохоча, удерживала и целовала в щеки.

Еще через неделю, когда Давлетша вернул том Стивенсона, Лейсан, побледнев, обняла его, приникла всем телом и впилась ему в губы. Давлетша испугался, резко толкнул ее руками в грудь и, вырвавшись, убежал домой. Ночью он видел сон, ее и себя. Она постанывала, обрывала на нем пуговицы и дальше сотворила с ним такое, отчего он проснулся в поту, с часто бьющимся сердцем. Стыд, пережитый во сне, был тяжел и сладок. На другой день Давлетша бродил возле соседского забора, несмело мечтая, что Лейсан увидит его и поманит к себе.

Соседка выходила на крыльцо, негромко пела, потом пошла топить баню. Давлетша видел через забор ее пышное тело в синем трико, короткие черные волосы, делавшие ее похожей на мальчишку. Но Лейсан в упор не замечала его умоляющих глаз.

Истопив баню, она прошла улицей и пригласила родителей Давлетши в баню. Отец с матерью с удовольствием приняли приглашение молодой соседки, помылись сами и послали сына.

Давлетша не хотел идти, но надежда, что по дороге он увидит Лейсан, заставила его собраться. Однако ее не было видно ни на крыльце, ни в саду. Давлетша прошел тропкой к баньке, стоявшей среди зарослей вишни. В сухом, чистом предбаннике он разделся, с любопытством оглядел себя, голого, в большом настенном зеркале. Девчонки из класса давно говорили Давлетше, что он высок и строен, и писали ему записки. Еще ему льстило, что на него заглядываются молодые учительницы из младших классов.

В последний раз оглядев себя в зеркале и задрогнув на сквозняке, Давлетша рванул дверь, вбежал в баню и замер в испуге и немом изумлении. Наверху, подложив под голову веник, лежала соседка, ее большое белое тело занимало весь полкок. Давлетша смотрел на бесстыже раскинутые ноги, чувствовал, как кровь приливает в голову, и готов был потерять сознание. Он едва не выскочил в предбанник, но вспомнил сон, тяжелый сладкий стыд, пережитый после пробуждения, хотел что-то сказать, но пересохший от волнения язык не слушался, и губы лишь беззвучно шевелились.

Она смотрела сверху не мигая, и этот цепкий, пронзительный взгляд заставил мальчика удержаться, сделать маленький шагок, еще и еще, пока белая полная ручка не ухватила его и жадно подрагивающие пальцы не прошли по плечам и груди, нежно огладили низ живота...

Осенью вернулся ее муж, и Лейсан запретила Давлетше показываться в доме. Часто он бродил возле забора, видел соседку, крупную, сильную, в которой женское кричало за версту и которая не обращала на него никакого внимания, словно не существовало на свете ни его, ни недавних жарких свиданий в бане. Давлетша смятенно думал, а было ли все то притягательное, стыдное, чему она щедро научила его, или это был всего-навсего запретный сон мужающего подростка?

* * *

В последний вечер перед Астраханью Давлетша разговорился и рассказал Бану, что единственная его любовь в жизни – моторы.

– Разве это не чудо? – спросил он девушку, кивая в сторону машинного отделения. – Мы сидим, разговариваем, а машины тащат всю махину судна вместе с грузом, людьми.

– Удивляться моторам в космический век просто смешно, – пренебрежительно ответила Бану.

Во время разговора лицо девушки оживлялось, будто озарялось каким-то внутренним светом. В такие минуты она даже начинала нравиться Давлетше.

– До мотора люди шли тысячи лет, а до космических двигателей – всего десятки, – с обидой сказал он и, чтобы сменить тему, спросил:

– Завтра приплываем. Больше не будете меня изучать?

Она усмехнулась и неопределенно пожала плечами.

* * *

В Астрахани Бану сошла лишь для того, чтобы купить билет на обратный рейс и проводить подругу.

– На что вы рассчитываете? – спросил ее Давлетша на обратном пути, когда теплоход плыл в теплой, душевной ночи вверх по Волге.

– Мне хорошо с вами, не гоните, – сказала она, усаживаясь рядом с ним на койке. – Я не сумею дать вам то, что вы получаете от других. Зато я не брошу вас.

– Никогда не встречал такую, – сказал Давлетша себе вслух. – Что во мне можно найти хорошего?

Он лежал на своей узкой койке, но смотрел не в потолок, как обычно, а на ее серьезное, озабоченное лицо.

– Есть в тебе хорошее, – Бану неожиданно перешла на «ты». – На самом доньшке души.

Бану положила ладонь ему на грудь. Давлетша воспринял ее жест как приглашение к игре, порядком надоевшей, нудной, но обязательной и привычной, если имеешь дело с женским полом.

Он привлек ее к себе, уложил рядом. Девушка, не сопротивляясь, поудобнее легла, но тут же отбросила его руку.

– А это зачем? – спросила она. – Разве я дала тебе повод?

– Но ведь сама пришла? – парировал он.

– Я пришла к человеку, а не к самцу, – возразила она. – У тебя чистая, нетронутая душа.

– Опять про душу, – проворчал Давлетша и вытянул руки вдоль тела. – Откуда она у меня? Затоптали, разнесли ее в дым... Ты, девушка, опоздала.

Она свесила ноги на пол и встала.

– Не верю, – сказала она. – Ты и сам не веришь своим словам.

– Скоро домой вернешься, – вспомнил он. – Что будешь делать? Опять со мной вниз, на Каспий, поплывешь?

– Не знаю, – сказала она и тяжело вздохнула. – А вдруг я и в самом деле опоздала, и душу твою давным-давно ветрами разнесло?

* * *

На следующий день он, сам не зная почему, с нетерпением дожидался Бану. Ему хотелось говорить с ней, спорить.

У тебя муж кто? – спросил он.

– Му-уж? – протянула Бану. – Да если б он был, разве б я приходила к тебе? Вот надумал!

– Ко мне почему-то ходили только замужние, – признался Давлетша. – Я ни с одной девушкой знаком даже не был.

– Отчего же? – Бану улыбнулась.

– Не знаю, – сказал он. – Может, стеснялись. Я ведь сам должен был искать их... Тринадцать лет!

Давлетша хлопнул себя по коленке и засмеялся, увидев недоуменный взгляд Бану.

– Тринадцать лет они из меня соки тянули! Я, наверное, испитой весь. Какой из меня семьянин, если я вашим братом сыт по горло? Для будущей жены ничего не осталось. Ни свежих слов, ни мыслей, ни ласки доброй. Так, все затасканное... Нет, не сможет начать со мной семейную жизнь хорошая девушка. Ей нужен парень, чтоб глядел на нее, как на святую, чтоб горел весь, лишь увидев ее.

– Перегорел? – спросила Бану печально.

– Как я могу смотреть на вас, как на святых, после всего, что было? – он закинул руки за голову. – Как она меня будет терпеть, несвежего, непорядочного? Ведь ей станет известно, как я принимал всех этих? Как знать, может, и я буду плохо думать о своей жене: вдруг, мол, и она посещает на стороне молоденького, смазливового? Пока я на работе горю, она горит дома... по другому делу.

Бану заглянула ему в глаза.

– Ты не перегорел, – уверенно сказала она. – Раз думаешь, переживаешь – не конченный ты человек.

– Если только запить, – не слушал он ее. – Чтоб все стерлось вместе с мыслями, памятью. Но вот не люблю я ее, горькую.

– Горькое – не для тебя, – засмеялась Бану. – Ты же сладкоежка.

* * *

– Ты почему все свободное время лежишь? – спросила она, глядя на потолок и вслушиваясь в шум наверху.

Давлетша подтянул ноги и сел.

– Я так привык. Когда лежишь – вроде при деле. А стоять или ходить – глаза мозолишь. Если сидеть, то спина устает.

Он снова повалился на койку, хитро посмотрел на Бану и потянул ее к себе.

Бану прилегла рядом, не противилась его рукам, заученно оглаживающим ее плечи, спину, но стоило им скользнуть вниз, как она тут же отбросила их и рывком села.

– Зачем ты так? – спросила она. – Ведь ты равнодушен. Не хочешь меня? Ну?

– Не хочу, – признался он.

– Тогда зачем... руки? – строго спросила Бану.

– Ну как же... – Давлетша чуть смутился. – Положено так, природой. Еще подумаешь чего плохого обо мне, если чуркой буду рядом с тобой валяться.

– Чтоб все сразу, в один вечер? – она брезгливо оглядела Давлетшу, и это ему не понравилось. – Чтоб сразу все выпить до дна, чтоб больше – ни себе, ни другим?

– Ты б не ходила ко мне, – попросил он, нахмурившись. – Я не знаю, чего ты хочешь от меня.

Бану встала и сверху оглядела Давлетшу.

– А ты не боишься, что я уйду и ты меня больше никогда не увидишь?

«Другие придут, красивше тебя в сто раз», – хотел сказать он, но увидел ее пылающее от гнева лицо, вздернутый носик, придававший Бану дерзкое, независимое выражение, и сдержался. И эта непривычная собственная сдержанность снова не понравилась ему. Давлетша отвернулся к стене и сказал:

– Что-то меня укачало. До свидания.

– Гонишь? – спросила она и, засмеявшись, ушла.

* * *

Из Куйбышева они уходили под вечер. Теплоход протяжно гудел, подгонял запоздавших пассажиров, что бегом мчались к сходам со свертками в руках.

Давлетша был свободен от вахты и по обыкновению лежал, закрыв глаза и прислушиваясь к монотонному мощному реву машин, тащивших судно вверх по реке.

В дверь постучали, и на пороге появилась улыбающаяся Бану с узелками и свертками в руках.

Приподнявшись на локте, Давлетша с изумлением смотрел, как она мелко и красиво режет нежно-зеленые огурцы, темно-красные помидоры, черный хлеб, достает соль, чашки и вилки.

– Вот придумала! – он сел и недоверчиво уставился на стол.

– Кушай, – сказала она. – Всю жизнь по столовкам скитаешься... Ласки не знаешь. Тебя никогда не любили, тебя обманывали. Пользовались, а потом выбрасывали...

Поев, они пересели на койку и улыбнулись друг другу.

– Мне жалко твое время, – сказал Давлетша. – Все подбираешься ко мне, чего-то ищешь...

– Да, подбираюсь, – она смело встретила его насмешливый взгляд. – Но я совсем за другим. Мне не красивый мужик нужен...

– А кто? – с любопытством спросил он.

– Ты избалованный ребенок, – она говорила о своем. – Тебе нужна строгая мама.

– Ты хочешь стать моей мамой? – без улыбки спросил Давлетша.

– А почему бы и нет? – она снова смело встретила его взгляд. – Женщине надо сперва пожалеть, а уж потом полюбить.

– Меня пора жалеть? – Давлетша был изумлен.

– А ты думал! – и она была изумлена. – Одинокий, совращенный в малолетстве, избалованный. Ты можешь никогда не узнать любви, семьи, будешь всю жизнь подбирать тайком крохи с чужого стола. А потом над тобой, изношенным и больным, будут смеяться и обзывать скверными словами. Например, потаскун, или старый...

– Не надо, – попросил Давлетша. Ему было неприятно.

– Ты обижаешься на женщин, что они бросают тебя, – продолжала она безжалостно. – А чего им цепляться? Сколько ни играй с красивой игрушкой – все равно надоест.

– Перестань, а? – снова попросил Давлетша. – Специально, что ли, пришла, покормила, а потом травить принялась?

– Ты не любишь правды о себе? – терпеливо спросила она. – Я хочу снять нагар с твоей души.

– Мне надо отдохнуть перед вахтой, – сказал он, и Бану, скрывая улыбку, поднялась.

– А вот не приду больше, будешь жалеть? – спросила она на пороге.

– Нет, – сказал он. – Проку от тебя... Одни разговоры и нотации.

– В одном видишь прок, – Бану усмехнулась. – Погоди, еще поймешь...

В словах девушки Давлетша уловил скрытую угрозу, но не придал этому значения.

* * *

Иногда он задумывался о некрасивых женщинах. Приходилось ему видеть на работе и в городе, как самая обычная женщина, чаще худая, невзрачная, уверенно и независимо держится с мужчинами, благосклонно слушает и улыбается им, и Давлетша, пораженный, думал: «Ну, королева, честное слово! Сейчас махнет платочком – и все кинутся целовать ей ноги». И предполагал неожиданное: «А вдруг она не знает, что некрасива?» Но тут же его смущало, что к этой женщине тянутся мужчины, будто к жаркому костру. «Выходит, интересно с ней, – размышлял Давлетша. – Чем же берут такие? Умными разговорами, свежими новостями, или знают много?»

Сам он никогда не был знаком с некрасивыми женщинами. Они к нему не подходили, даже избегали. Бану – первая. Но не интересует ее Давлетша которого знают все, ей нужен какой-то другой, незнакомый, странный...

* * *

Теплоход, нутужно работая двигателями, ночью вошел в устье Агидели, и огни на берегах сразу приблизились. Давлетше даже показалось, что едет он по широкой ночной улице.

Бану снова пришла к нему, будто к родственнику или другу. Он привлек ее к себе, она послушно прильнула к его груди, и на этом – Давлетша знал по опыту прошлых встреч – близость их кончалась.

Приближалась Уфа, и он думал, предпримет ли Бану попытки к тому, чтобы их встречи продолжались. Он смутно чувствовал, как понемногу привык видеть ее, говорить с ней. И сейчас он с любопытством проводил пальцами по длинной шее девушки, черным завиткам волос. Он трогал ее длинные смуглые руки, натывался на смелый взгляд ее карих глаз, неотрывно наблюдавших его, и думал с испугом, что это девичье лицо, губы, шею, руки никто еще не целовал.

– Зачем ты теряешь время на меня? – в который раз спросил Давлетша. – Другая давно бы взяла с меня все, что ей надо, и не мучилась.

– И на другой день бросила, – засмеялась она. – Я так не хочу. Может, я в тебе разглядела то, чего в других нет. Или надеюсь разглядеть, оттого не тороплюсь.

Давлетша польщенно улыбнулся.

– Женить на себе хочешь? – догадался он.

– Разве свидетельство о браке связывает людей навечно?

Она медленно покачала головой.

* * *

Давлетша проводил девушку до ее каюты и поднялся на верхнюю палубу, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться просторами ночной реки. Неожиданно он вспомнил, что там, на правом берегу, простираются огромные сосновые леса. Когда-то они гостили в этих краях у дяди. Еще он вспомнил, что их было четверо и четвертой была Римма, старшая сестра.

Он быстро, возбужденно зашагал по палубе, поражаясь не столько воспоминанию, сколько тому обстоятельству, что он до сих пор не вспоминал сестру. Римма дня не могла прожить без любимого братика, таскала его на своей спине и в лес, и на реку, не отставая от своих подруг. Когда он пошел в первый класс, Римма прилежно, вместо мамы, проверяла его тетрадки. В седьмом классе она, девочка-подросток, худенькая длиннорукая, длинноногая, слегла, и он, подчиняясь ее взглядам, проводил возле нее все ее последние дни. Она прижимала к себе любимого братика, оглядывала сухими, по-взрослому умными глазами, будто запоминала его образ навечно, чтобы унести с собой.

Когда обмывали Римму, он увидел ее голое худенькое тело уже не девочки, но еще и не девушки, и испытал острую детскую жалость.

Теперь он вспомнил свою давнюю жалость к ней и, уже нервно шагая вдоль крашенных бортов и не глядя на реку и невидимые отсюда могучие сосновые боры, он вдруг понял, что жалость его была осознанная, из смутного предчувствия его, тогда мальчика, что злая судьба оборвала жизнь будущей красивой женщины, и он жалел то желтое худенькое тело, что не узнало расцвета плоти, любви и не оставило свое продолжение.

Еще одна мысль, шальная, нелепая, вошла занозой и будто застряла в мозгу. Ему стало тесно и жарко от этой мысли – хотелось встать на борт, сильно оттолкнуться ногами и уйти в прохладную глубину реки, чтобы плыть и плыть под звездами, не заботясь ни о чем...

...Выходит, его успела по-настоящему полюбить сестра, и через двадцать долгих лет ее любовь возродилась в этой неприметной курносой Бану? Но зачем?

Прохладный ночной ветерок обжег распаленное мыслями лицо Давлетши. «А затем, – догадался он. – Римма хотела дать то, чего не смогла дать безвольная, теряющаяся в малопонятной, пугающей ее жизни мать. Но не успела сестра...»

«А если б успела?..» – Он остановился посреди палубы и глубоко засунул руки в карманы брюк.

Он вспомнил Бану.

«Разглядела же... – медленно соображал он. – Не испугалась, не оттолкнула...»

Холодный ветер гулял по пустой палубе. Давлетша обнял себя за плечи, но не торопился спуститься в теплую каюту, боясь, что вместе с ознобом уйдут из него умные чистые мысли.

«Неужели... судьба?» – подумал он о Бану, и тут же посмеялся над собой: «Нашел сокровище! В толпе потеряешь и не найдешь».

* * *

Давлетша в эту ночь спал крепко. Проснувшись, он тщательно побрился и надел отутюженную форму. Он еще не знал, как распрощится с Бану. В этой последней

встрече все определяют взгляд, слово, улыбка... Но Давлетша про себя решил, что уж в любом случае они останутся друзьями.

Теплоход подошел к причалу. Высыпавшие пассажиры, задрав головы, оглядывали родной город, лепившийся на высоких холмах, кричали и высматривали среди встречающих знакомые лица.

Полоска воды между теплоходом и причалом сужалась, суета на палубе росла, и Давлетша встал у трапа. Женщины бросали на него беглые рассеянные взгляды. Близость дома, ожидаемые хлопоты оттеснили праздные мысли, и Давлетша понимал, что он навсегда уходит из их жизни. Но и женщины, что стояли у борта, даже самые яркие и красивые, не волновали его, и он зорко высматривал среди них скромную фигурку Бану, ее курносое личико с отважным взглядом карих глаз. «Копуша!» – весело решил Давлетша, наблюдая, как на палубу выскакивают запоздавшие пассажиры с чемоданами.

...Опустела палуба, смолкла музыка, и Давлетша, растерянный, с поникшей головой, смотрел на пустеющий причал. «Сошла раньше, – тупо соображал он. – Не зря пугала. Ищи теперь в городе...»

Он спустился в машинное отделение и невесело подумал, что вот и ушла сладкая жизнь и настала новая и ему придется заняться извечным мужским делом: искать и искать ту единственную, родную, ради которой и стоит жить на этом белом свете.

Оттуда, где красный лед...

* * *

Когда-нибудь в небе рваном,
Оттуда, где красный лед,
Придет караван с шафраном,
К тебе караван придет.

И клены порежут кроны
О бритвенную синеву,
И станет закат зеленый –
Отчаянно наяву...

И рухнет с плечей рутина,
Что вынесли на веку,
И блудная Русь, как льдина,
Прибьется к материку...

А что до ответа где-то
На смертном, читай, одре,
То кровь не имеет цвета,
Когда она на заре.

Мне это сказал священник,
Мне это сказал судья,
Мне это сказали тени,
Которыми падал я,

Прибой мировой и ветер,
Что берег мой истончил.
А больше никто на свете
Мне это не говорил.

НА ТРАКТЕ

На тракте от деревни в полумиле,
тождественные горю от ума,





олигофрены бабочку ловили,
похожую на марку от письма.

А бабочка красиво пролетала
между ладоней, хлопающих в такт, –
а бабочка курсивом трепетала
в конце строфы *пересекая тракт*.

Она звала их прямо в сверхземное,
она была как на глазу бельмо.
Но что-то до мурашек основное
до них не доходило, как письмо.

Они бежали вслед, олигофрены,
но в бабочке, летящей направо,
не видели трепещущей Вселенной!
Я с ними был. Я был один из нас.

Я ПРИДУ

Я приду к тебе с повинной
по душе – не по уму,
потому что ночи длинной
не прожить мне одному.

А в окно стучат рябины,
будто гости под хмельком,
окаянные рябины
деревянным кулаком.

Я приду к тебе с повинной,
будто ливень в вертоград, –
за разлуку ночью длинной
я хочу быть виноват.

Я хочу, себя изранив,
душу выплеснуть рекой –
в бурю горькую в стакане
угодил я головой.

И декабрь с половиной
без вины иду ко дну.
Ты пусти меня с повинной,
ты мне выдумай вину!..

УСТЬЕ

волга впадает в каспийское море – как впрочем все реки
в мировой океан впадают обе Америки
дух и сын воскресли на грех в человеке –
так говорит всевышний
сам-третий. лишний?

белое солнце пустыни впадает в белое небо
белая река лета впадает в моря хлеба
медведи белой зимой впадают в спячку
белые люди впадают в белую горячку
влюбленные белой ночью впадают в детство –
так говорят индейцы
вращая каменный небосвод
но знают – наоборот.

ты говоришь:
белая река впадает в каму –
а думаешь:
в кому –
подобно белому кому
снега – остыв на выдохе года
века
сроду воды впадают в природу.

а то, что тела впадают одно в другое?
а то, что в одной воде мы одной ногою?
ты говоришь: в реки не входят дважды.
но если такая жажда...

одна нагота у нас – одно на двоих устье
из одних уст лета пьет наши тени
сердце само угадает путь
к месту впадения.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

На границу трех миров –
Пашни, облака и леса –
Вышел плотник Топоров
Из астрального подъезда.

О, окраинный подъезд,
Пребывающий в столетях,



Что приходят после третьей
Тем, кто третью не заест!

Выбрал плотник Топоров
Из волос колючки терна –
Озаренья ждал, наверно,
Терпеливый Топоров.

А потом, как метроном,
Ухватив за хвост мгновенье,
Он ударил топором,
Будто Карло по поленью.

И взошли мы, как цветы,
По его топорной воле,
Потому что я и ты –
Только призраки, не боле.

Только признаки воды
На всемирной карте суши –
Непохожие, как Пушкин,
На тревоги суеты.

ПАРАШЮТИСТ

За плечо заброшу ангела-хранителя,
обескрывленный на взлетной полосе.
До чего ты, жизнь, бываешь удивитель, на.
Если жить не удлиннительно, как все.

Улыбнусь зениту с точки заземления.
Ток пуцу светилу на восток...
Лепестроки шепчутся в растениях.
Луг слезится. И уместен Бог.

* * *

В лесах начались соловьи –
По щучьему, что ли, веленью –
Прологами к стихотворенью
В лесах начались соловьи.

Как пух от земли до земли
Летит тополиный в июле –
На горькие губы твои
Упали мои поцелуи.

Тому, чья настала весна,
Молчанье пристало едва ли.
А прежде была тишина.
И нас соловьями не звали...

* * *

зачем мне соловей в золотой клетке?
заведу я себе серебряную пулю.
тоже свистит и тоже летает.
буду слушать, как поет пуля.
буду показывать пулю любимой.

зачем мне пуля в золотой клетке?
отпущу я пулю на вольную волю.
пусть летит, все равно вернется.
найдет меня благодарная пуля.
судмедэксперт будет показывать ее любимой.

CREDO

Хорошо в трехмерной лодке –
С небольшим стаканом водки,
С небольшим окурком «Примы» –
Берегов красивых мимо.

Не любить, не ошибаться –
Плыть да плыть, да ухмыляться –
Простирать в седой простор
Свой широкий кругозор.

* * *

Отдай швартовы, старина,
ковчег опять сошел со стапеля,
и тварей бессловесных штабели
рассажены по именам.

Струятся воды наудачу,
и ты, добросердечный Ной,
стоишь на палубе враскачку
с добросердечною женой.

А ночь черна, как на пожаре.
Сверхновый пишется Завет.



И каждой твари есть по паре,
и каждой сволочи – билет...

* * *

Есть территории, где обитают
Люди – как отражение нас:
Они так же плавают и летают
И тот же вдыхают инертный газ.

С теми же жабрами и плавниками,
Теми же крыльями за спиной,
Теми же плачущими очами
И обжигающей душой.

Им тоже больно, что падают листья,
Им так же верится в чудеса...

И говорят, они пишут письма
Нам – но путают адреса

* * *

Заблудилось счастье на земле,
что присуще смертным от начала –
чтобы пища булькала в котле,
чтобы рядом женщина молчала,

чтобы небо капало в угли
дождиком незванным на пороге,
чтобы ночь бежала от земли
прочь по млечной каменной дороге,

чтобы вдаль не ввинчивались мы
на ветру, как бешеная лопасть...

Чтобы накрепко обжитый мир
не свернулся в бесконечный глобус.

* * *

В последний день Помпеи свет
сменился тьмой по праву – ибо
упал в оттиснутые кипы
помпейских утренних газет.

И о политике и деньгах,
что суть одно – как ни скажи,
достойно рассуждали в термах
достопочтенные мужи.

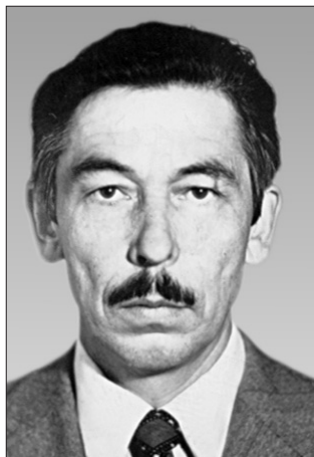
А там, где падала вода,
зубцами мельница стучала,
и время в ней – и не случайно –
не торопилось никуда.

С поклажей дельной шел осел.
Ему вертели уши дети.

Напоминало о бессмертье
в последний день Помпеи – все.

Хэппи энд

Из цикла «Дудкинские рассказы»



Тридцать уже с лишним лет тому, как один из моих приятелей выхлопотал для своих сослуживцев землю за рекой Уфой у деревни Дудкино. Долго хлопотал, а когда отвалили ему вдруг восемь гектаров неудобей, земли этой для небольшого коллектива оказалось многовато, потому что более четырех соток на семью тогда не полагалось. Пришлось приятелю вписать в список членов садоводческого товарищества и сторонних людей. Вспомнил он при этом и обо мне.

Я было замахал руками: ну их, твои сотки, мне свобода дорога! Но хозяйшкa моя давно мечтала о садовом участке. По ее настоянию вступил я в товарищество, совершенно не представляя, к чему это приведет.

Нам выпало стать пионерами освоения заброшенных угодий пригородного овощеводческого совхоза, загубленного дураками и бездорожьем. За нами последовали другие товарищества. Теперь, если посмотреть на Зауфимье с правого, гористого, берега реки, взгляду открываются тысячи садовых домиков, рассыпанных среди курчавых дубрав. Вдоль по левому берегу растянулись километра на два останки бывших деревенских дворов. Сады подступили к ним сзади вплотную, словно намереваясь столкнуть в реку. Наиболее сообразительные дудкинцы, потеряв работу, продали свои усадьбы горожанам, и те хозяйствуют на них на птичьих правах.

Поперек реки с промежутками в полчаса курсирует катер, давным-давно списанный в военном ведомстве. Он с Дудкинской переправы и на зимний отстой не уходит. Городские предприятия подогревают Уфу-Уфимку теплыми стоками, отчего даже в крещенские морозы лед на ней ненадежен. Рядом с тропой, протоптанной по льду, вздыхает, колышется вода в промоинах. Нет-нет да угодит в одну из них торопливый садовод, решивший попариться в субботу в своей баньке или забрать из садового погреба банку с заготовленным на зиму соленьем, и поминай, как чело-века звали. Поэтому катеристам вменено в обязанность плавать по пробитой через ледяной массив дорожке, не позволяя ей замерзнуть.

Садоводы, люди теперь большей частью пожилые, стабунившись на берегу в ожидании катера, философствуют о том о сем, критикуют политику властей. Лет десять все дружно ругали Горбачева и Ельцина. Иногда разговор касался печальной

Марсель Абдрахманович Гафуров (1933–2013) родился 10 мая 1933 года в с. Мраково Кугарчинского района Башкирии. Писатель, журналист, переводчик. Член Союза писателей Башкирской АССР (1982). Заслуженный работник культуры РСФСР (1982) и Башкирской АССР (1976). Лауреат премий имени С. Злобина (2005) и имени Б. Рафикова (2005). Лауреат премии журнала «Бельские просторы» (2002, 2004).

участи деревни Дудкино. Слышу как сейчас надтреснутый голос дедка с орденом Отечественной войны на куртке:

– Откуда, думаете, взялось ее название? Жил, говорят, стрелец по прозвищу Дудка, деловой, видать, был мужик: выписал у царя Алексея Михайловича лицензию и держал перевоз. Тут как раз пролежала главная в ту пору дорога в Сибирь...

– Не у царя, а при царе Алексее, – поправил рассказчика старик, присевший на свою ношу – обернутые газетой обрезки досок. – Стал бы тебе царь выписывать лицензию! И слова-то такого в те времена не знали.

– Ладно, не у царя, так у воеводы уфимского бумагу выправил, не в этом суть. Два ли, говорю, три ли века простояла деревня имени Дудки, и нате вам – разорили...

– Помните, когда мы начинали, в деревне и магазин какой-никакой был, и школа, – вставила слово женщина, которую спутники называли Андреевной.

– Школу, я слышал, продали на слом за два миллиона рублей.

– Два миллиона?! Кто же ее смог купить?

– Да хоть бы и ты купила. Продали до того еще, как в деньгах срезали нули, когда все мы ходили в миллионерах.

– А-а. Выходит, недорого взяли. Одних досок из обшивки школы хватило бы на пяток таких, как у меня, домиков...

Взревел, отчаливая от противоположного берега, катер. Разговор оборвался.

Дудкино считалось частью городского района и в казенных бумагах именовалось поселком, а по укладу жизни это была деревня как деревня. С упразднением совхоза половина ее жителей разъехались кто куда, остальные ждали предоставления квартир в городе и жили тем, что Бог пошлет: сажали картошку, держали кое-какой скот. Я близко познакомился с ними благодаря своим соткам.

Меня, как многих горожан, обуяло стремление вырастить что-нибудь плодоящее, перехитрить природу с ее зимними морозобоями, весенними заморозками и потопами. Уфимка трижды, не считая ежегодных терпимых наводнений, затопила наши домики до крыш. Пережив стихийное бедствие, мы все начинали почти заново. Коренные дудкинцы, глядя на нас, посмеивались: мол, зря стараетесь, не дождетесь тут яблок, климат для яблонь у нас неподходящий, слушаете, чай, сводки погоды – на нашей низине всегда холодней, чем наверху, в городе. Яблок мы все-таки дождались, климат на Земле, говорят, помягчел. Но тут подвело меня сердце. Можно сказать, раздался первый звонок, приглашая меня на тот свет.

По моим расчетам, должны прозвенеть, как в театре, еще два звонка. Мы с женой, решив держаться до третьего поближе к природе, подальше от городской суеты и стрессов, перебрались жить на свой садовый участок. До инфаркта я успел срубить из выловленных в реке осиновых бревен избенку, сложил кирпичную печку – удачная получилась печка. Под потолком горит электрическая лампочка, о событиях в мире сообщает транзисторный приемник – чем не жизнь! При редких вылазках в город за продовольствием мы свое исчезновение объясняли знакомым тем, что предпочитаем жить на загородной даче. Дача – это звучит!

Таким вот образом мы оказались свидетелями предсмертных лет деревни Дудкино. Она умирала на наших глазах. К прошлому году в деревне осталось шесть или семь семей, прописанных в ней. Для городской администрации они были лишней головной болью, и потому последних дудкинцев известили, что изыскана, наконец, возможность переселить и их. Не в фешенебельный район, конечно, а на другую окраину города, но и там квартиры – с удобствами, не надо по нужде выскакивать на двор.

Будущим новоселам было сказано также, что ордера на квартиры они получат лишь после того, как разрушат свои деревенские избы. Приедет комиссия, проверит, все ли как надо сделали. Чтобы, значит, никто в эти избы не вселился и администрация не нажила опять ту же головную боль. И дудкинцы – кто с шутками-прибаутками, кто со слезами на глазах – принялись рушить свои родовые гнезда. Одна только баба Клава уперлась:

– Никуда я не поеду, помру тут!

Сын ее, Андрей, и так и эдак к ней подступался, ему-то, молодому, хотелось обрести цивилизованное место жительства, а мать не соглашается, и все тут.

Мы покупали у бабы Клавы молоко, то хозяйка моя к ней ходила, то я. Я не знаю ее фамилии, в деревне принято было называть друг друга по имени, иных по отчеству, а ее – баба Клава да баба Клава, ну и мы – как все. Ходить к ней было дальше, чем к другим деревенским, кто держал корову, но понравилась нам старушка своей приветливостью, словоохотливостью и опрятностью. Приду, бывало, к ней ранним утром – она на миг вся засветится, тут же засуетится:

– Ай, миленький, я еще прибраться не успела, ты в горницу уж не заглядывай. Не знала я, придешь сднни, нет ли, а все ж банку молочка для вас оставила, вот...

В деревне считали ее отмеченной Богом – потому у нее и корова удоистая, и огород урожайный. Нельзя, говорили, обижать бабу Клаву – Бог за это накажет. Маленькая, сухонькая, она была трудолюбива, как пчела, и не по летам проворна. Соседи за неимением в деревне хотя бы фельдшерского пункта шли со своими хворами к ней, и всем она помогала ласковым словом и умным советом. Когда-то, в молодости, работала она в больнице санитаркой и знания, приобретенные тогда, сохранила.

Знал я и ее старика, деда Пашку. Не Павлом, не Пашей его звали, а именно Пашкой. Деда не то чтобы не уважали – смотрели на него со снисходительной улыбкой. Он был чужак, почти каждый день совершал прогулку в город, причем, поднявшись на гору, не садился ни в автобус, ни в троллейбус, хотя как ветеран войны и труда имел право ездить бесплатно, а непременно шел пешком от Выставочного центра до торгового, километра, пожалуй, три вдоль транспортной магистрали, рассекающей парковый массив, потом тем же путем возвращался обратно. Для здоровья, говорил, полезно. Заботу о своем здоровье дед Пашка совмещал с нехитрым бизнесом. На прогулки он отправлялся с рюкзачком за спиной, заткнув спереди под его лямки предмет бизнеса – очередное топорище.

Иногда я встречался с ним перед подъемом на гору. Дед Пашка был старше меня лет на десять, но я не мог угнаться за ним, мой «мотор» тянул слабовато. Ради попутной беседы легконогий старик убавлял шаг.

Как-то я поинтересовался, какую древесину использует дед для топорищ: они были розоватые, с красивым природным рисунком.

– А ветлу, – ответил дед Пашка. – Принесла вода весной дерево, оставила напротив моих ворот. Я его распилил, расколол, положил под крышу сушить. Большой у меня запас.

– Так ведь у ветлы древесина мягкая, – удивился я. – Обычно на топорища берут березу, клен...

– И береза, и клен – тяжелые. Зачем рукам лишняя тяжесть? Ветла – она мягкая, верно, зато и вязкая, не расколется. А весу в ней... на-ка, сам прикинь. Умный человек, коль дать на выбор, мое топорище выберет.

– Убедил, дед!

– А черенки у твоих лопат какие? Небось, из магазина, березовые? С такими лопатами мне и моей бабке хоть ложись и помирай. Ими пустыми на огороде помахать – и то руки оборвешь. Я уважаю липовые черенки. В них весу – тьфу, а прослужат не менее березовых.

– Ну да уж!

– А ты испытай. Сруби весной прямую липку, ошкурь, положи сохнуть. На другой год не нарадуешься...

Случалось, дед пускался в рассуждения политической направленности.

– Ты на последних выборах за кого голосовал? За Зюганова? – спросил он у меня. – Садоводы у причала больше за него высказывались. А я – ни за кого. Посмотрю еще, как дальше дело пойдет. При социализме, конечно, кое-что лучше было. Стеклотару, к примеру, намного дороже принимали. Я, бывало, пустую бутылку на берегу подберу, сдам за двадцать копеек и куплю буханку хлеба. А теперь купи-ка! Вон их, бутылок, сколько валяется, а никто не подбирает. Неохота ради той же буханки тащить в гору полный рюкзак бутылок. Вот я и взялся за топориче. Продам одно, бабке своей булочку куплю и себе на четвертинку отложу. Бабка у меня строгая, тратить пенсию на водку не позволяет, лучше, говорит, сыну со снохой деньги отдам, пусть радуются. Ну и ладно. Я себе могу еще заработать. К капитализму тоже можно приспособиться...

Однажды поздним вечером, услышав крики со стороны реки, я пошел полюбопытствовать, что там происходит. Оказалось, у катера погнулась лопасть гребного винта, должно быть, от удара о льдину, – дело было в декабре, по реке шурша плыло ледяное крошево. Катер стоял, приткнувшись к левому берегу, в ожидании ремонта. А на правом, городском, смутно чернела одинокая фигура, и в морозном воздухе звучал крик деда Пашки:

– Клава, я тут! Я живой! Клава, я тут!..

Дед успокаивал свою старуху, а она в больших, не по ногам валенках с укороченными голенищами, длинной, опять же не по фигуре, дедовой, надо думать, телогрейке сновала возле катера, растерянно восклицая:

– Господи, что ж делать-то? Куда ж Сашка запропастился? Лодку бы его отомкнуть!..

Сашка, он же – Александр Григорьевич, сторожил наши сады. Как выяснилось, в это время совершал обход доверенных ему участков. Но вот он вернулся с обхода, отомкнул плоскодонку, опрокинутую на берегу. Стащили ее под обрыв, столкнули, ломая прибрежный лед, на воду, и Александр Григорьевич, пренебрегая опасностью, отправился за дедом Пашкой. Минут через двадцать старик ступил на родной берег. Баба Клава на секунду, как бы невзначай, ткнулась головой ему в грудь, затем побранила:

– Что ж ты, непутевый, так запозднился? Я уж и не знала, что думать, пока не услышала твой крик! Озяб, наверно, и проголодался, пойдем скорей домой!..

Последний раз я увидел деда Пашку спускающимся с горы. Шагал он как-то неуверенно, ступал нетвердо.

– Что это, дед, тебя пошатывает? – шутливо спросил я, поздоровавшись. – Ничкак, выпил маленько?

Он остановился, и я, приглядевшись, заметил, что лицо у него, обычно румяное, сильно изменилось, приобрело землисто-серый цвет...

– Хвораю... В поликлинику ходил, да не помогли. Лекарств от старости нет...

Спустя месяца три после этой встречи неожиданно в нашу дверь в саду постучалась баба Клава. Пришла одолжить немного денег. Стояла зима, в садах кроме нас и

сторожей – ни души, и у деревенских, видно, занять не удалось. Жена моя пригласила гостью выпить чашку чаю, но баба Клава отнекалась, лишь присела на минутку на придвинутую к ней табуретку.

– Некогда засиживаться, дел у меня много. Слыхали, нет ли – Паша ведь мой умер, – сказала она, почему-то пряча глаза.

– Как умер?!

– Ну как... Рак у него в легких обнаружился. Слава Богу, недолго мучился, сгорел как свечка... Отвезли на городское кладбище, на Южное. Похороны нынче больно уж дорого обходятся. Я телку за шестьсот рублей продала, и эти деньги, и остальные – все ушли... Завтра сороковой день, надо хоть бутылку водки купить, помянуть. Я бы долг вам молочком вернула. Когда корова отелится...

Денег ей мы дали. Через месяц она снова пришла – сын, объяснила, пенсию ее потратил, хлеба не на что купить. Опять полсотни рублей дали. А весной на катере я услышал, что баба Клава, похоронив своего старика, пристрастилась к водке, ради нее, злодейки, ходит по знакомым, деньги занимает. Вот уж от кого никто этого не ожидал! Ну, сын ее Андрей пьет, так он – мужик, все мужики деревенские пьют от безделья, почти не просыхают. А она-то!..

Грустно стало нам с женой от такой новости. В наивной надежде спасти светлую душу от пагубы постановили мы денег бабе Клаве более не давать.

Минули весна и лето. Глубокой осенью случилась история с ордерами на квартиры. Баба Клава, как было уже сказано, переезжать отказалась.

Соседи ее – из тех, что хозяйствуют на птичьих правах – видели, как Андрей полез на избу рушить кровлю. Мать с причитаниями – за ним. Он отдирает рубероид, она то под гвоздодер сунется, то под топор. Андрей рывкал:

– Уйди, мамань, ударю ведь!

– Ударь, сынок, ударь, – соглашалась она. – Скорей отмучаюсь...

Наконец, после очередного выкрика Андрея баба Клава сказала:

– Ладно, спущусь и лягу, ты засыпь меня бревнышками, буду лежать как в мавзолее...

До вечера Андрей успел отодрать рубероид, разобрать обрешетку крыши и сбросить стропила. Наутро на наш берег переправились три человека из городской администрации. Убедились, что избы, подлежащие разрушению, разрушены. Вид бабы-клавиной избы без крыши их тоже удовлетворил. Потом всем, кому положено, выдали ордера на вселение в городские квартиры. Кружным путем, по разбитой вдрызг дороге прибыли нанятые в городе грузовики, увезли переселенцев с их скербом. Андрей с женой уехали, баба Клава, как ее ни уламывали, осталась жить в родных стенах...

Катер наш – не только транспортное средство. Он еще тем хорош, что у причалов можно, как на восточных базарах, пообщаться с людьми, услышать, что в жизни нового. Упомянутая Андреевна, пенсионерка из учителей, содержала в сарае по соседству с бабой Клавой кроликов, через день приходила в свое хозяйство, чтобы подкинуть подопечным корму, и регулярно сообщала собравшимся на переправе, что старушка жива, но худо дело – пьет она беспрерывно. Однажды, когда река ненадолго встала, баба Клава и сама появилась на берегу. По коварному льду, сторонясь людей, перебралась на другой берег, отправилась в город. Должно быть, получила там пенсию, ковыляла назад с тяжелой ношей: за спиной – дедов рюкзачок, в руках – пузатые сумки. Запаслась, видать, продуктами и выпивкой.

Где-то в конце зимы я решил навестить ее. Подумалось: может быть, сумею как-нибудь помочь бедолаге выбраться из беды? Двор бабы Клавы был занесен снегом,

с потолочного перекрытия обезглавленной избы свесился гребень огромного сугроба, будто набежала туда океанская волна да и застыла. Снег был кое-как раскидан лишь возле калитки и крыльца. Потянул дверь – оказалась незапертой. В прихожей встретила меня лаем одноглазая бабкина собачонка. Хозяйка сидела в горнице на кровати, перед ней на голом столе – миска с вареной картошкой и початая бутылка. Но взглянула бабка на меня осмысленно, правда, без прежней приветливости во взгляде. Не успел я рта раскрыть, как она упреждающе сообщила:

– Молока у меня теперь нет, Андрюша корову мою продал...

– Да я не за молоком, просто поговорить заглянул, – сказал я.

Присел без приглашения на шаткий стул.

– Как поживаешь, баба Клава?

– Как видишь...

– Вижу – выпиваешь. Слышал – беспрерывно. Зачем же ты так, баба Клава?

– Зачем?.. Думала, так скорей помру. Да Бог смерти не дает. А Паша, поди, меня ждет...

– Может, и ждет, но не такую, как сейчас, а прежнюю. Раз ты Бога упомянула, подумай-ка вот о чем: не вольна ты распорядиться жизнью, которую дал Он. Мой тебе совет: переберись к сыну с невесткой, квартиру ведь вам на всех предоставили. Доживешь свой век по-человечески...

– Не больно-то я там нужна... Наталье, пока тут жили вместе, я поперек горла стояла. Молчком она терпела, но я-то чуяла, о чем думает-мечтает. Сама со свекровью жила. Пускай свое гнездо вьет. И у меня тут все – свое. Шарик вот, хоть и кривой, да мой. – Шарик, внимательно слушавший хозяйку, пристроившись у ее ноги, шевельнул хвостом. – Его садоводы под зиму щеночком бросили, может, из жалости убить хотели, ударили – глаз вытек. Уж и не жилец вроде был, а Паша его подобрал. А там ведь, в городе, его в квартиру не пустят.

Я не нашел, как опровергнуть этот бабкин довод. Оставалось только обойти его и выкинуть свой последний козырь:

– Баба Клава, ты представляешь, во что превратится твоя изба через месяц? Потечет с потолка, все отсыреет, заплесневет... Как ты тогда?

– Как-нибудь. Может, Господь к тому времени приберет меня. Виновата я перед Ним, да авось смирлостивится.

Не удалась моя миссия.

День уходил за днем, наступил апрель, месяц веселый и суматошный. Он у нас часто бывает жарче мая. С тихим шорохом оседал снег. По ту сторону реки побелели, подсохнув, обнажения гипса на обрывистых кручах. Над ними островки осины словно накинута на себя зеленовато-коричневую кисею – первыми почувствовали весну, изменили цвет. На нашем берегу вытяли края речного обрыва, волнуяще запахло влажной землей. А вот и первый ручеек затренькал, сбегая вниз в набухающую реку.

Жаль, не бывает на Уфимке у наших садов ледохода с его шумом и треском, со встающими на дыбы льдинами. Лед незаметно уходит еще в марте. Но все равно в апрельские дни тянет меня к реке, там глазу просторней и дышится легче.

В один из таких дней увидел я бабу Клаву, может быть, последний раз. Рослый Андрей тащил мать к катеру, просунув руку ей под мышку. А она то и дело останавливалась и, обернувшись, пыталась поклониться в сторону двора, с которым была связана почти вся ее жизнь.

– Хэппи энд! – блеснула знанием английского языка Андреевна, тоже наблюдавшая эту картину. То есть можно сказать, что у истории с бабой Клавой конец счастливый.

Реалити-шоу



* * *

То ли рок, то ли Бах, то ли «Мурка»,
то ли ад, то ли яд, то ли мед...
На холодных камнях Петербурга
это эхо так долго поет.
Неземное спокойствие. Нервность.
Небо в землю уткнулось: бери...
...Царство Бога – внутри нас и вне нас.
Царство беса – и вне, и внутри.

На бесовском реалити-шоу
в разухабистой дикой гурьбе
рады боли, неверию, шоку
и любому бессилью в тебе.
Тьма все гуще, а хохот все пуще.
Те, кто был там, – запомнили все
крики зала, издевки ведущей
и глумливого конференсье.
Каждый день по прямому эфиру
весели этот сброд, весели,
человек покоренного мира,
неустроенной глупой земли.
Ты, посаженный как за решетку,
вызываешь брезгливость и смех –
на бесовском реалити-шоу
гладиатором подлых утех.
Зал гогочет, курлычет и лает.
Объявляется: «Поле чудес».
И: «в стране дураков», – добавляет
с изощренной слащавостью бес.
Но попробуй сквозь робость и горесть
различить на ристалище том
хоть один, но сочувственный голос,

взгляд

Светлана Викторовна Хвостенко (1964–2013) родилась 21 мая 1964 года. Училась в МГУ. Публиковалась в республиканских и центральных изданиях. Автор четырех поэтических книг, изданных в Уфе и Санкт-Петербурге: «На восходе гроза», «На раскопках Энского», «Созвездие Эвридики», «Древо жизни».

без подстав – ободряющий тон.
Это значит, что ты не оставлен.
И преддверие горькой любви
этот голос откроет, как ставни:
«Успокойся. Вставай и живи».
Не закончились горькие чаши
для живых. Но, растерян и слаб,
все же скажешь: «Планета не ваша.
Если пленник – не значит, что раб».

* * *

Мы припадали к родине собою,
ее пытаясь вылечить собой,
и было это радостью и болью,
и было это – более, чем бой.
В потоках поэтического бреда
шла ворожба – взаправду или нет?..
Перекликались эхом наши беды
с ее бедой. И так десяток лет.
Как ты не смел прийти ко мне на помощь,
но миллионам на ухо кричал
о родине, – ты все, конечно, помнишь,
брат запредельный, данный от начал.
Не рассудить, в своем ли мы уме ли,
но мы вторгались грудью в бытие;
мы к родине припали, как умели,
и тем пытались вылечить ее.

Но вот теперь... раздернута завеса
далеких туч. Реальны миражи.
Так наяву здесь дразнит голос беса:
«Ты родина ли нам? Скажи, скажи!»
Все так реально, зримо, внятно, ясно:
во всех домах, на улице, в метро...
Но кто они? Зачем им так смеяться?
И что за ними – зло или добро?
Вот, к мировым склонившийся пружинам,
ведущий шоу ковырнул печать.
«Ты родина ли нам? Скажи, скажи нам!»
Так что – за всю Россию отвечать?!
И так довольно горя и печали.
Брат не помог... а жизнь – уж лучше в гроб.
«Ты родина ли нам?» – они кричали,
а зал смеялся радостно, вздохлб.
Летели через звездные развалы
их злость и хохот – мраком через тьму;



и все с бедою горе ворковало:
«Отрекся брат – так бредни ни к чему...»

* * *

Голосили, в затылок дышали,
издеваясь, просили на чай,
шутовским колпаком украшали:
«Ты нам родина ли? Отвечай!»
И, опять не дождавшись ответа,
хохотали и щерили рот:
мол, не часто с принцессами Света
доводилось водить хоровод.
И когда неминуемой дрожью
пробрало... из мороза да в зной:
голос твой был, конечно же, ложью,
только где я и что же со мной?!
Да и голос был будто взаправду...
Только где ты и что же с тобой?
«Где любовь? Не тревожься за брата.
Он с другой», – был ответ вразнобой.
«Никогда он к тебе не пришел бы –
но поверила, дура, ура...
Здесь другое реалити-шоу,
здесь давненько другая игра.
Ну, так, может быть, братцы, заплатим?
Что, применим свое волшебство?
Славы хочется? Нового платья?
Денег, власти, квартир?» –
«Ничего.
Что, вы думали – молвлю иначе?
За такие глумливые сны
никакой вам цены не назначить –
да такой не бывает цены».
«Ты нам родина?» – снова вопросик.
Ну, достали... ля-ля тополя...
«Ни одна пусть земля вас не носит,
а не только лишь эта земля».
«Где ж нам родина? Мы на распутье...
Подскажи хоть, какие края...»
«Будьте прокляты. Прокляты будьте.
Ад вам родина», – бросила я.

Пот струился тягуче и липко
и дрожала свеча под рукой.

«Ад нам родина!» – голос воскликнул.
«Дух нам родина», – молвил другой.

* * *

Лазоревым Евангелием детства,
затерянным среди советских книг,
годами наших подлостей и бедствий –
к Тебе в Твои рождественские дни
за милостью бросаюсь под иконы:
не Твой ли вестник крикнул: «Воззови»?
Не Ты ль сказал: из мировых законов
всего превыше заповедь любви?
В нас, как птенец в яйце, все это билось.
Стучался Бог в безбожные года.
Вслепую мы любили, как любилося,
и верили, как верилось тогда.
В то, что любовь – одна все лечит язвы,
что истина – навеки под рукой...
Да, кровь за мир отдать – так было ясно,
так было близко болью и тоской!
Услышишь ли? Пройдешь ли равнодушно?
Господь любви – любви, а не страстей...
Все спуталось... Не ведаю, как нужно
любить сей мир любовию Твоей...
Гордыня ли... в своем ли мы уме ли...
да, мы бросались грудью в бытие:
к России припадали, как умели,
и тем пытались вылечить ее.
Казалось: эта жертвенность подобна
Твоей – великой... Но спаси меня!
Но здесь вокруг – бесовский вой утробный,
глумливая и лживая возня.
Тьма на пороге. Сомневаюсь снова:
совсем в другом ошибка ли судьбы?
В том, что хотелось теплого, земного
и в жертвенности этой ворожбы?
По вере воздается! Я прошу так
затем, что верю: власть Твоя сильнее...

...Эфир молчал. Не слышно было шуток.
Лишь за дверьми скоплением теней
топталось зло. Спасенье или гибель?
Тут, в светотьме, у бездны на краю
ответили б – друзья или враги бы...

– Исполню волю, Господи, Твою...



* * *

В последний раз тусовка взорвалась
издевками: «Давайте по закону!».
В последний раз шагнул бесовский князь,
кошунствуя, меж мною и иконой.
Лик исказив на образе Его,
запел гнусаво: «Слушай голос вещей!
Что там у вас – любовь или родство, –
но ты забудешь прочно и навечно
того, кто брат... иль более, чем брат.
Просила же сама: «Спаси нас, Боже»?
Так навсегда покинешь этот град,
уедешь прочь и не вернешься больше.
Забудешь всю кошунственную чушь:
все прочь из сердца вырви и смирайся,
верь, что и впрямь Я этого хочу,
Я возвещаю из пределов райских.
Да, и стихи. Они, конечно, грех.
Их не пиши. Ни о любви, ни прочих!»

И в студии опять раздался смех:
«Хотела стать смиреннее и кротче?»
В какой-то миг казалось: это так,
мне возвестили истинную волю –
душа цела, и отступает мрак,
но горло перехватывает болью...
«Не будет счастья!» – веселился зал.
Уходит тьма. Накатывает серость...
Но... разве это все мне Он сказал?
Ведь то, что Он сказал, осталось в сердце!
Продюсер шоу снова удивил
свою тусню, срывая гром оваций...

– Да, мне дают смирение в любви.
Но о цене не с вами торговаться.
Вы – тень живых. А я пока жива.
Вы – ложь любви. Не страшно, но противно.

Послышалось: «...вещанье прерыва...
техническим причинам...» – и утихло.

* * *

То ли рок, то ли Бах, то ли «Мурка»,
то ли ад, то ли яд, то ли мед.
На суровых камнях Петербурга
это эхо так долго поет.
Из камней на ристалище пляясь,
вечно нелюди ржут над людьми...
«Знаешь, где в этом шоу *реальность*!
В том, чтоб духам показывать мир?
Нет, подумай... Все это бы ладно:
их удел — в нелюбви да гульбе...
Не в теории — внятно, наглядно,
мир, как есть, — он показан тебе.
Вот и думай, в чем кротость и гордость.
Мир, как есть. И его естество.
Ну, покуда прощай...»
Этот голос!
Это вестник. Я помню его.

**Зирах Аполлоний Александрович (1855–1919)**

Родился в Бузулуке в 1855 году. Работал на строительстве железной дороги, после чего остался в Уфе. Начиная с 1908 года Зирах начал снимать Уфу и ее жителей. Четыре огромных альбома его фотографий хранятся в Национальном музее РБ. Умер от тифа в 1919 году, похоронен на Сергиевском кладбище.

**Прокудин-Горский Сергей Михайлович (1863–1943)**

Родился во Владимирской губернии. Учёный, изобретатель и пропагандист цветной фотографии. Редактор журнала «Фотограф-любитель». В августе 1910 г. сделал несколько цветных панорамных снимков Уфы и населённых пунктов губернии по методу цветоделения.

**Фосс Николай Николаевич (1878–1948)**

Родился в Уфе. Ветеринарный врач. Первый и, возможно, единственный человек в Уфе, снимавший до революции на цветные пластины «Автохром».

**Кожевников Михаил Львович (1904–1961)**

Родился в Дюртюлях, окончил Ленинградское художественное училище, работал художником-декоратором в уфимских театрах.

**Бубелов Матвей Захарович (1914–1987)**

Родился в Кармаскалинском районе Башкирии. Служил в авиачастях на Дальнем Востоке, принимал участие в боях на Халхин-Голе, участник Великой Отечественной войны, борттехник. После войны работал в гражданской авиации и в Уфимском авиационном институте.

**Бельский Анатолий Андреевич (1922–1998)**

Родился в Уфе, участник Великой Отечественной войны. Окончил Уфимское училище искусств, работал в фотосалонах Уфы.

**Виноградов Анатолий Михайлович (1926–2008)**

Родился в д. Ощекулово Калининской (Тверской) области. Участник Великой Отечественной войны. С 1962 г. работал в газете «Совет Башкортостаны».

**Репенко Алексей Михайлович (1935–2001)**

Родился в деревне Казанка близ Раевки. Учился в железнодорожном техникуме, работал в депо станции «Уфа», потом на 40-м заводе. Заядлый турист, инструктор-методист турклуба.

Эти страницы так манят...

В январе 1955-го, на мое 50-летие, сотрудники Башкиргоиздата подарили мне отличный альбом для записей со словами: «Если бы Вы эти белоснежные страницы заполнили своим легким, пересыпанным юмором текстом, написав новый роман, то за нами бы дело не стало: тут же мы выпустили бы книгу и порадовали читателей!» Какие хорошие пожелания, и какие теплые слова! Лежал этот альбом долго, все ждал своего часа – когда же начнут его исписывать новым романом... Не получилось. Но эти страницы так манят, поэтому решил начать вести дневник. Не умствуя, коротко, день за днем записывать события жизни – чем не роман? Потом, наверно, интересно будет перечитать!*

Сагит Агиш



1958
2.10.58

Гузель 2 года и 8 месяцев. В конце сентября, когда ею многие так восхищались, она вдруг проснулась в одно утро и не может шевельнуть ногой. Мы страшно испугались. Пришла молодая врач, сказала: такое бывает. И действительно, потихонечку Гузель вроде расхотелась, но все равно прихрамывает. Опять вызвали врача. Стали обследовать. Выяснилось, что это ранняя стадия туберкулеза кости, который и не обязательно дальше разовьется, может и сам пройти. Но лучше, сказали, отправить ее в профилированный санаторий.

6.10.58

Гузель положили в санаторий, который только так называется, а на самом деле – настоящая больница. Ей крепко пережали ноги и уложили в койку. Это ее-то, которая и минуты на месте не стоит! Говорят, лежит и плачет. Очень тяжело воспринял это известие. Хочется с кем-нибудь поделиться своим горем, но нет тут такого человека. Хожу молчу.

1.11.58

Как-то незаметно подкрался ноябрь. Вспомнил стихи Тукая и переименовал их:

*Текут реки, дует теплый ветер.
Птицы в дальние края не улетают.*

* Перевод дневников с башкирского языка Лены Агишевой.

Сагит Ишмухаметович Агишев (1904–1973) родился 25 декабря 1904 года в деревне Исянгильдино Оренбургской губернии. Учился в Оренбурге в медресе «Хусаиния». Там же окончил педагогический техникум. Первые произведения Агиша были напечатаны в 1925 году. В 1928-м был издан первый его сборник стихов «Наш смех». Во время Великой Отечественной войны им были созданы патриотические произведения «Всадник Ильмурза», «Ахмадулла». В 1950 году увидел свет роман Агиша «Фундамент» – о жизни башкирской деревни. В 1964 г. вышла повесть «Земляки» – о юности Мусы Джалиля. За заслуги в развитии башкирской литературы удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

вспоминания



*Гузель поправится, и все будет так же:
воды рек и ветер будут теплыми.
И птицы будут здесь, никуда не улетят.*

3.01.59

Как вдруг все резко изменилось! Завтра нашу Гузель, может, и выпишут! Заказали машину. В 12 или 13 часов должна быть дома. Ура! Написал рассказ о космосе, посвятил Гузель.

1966

1.01.66

Новый год встретил в клинике Совета министров. Накануне вечером сломал ногу. Но мою долю — полстакана коньяка — принесли.

3.01.66

Сегодня пришли Фардана, дети. Больные пытаются шутить — наверно, это и есть оптимизм? Поздравительные телеграммы прислали из Казани Габдрахман Минский, Амирхан Еники, много уфимских. Слухами мир полнится — все тут обсуждают нелепую историю с Сюндекле: привязался в ашхане к какому-то человеку из Аургазов, говоря, что тот украл у него яйцо! Передают эту новость из уст в уста как анекдот — надо же как-то себя развлекать. Кстати, Сюндекле и сам сюда попал, заходил ко мне в палату пару раз. А 2 января положили Кадыра Даяна с сердцем.

5.01.66

Сегодня приходили Назар Наджми и Гилемдар Рамазанов, рассказали последние новости: как Мустай съездил в Турцию и про то, что на партбюро разбирали Ибрагима Абдуллина за плагиат. Два писателя. И две истории.

6.01.66

Нога болит. Гипс тяжелый. День длится долго. В палате товарищ Н. очень капризен, хочет, чтоб все было по нему. Все больные, особенно инфарктники, курят втихую, врачей боятся. А я курю открыто, мои инфаркты позади, да и хлопотно это — все время прятаться.

9.01.66

Сегодня воскресенье. В больницу пришли Фардана с Касымом Азнабаевым. Касым принес смородину. Рассказал, как прошло его 60-летие. Очень доволен, присвоили ему «Заслуженного деятеля культуры». Пожилому человеку любой знак внимания души греет. Заодно вспомнил и своих врагов — как же без этого...

10.01.66

Секретарь райкома г. Давлеканово Тартыков принес гостинец — казы (конский сальник). Наверно, поэтому я всю ночь видел во сне лошадей. Врач сказал, что на этой неделе гипс снимут. Хорошо бы, надоел страшно.

Сегодня заходил Сюндекле, не хочет выписываться! Говорит, еще бы недельку отдохнуть. Странно, конечно: больница не дом отдыха. Сообщили о смерти Шастри. Тяжело перенес эту весть, всегда следил за его выступлениями по радио. Заходил врач с ним долго говорили, не столько о моей ноге, сколько о смерти Шастри.

День длится бесконечно, на душе тревожно. Заходил Сюндекле, сообщил, что напали на А. Ихсана. Сам Ихсан высказывается в том духе, что, может, мол, нападение организовал И. Абдуллин. Смех, да и только.

12.01.66

Познакомился с больным по фамилии Балабан. Начальник строительного треста и вдобавок какой-то большой спортивный судья. Интересный человек. Всех знает, со всеми знаком. Знает даже татарскую литературу, и с историей Башкирии знаком. Бывают такие, которые обо всем что-нибудь да знают. Это хорошие, любознательные люди.

Сегодня из больницы выписывается Сюндекле, хотя и не хотел — видимо, привык к больничной жизни. Говорят, человек порой и из тюрьмы не хочет на волю — настолько свыкается с неволей. Боже сохрани, и на курорте-то надоедает.

14.01.66

Полдня прошло. Все лежу, жду, когда придут менять гипс. Готовлю себя к боли, курю часто. Гипс поменяли, ногу немного выпрямили. Я думал, будет больнее, меня тут напугали. Надоела эта больница. Сосед, что лежит рядом, постоянно просит курить, а мне запретили ему давать. Тяжело, оказывается, когда мужчина так умоляет и кланчит, не знаю, куда и деться.

16.01.66

Сегодня были Фардана, Мустай, И. Абдуллин. Мустай приехал из Турции. Оказывается, встречался с Заки Валиди, говорит, что его там не любят. И сам он про Башкирию ничего не спрашивал, значит, не скучает по родной земле. Абдуллин считает, что его несправедливо обидели. Избитый человек никогда не скажет, что его побили за дело.

17.01.66

Сегодня в больницу приходил товарищ Х., большой человек. Заглянул в пару палат, поинтересовался из вежливости здоровьем нескольких человек. Как ушел, все давай наперебой доказывать, что это именно к нему он приходил. А приходил-то, оказывается, к начальнику строительного треста, Балабану, поскольку дачу строит. Вполне чеховская тема. Но и для нас, думаю, «ничаво»!

18.01.66

Позвонил в редакцию «Хэнэка», поговорил с машинисткой. Оказывается, про мою ногу ходят легенды. Когда я был там в последний раз, перед самым праздником, пошутил, что, наверно, как и все, ногу сломаю. И сломал. Так что вначале известию не поверили. Товарищ Н. сомневается, что я веду дневник, – думает, что про него пишу. Странные попадают люди.

19.01.66

Перед отъездом в Москву приходил Рубен. И, какая жалость, его не пустили. Передал кучу гостинцев и написал в записке, что для моей детской книжки сделал иллюстрации. Хорошая новость. Книга Агишева оформлена Агишевым, это впервые в моей жизни.

21.01.66

Сообщили, что завтра выпишут. Дождался. А то ешь да лежишь, больше и дел нет. А лежать для меня – тяжелое наказание. Ни о чем больше думать не могу, только о выписке. Пошел со всеми прощаться, весь день только и делаю, что прощаюсь.

23.01.66

Дома уже второй день. Много пришло писем. Есть интересное от пионеров села Абсалям Аургазинского района. Спрашивают, в повести «Земляки» Хай Аургазин не их ли земляк. Так оно и есть. Был такой Габдельхай Султанов из деревни Абсалямovo Уршакской волости. В начале революции он добровольно ушел в Красную Армию и сменил фамилию на Аургазина. Тогда этот случай всех нас, особенно Мусу Джалиля, здорово задел за живое.

25.01.66

На редкость бессмысленный день: ни по радио, ни по телефону не услышал ничего нового. От тоски позвонил И. Абдуллину, он по телефону прочитал свой рассказ. Неплохо, но чувствуется нелюбовь к людям. Может, какие-то внутренние его переживания так сказываются. Написал письмо в издательство «Советская Россия», поинтересовался судьбой сборника.

26.01.66

Пишу письма, чтобы руку вновь приучить к карандашу, а зад – к стулу. Написал Абуршину, агроному из Татарии. Он всегда пишет мне длинные, хорошие письма, любит вспоминать интересные эпизоды своей молодости. В последнем письме неожиданно вспомнил одну мою эпиграмму, написанную еще в детстве!

27.01.66

Пришла Раиса, поменяла гипс, ноге сразу легче. После обеда, возвращаясь из Главлита, завернул ко мне Рамазан Усманович Кузиев. Он написал серию очерков о пленных



в годы Великой Отечественной войны, тех, что сидели в «Бухенвальде». Рассказал, как помог героям своих очерков: оказывается, он это делает по методу Сергея Смирнова.

28.01.66

Сегодня получил сразу два приглашения. Одно — на 40-летие Оренбургского татарского театра, второе — из деревни Тозлокош Белебеевского района. Приглашают на конференцию, которую проводит средняя школа по моей повести «Земляки» в связи с 60-летием Мусы Джалиля. Оба приглашения порадовали. Особенно приятно, что до сих пор вспоминают меня в Оренбурге, где я учился в медресе «Хусаиния». Приглашают и товарищи, с которыми учился. «Хусаиния» действительно дала области много кадров.

29.01.66

Из Казани от друга Габдрахмана Минского получил письмо. Они хотят пригласить меня на юбилей Мусы. Казанское радио прислало программу вещания с указанием передачи по моим «Землякам», она будет 30 января. Сегодня из общества «Знание» пригласили выступить с воспоминаниями о Мусе, у них будет вечер, ему посвященный. Приходил И. Абдуллин, долго сидел, принес коньяк, но не пили.

Республиканская библиотека пригласила на вечер, посвященный Мусе. Сказал, что не смогу пойти из-за ноги. Знают ведь уж...

31.01.66

Сегодня написал и послал по просьбе «Социалистик Татарстан» небольшую зарисовку о Мусе, мог бы и побольше, но им нужен был небольшой объем. Из «Кызыл тана» позвонил А. Атнабай с такой же просьбой. Сел писать для них. Звонили еще из «Башкортостан пионеры», и им надо будет написать. Звонила Мукарама, я ее просьбы всегда стараюсь выполнять.

1.02.66

Закончил материал для газеты «Кызыл тан», сделал в форме ответов на вопросы. Поскольку учащиеся проводят конференцию, посвященную 60-летию Мусы, то и вопросы в основном по «Землякам».

Звонили из Москвы, то ли из газеты, то ли из издательства «Советская Россия», не расслышал. Интересовались, могу ли добавить еще что-нибудь к тому, что уже написал о Мусе. Жаль, не договорили — телефон забахлил. Очень жаль...

Вечером опять позвонили, оказывается, не из «Советской России», а из «Литературной газеты», нормально поговорили.

2.02.66

Все просят, отказывать не хочется — есть что сказать, а писать-то нужно по-разному. В «Кызыл тан» написал в шуточной форме.

Приехал Рамазанов из Киева с юбилея Павло Тычины, вспомнил, как в 1944-м мы с Тычиной подрались. Неожиданное воспоминание о большом поэте.

9.02.66

Из «Советской Башкирии» попросили написать что-нибудь юмористическое о современном «Уфа — Оренбург». Я, не подумав, сходу согласился. Весь день провел в кресле, думая, как бы это сделать. Напрягался. Вспомнилось многое, придумал даже сказку, но так ничего и не написал. Нельзя вот так обещать, не подумав, а со мной это частенько бывает. Кстати, у меня есть сказка о том, что называется «языком думать», «Про арбуз и картофель».

10.02.66

Закончил заметку по просьбе оренбургской газеты. Написал про свое детство, как участвовал в конных состязаниях на сабантуе.

Давно не писал рассказов, о повести уж и не говорю. Странное дело: и сюжет есть, а не идет, все кажется: начну писать — скачусь в натурализм.

Хочется в баню. Фардана придумала: ногу в гипсе обмотала клеенкой, меня посадила на табурет, который поставила в ванну, — таким вот мудреным способом помыла. И

опять вспомнился Тукай: «Почему во Вселенной есть баня для тела, а для души бани нет?» Да, и душу не мешало бы согреть.

14.02.66

В 1921–1925 годах в Оренбургском педтехникуме, тогда он назывался БИНО – Башкирский институт народного образования, – нам русский язык преподавала Мария Николаевна Стефанова, которая сейчас живет в Уфе. В связи с ее 70-летием от имени правительства Башкирии написали поздравительное письмо. Нас, оказыва-ется, много. Есть люди, которые сейчас занимают высокие должности. Жаль только, что русский язык хорошо знают два-три человека. Видимо, в техникуме на русский мало обращали внимания. Как недалековидно.

15.02.66

Сегодня в газете «Советская Башкирия» вышла моя статья о Мусе Джалиле. В «Кы-зыл тәне» Баязит Бикбай написал о своем знакомстве с Мусой. Все это приятно. По московскому радио была передача о Мусе. Концовка, можно сказать, просто моя. Будь она пораньше моей, меня бы еще и обвинили в плагиате.

Все газеты большое внимание уделяют Мусе. Хорошо!

17.02.66

Сегодня из Оренбурга вернулся Назар Наджми. Он там провел торжество Мусы. Был и в моих родных местах – в Шарлыке и в медресе «Хусаиния». В «Литературной газете» сообщили о выходе моей повести «Земляки» на русском и татарском языках. До сих пор только и делал, что писал воспоминания о Мусе. Только вчера написал маленький рассказ для «Хәнэка», а сегодня по просьбе «Кызыл тана» начал писать про то, как надо читать литературные произведения со сцены. Они любят мое чтение и думают, что могу дать со-веты. Я вообще-то и сам это дело люблю, еще с Казанского театрального техникума.

20.02.66

Первый раз в жизни смотрел по телевизору соревнования мотогогонщиков. До этого неожиданно для себя поругался с некоторыми, которые уверяли, что мотогонки – это и не спорт, и не сцена, хотя я в этом, конечно, ничего не понимаю. Но такое увлекательное зрелище, черт возьми, что смотрел не отрываясь, забыв обо всем на свете.

По телефону с Сайфи-агаем поделились впечатлениями от казанских торжеств, ко-торые транслировали по радио. И ему, и мне понравилось.

22.02.66

Пытаюсь бросить курить. А во сне вижу, как курю. С ногами – тоже: два месяца в гипсе, а вижу во сне, будто хожу легко, можно сказать, летаю. Говорят же в народе: ку-рица во сне просо видит.

Сегодня с «ящика» звонили девочки, все благодарят за вчерашнюю встречу, говорят: «Было так хорошо, так легко!» После таких слов и мне стало весело. Много ли человеку надо?

24.02.66

Сегодня меня удивили два моих товарища, но один со знаком «плюс», а другой со знаком «минус». Минский из Оренбурга прислал портретные рисунки, связанные с Му-сой, среди них и те, что ему самому подарили. Знал, как я хотел там быть, и хоть так решил меня порадовать. А Наджми для меня дали памятный значок, выпущенный ко Дням Джалиля. Так он этот значок отдал Загиру Исмагилову! Что же, спросил я, ты Ис-магилову свой не отдал. А я, говорит, свой потерял. Что на это скажешь? В этом возрасте человеку уже ничто не объяснишь. Мелочь, а осадок остался.

Из Оренбурга прислал и мне статьи, посвященные Мусе. Долго говорили с Сайфи-агаем по телефону, не утерпел, рассказал о таком небрежении Назара.

День холодный, буран.

25.02.66

Сегодня весь народ в городе взволнован. В проходящих международных соревно-ваниях в Москве чемпионом мира стал молодой человек из Уфы, Габдрахман Кадыров.



По телефону в связи с этой радостной вестью позвонили несколько солидных людей. Вышел на улицу, постоял возле ворот – все только об этом и говорят. Маленькие дети и пожилые старухи – все радуются победе земляка.

Обычно почтальон просто кладет газеты в ящики. А сегодня стучит в каждую дверь и сообщает об этой новости: наш, говорит, победил!

27.02.66

Сегодня ни особой работы не было, ни приятных новостей не услышал.

Погулял на улице, встретил нескольких знакомых, что вчера были на торжествах Мусы Джалиля. Многим не понравилось выступление Гайнана Амири, который сообщил всем об отношениях Мусы и З.; ей, это, конечно, тоже не понравилось. Возмущается: «Что за человек этот Амири? На одном съезде огласил письма Хадии, не предназначенные для широкой публики, и этим оставил у многих неприятное впечатление...»

28.02.66

Уже шесть вечера, сел за дневник, а что писать, если ни полезного дела, ни приятного сообщения, ни даже смешного слова не услышал? Позвонил в несколько мест, но так никто ничего интересного и не сказал. Единственное, хорошо поговорили с Рагидой Ямбулатовой. По радио послушал отрывок из романа «Девон» Нагаева. Главный герой романа похож на академика Губкина. Оказывается, можно писать романы и на производственные темы.

Зима кончилась. Оторвал последний февральский лист календаря – я регулярно это делаю каждый вечер, – а там уже весна, картинка весенняя. Посмотрим, что принесет первый день весны!

3.03.66

В «Кызыл тане» попросили написать рецензию на книгу Гилемдара Рамазанова «Творчество Мажита Гафури». В последнее время я полюбил эту газету, она действительно стала хорошей. К тому же ее сотрудники с большим уважением относятся к авторам. Не смог отказать. Книга очень толстая, а читать-то можно лишь глазами Фарданы. Сегодня читали весь день, написать будет нетрудно, главное – суметь прочитать. Гилемдар много сил в нее вложил, она написана как докторская диссертация о Гафури. Но и он не входит в лабораторию писателя, мастерство обходит стороной.

10.03.66

Сегодня скончался Мухаметша Бурангулов. Заслуга этого человека, которому выпала нелегкая судьба, в том, что он первым выпустил книгу на башкирском языке. Первым написал либретто для оперы. Фольклорист-импровизатор с большим чувством юмора. Но его смерть многие восприняли равнодушно. Один слепой Батыр Валит не в силах скрыть свое переживание.

Целый день не выходит из головы М. Бурангулов. Со стариком в Давлеканово мы вместе работали. И в годы войны были вместе. В последнее время я к нему и пойти-то не мог, все болел. Говорили, что он никого не узнает. Похоронами занят Батыр Валит.

11.03.66

Фардана ходила на похороны Бурангулова. Батыр Валит посвятил ему стихи. Весь день с Фарданой вспоминали Мухаметшу-агая, молодцовый был старик.

20.03.66

Сегодня воскресенье. Объявили дворовый субботник. Глава нашего подъезда Самига-ханум – злующая женщина. Раньше ее муж был большим милицейским начальником. Всех выгнала на улицу. И меня с хромой ногой. Я там всем только мешал.

25.03.66

Сегодня открылась областная конференция учителей языка и литературы. Очень много знакомых. С Оренбуржья тоже. Из нашей деревни приехали дед Латып с дочерью Зифой. Много тех, что учились у меня в Давлеканово, Серменево, Сантбабе. Встречали очень сердечно, говорят, помнят, скучают. Вечером состоялся литературный вечер, посвященный этому событию. Везли исключительно на машине, с большим почетом. Приятно.

20.04.66

Получил через Сайфи-агая из Алма-Аты письмо от казахского писателя Жакына Садыкова. Просит мою книгу «Земляки», хочет перевести. Написал ему — наполовину по-казахски, наполовину по-татарски. Раньше казахский язык знал прилично, сейчас подзабыл.

В библиотеке слепых меня записали на магнитофонную пленку — читал стихи Тукая и несколько своих, написанных в молодости.

Пришло очень теплое письмо из Казани от Габдрахмана Минского. Послал Амири юбилейную марку Мусы Джалиля.

6.05.66

Сразу, как услышал о ташкентском землетрясении, дал телеграмму Н. Хафизову. Ответа до сих пор нет. Переживаю. Рубен тоже улетел в Ташкент к своим, и он молчит. Вспомнил стихи одного тюркского поэта в переводе Марата Каримова. Что-то типа: «В этот мир мы пришли поодиночке. И отец мой, и я, и мой сын. В разное время и в разных местах. Были по-своему счастливы. А ушли из мира вместе, когда взорвалась атомная бомба». ... Такое могло произойти и во время землетрясения.

17.05.66

Пригласили на встречу в школу для умственно отсталых детей. Не смог отказать. Вечер прошел живо. Один мальчик спросил: «А умственно отсталые люди могут быть поэтами?» Чуть не сказал, что только они и бывают.

3.06.66

В парке Луначарского неожиданно встретил друга юности режиссера Габдуллу Юсупова. Он работает в Альметьевске, собирается сюда на гастроли. Вспомнили одноклассников, с которыми учились в Казани. Такие разные судьбы. Многие погибли на войне. Особенно интересна судьба Ландышева. Мы его называли гермафродитом, поскольку в жизни он совмещал две роли, мужскую и женскую. Обе «играл» хорошо. Детей вырастил. Вообще, был хорошим мужиком. Сейчас постарел. Много, многое вспомнили.

5.06.66

Все мы, и дети, и внуки, приехали в палаточный лагерь ВТО, недалеко от санатория «Юматово». Утром сходил в санаторий, принес две бутылки кумыса. По дороге встретил Сайфи-агая. Он критиковал записи Юсуфа Гарее о Тукае.

С Зайтуной Бикбулатовой вспоминали прошлое, было весело. Здесь же отдыхает и режиссер Шаура Муртазина. Видно, умница, интересно с ней говорить.

Приехал сюда отдыхать из Москвы отставной подполковник Галим Мухамедьяров. Он каждый год здесь. Его все очень ждали. Интеллигентный, приятный человек.

Сначала дни тянулись медленно, несмотря на то, что мы с Зайтуной-ханум Бикбулатовой коротаем время за разговорами — она тоже любит поговорить. А сейчас — ничего, привыкли. Вечером собираемся всем табором у костра, тут же — студенты Шауры. Я им дал прозвища. Один — Леонардо да Винчи, а другой — Эпоха Возрождения. Им моя выдумка пришлась по вкусу, они любят общаться. Женя Петров, который и есть да Винчи, весьма симпатичный и, чувствуется, одаренный. Шаура подтвердила, сказала: «Самый талантливый».

13.06.66

В лагерь приехала мать Шауры Муртазиной, жена легендарного генерала Муртазина. Интересная женщина. Много повидала. Буденного по-свойски зовет Семен Михайлычем.

21.06.66

Сегодня отплыли на пароходе в Казань. Сайфи агай, Назар Наджми с женой и мы с Фарданой и Гузель. Провожали нас дети Сайфи-агая.

Только отчалили, Назар пригласил в гости в свою каюту. Отличный стол организовал. Здорово посидели. Из серебряных рюмок пили коньяк, ели курицу. Болтали обо всем на свете. Очень взволнованно — о Тукае.



26.06.66

Ездили в Кырлай, на родину Тукая, там его музей. Был большой митинг. Вечером в кырлайском лесу устроили шикарный банкет. Я выступал. Когда уж собрались уезжать, подвигла группа людей, попросила опять выступить. Прочитал «Пар ат» Тукая, встретили на ура. Гузель вдруг вылезла: я, говорит, тоже могу прочитать стихи Тукая. Прочитала «Кубэлэк» и «Беззен Гали бигерэк татыу кээз менэн...».

28.07.66

Сын Асмана Галеева с матерью и женой пришли к нам. А. Гали был очень интересным писателем и артистом. Виль рано осиротел, сейчас ищет людей, хорошо знавших отца. Я ему отдал рукопись пьесы Асмана, которую хранил у себя. Пьеса называется «Ответ». Она ставилась на сцене, но никогда не была опубликована. Ее практически никто и не знает, может, я да еще пара человек. Виль заплакал.

Единственная отрада – радио, его будто специально для таких, как я, изобрели. Слепых и тугоухих. Сейчас передавали стихи Бернса в переводе Маршака. А так ничего интересного. Курю одну за другой и вспоминаю прошлое.

19.08.66

Сегодня Баки-агай Урманче гостил у нас вместе с Сайфи-агаем и Ахнафом Харисом. Очень красиво посидели. Днем в Минкулъте Баки-агаю показали скульптуру Бабича. Жаль, наш министр культуры некультурный человек, не способен понять даже очевидные вещи.

17.09.66

Назар Наджми написал очень хорошее стихотворение – «Татарский язык». Как бы ответ Смелякову. Обещали напечатать в «Кызыл тане». Обрадовался. Думал, побоятся.

19.09.66

Через десять дней Габдрахману Минскому исполняется 60 лет. Из «Кызыл тана» просили написать о нем. Целый день хожу, думаю. В литературу мы с ним пришли в одно время. Тогда в Казани я подружился не только с ним, но и с Такташем, Кутуем, Туфаном.

Прислали из Москвы сигнальные экземпляры книг «Махмутов» и «Рассказы» на русском. Красиво оформили, целый день восхищаюсь.

Вчера по телевизору в передаче «Народный университет» показали веселую передачу обо мне – кого ни встречу, только об этом и говорят.

21.10.66

«Тяжелые дни настали для башкирского народа», – с пафосом писал Юлай Азналин. Вот и для меня настали тяжелые дни. Нет радости. Мне 62 года, вся радость – в литературе. Раньше частенько случались хорошие стихи и рассказы... Хотя всю жизнь моей радостью была Фардана. Всю жизнь я ее люблю.

31.10.66

Прочитал в календаре: «Видному татарскому драматургу Мирхайдару Файзи исполнилось 75 лет». Вспомнил, как в 1928-м в летнем театре, что в парке Луначарского, я играл в спектакле «Галиябану» Исмагила, когда вдруг прилетела весть о смерти Мирхайдара Файзи. Мне поручили объявить эту тяжелую весть со сцены. Я объявил. Ему было всего 37.

10.11.66

Получил письмо от редактора журнала «Огни Казани». Просит написать воспоминания о Галимжане Ибрагимове. Я его видел лишь один раз, в 1926-м, но даже сейчас будто слышу его голос. Незабываемое впечатление оставила та встреча.

13.11.66

Был в библиотеке для слепых. Встретил там музыканта Муртазу Зарипова. Мы с ним шесть лет не встречались. Удивительный человек. На мое: «Здравствуйте, Муртаза-агай!» – ответил: «Очень хорошо, Агиш!» Узнал по голосу.

17.11.66

На авторитетном собрании, прошедшем после заседания Верховного Совета, почему-то мне поручили написать статью «Башкирская литература за 50 лет». Для сборника. Чтобы написать такой солидный труд, нужно прочитать много современных вещей, ведь нужно показать, как и с чего начиналась эта литература, к чему пришла. А я сейчас вообще читать не могу, абсолютно не вижу. Так что это была неправильная идея мне поручать. Думал много на эту тему, решил написать так, как подсказывает собственное чутье. Начал сердечно и шутливо, перечитал — вроде бы живо получается. Суметь бы до конца выдержать эту интонацию. А знаю-то, оказывается, достаточно прилично...

Получил очень интересное письмо от Парваз Абдрашитовой, знакомой моей молодости. Тут же написал ответное.

Отнес в Союз рекомендацию для Яруллы Вали. Он прочитал и говорит: «Эх, по-русски бы это написать!» Почему-то думает, что по-русски прозвучит мощнее. Встретил там Гилемдара Рамазанова, у него 8 декабря защита докторской о М. Гафури. Сильно благодарил за рецензию в «Кызыл тане».

8.12.66

Приглашали в Президиум Верховного Совета опять по поводу того сборника и статьи «Башкирская литература за 50 лет». Я же, объясняю им, не историк, не критик. А нам, говорят, нужны мысли писателя. Раз так, решил ту начатую статью продолжить.

9.12.66

Пишу для сборника к 50-летию Октября. Тяжелое это дело. Если уж сшил халат, то трудно его переделать в костюм. «Костюм» им нужен парадный, чтоб язык был казенный, совсем не человеческий.

11.12.66

Сегодня день рождения Фарданы. Ей исполнилось 59. Живем мы с ней 37 лет. Дети, друзья пришли с подарками. Гузель нарисовала очень красивый рисунок. Сидели весело, вспоминали молодость. Годы, годы... Сколько их утекло.

22.12.66

Весь день прошел в суете с юбилеем Тарифа Гумера, я председатель комиссии этого юбилея. Вечером на Карла Маркса, 6 состоялся вечер. Я его открыл и вел. Достаточно сердечно все прошло.

25.12.66

День теплый, улицы черные, совсем без снега. Некрасиво. Начали приходить поздравления. Первое от друга и теперь уже доктора наук Гилемдара Рамазанова.

Ходил на почту, хотел купить поздравительные открытки, но уже все раскупили! Это хорошо, значит, люди торопятся поздравить друг друга.

30.12.66

Фардана готовится к Новому году. В этот день наш дом всегда ломится от гостей, это уже традиция. Значит, людям с нами хорошо. Она принесла с рынка огромного сома, пирог будет стряпать. Сестренка Гинап из Баймака прислала жирную конину и гуся. Похоже, стол будет богатым.

В первый день Нового года сразу в трех газетах выйдут мои вещи.

Телеграммы и открытки продолжают приходить. Оказывается, я некоторых забыл поздравить. А они не забыли.

1967

2.01.67

Новогодний праздник кончился. День очень холодный, а снега все нет.

Исполняется 60 лет оренбургской библиотеке имени Ямашева. Ее работники нашли в картотеке мое имя. В своем письме просят, как одного из старейших читателей, написать им свои воспоминания. Эту просьбу с удовольствием выполнил, так как с татарской литературой впервые познакомился именно там, в 1917 году — с Ш. Камалом, Х. Такта-



шем. Тогда же впервые увидел и познакомился с К. Тинчуриным, Мангушевым, композитором С. Сайдашевым. В библиотеку эту мы всегда ходили вместе с Мусой Джалилем и Габдуллой Амантаевым.

В Казани вышел сборник воспоминаний к 80-летию Галимжана Ибрагимова. Говорят, есть и моя статья. Похоже, взяли из газеты, так как я для сборника не писал.

5.01.67

Злополучная статья о башкирской литературе директору Башгиза Куватову покоя не дает. Убери, говорит, весь юмор. Разозлился и написал рассказ о таких, как он.. Назвал «Знак препинания».

7.01.67

С 11 до 16 часов проходило бюро обкома партии. Члены бюро слушали доклады, выступления писателей о подготовке к 50-летию Октября. Многие поднимали гонорарный и дачный вопросы.

Я тоже выступил. Говорил, что башкиры, живущие вне республики, далеки от национальной культуры.

А в семье готовятся к моему дню рождения: пекут, варят – пахнет вкусно. Гузель подарила рисунок. Вечером ждем гостей.

20.01.67

Сегодня опять пригласили в Башгиз. Попросили, чтоб в статье «Башкирская литература за 50 лет» назвал некоторые книги и фамилии и похвалил их. Но я же, говорю, этих книг не читал. Зачем же, отвечают, читать? Прочти статью секретаря обкома Сайранова в книге «Очерки истории Башкирии», и напишешь. Я сказал, что Сайранов сам писал не читая. Да и не писал вовсе, за него написали люди, о которых в книге говорится. Смешно и стыдно мне этим пользоваться. Людям, говорят, надо верить. Демагогия, в общем. Что касается литературы, я ничего на веру не принимаю, слишком к ней серьезно отношусь. Короче, опять никакого взаимопонимания, и откуда только на мою голову свалилось это задание!

23.01.67

Отнес в журнал «Агидель» небольшую статью о Галимжане Ибрагимове. Потом зашел в «Хэнэк», прочитал несколько новых стихов. Назар забавную вещь написал, можно посмеяться. Остальные стихи не понравились.

24.01.67

Дни холодные. Утром ходил на укол, страшно замерз.

Днем прошло заседание «Хэнэка», говорили о подготовке к 50-летию. Предложил выпустить сборник «50 рассказов». Туда должно войти только новое, написанное в этом году. Сборник не должен быть разовым, а выходить ежегодно. Идея понравилась. Решили также выпустить книгу эпитаграмм.

25.01.67

На улице – минус 31, холод пробирает до костей. А редактор «Хэнэка» просит теплый рассказ к 50-летию. В такой мороз и холодная статья не пишется, из числа тех, что так любит Куватов, не то, что теплая. Если я с кем-нибудь не встречу, не поговорю, не услышу что-нибудь новое и радостное, я вообще работать не могу. Позвонил нескольким приятелям, но и они не сумели согреть душу, ни одного теплого слова не нашли. Похоже, тоже мерзнут.

Кое-кому из друзей написал коротенькие письма, хотел согреть. Холодно, холодно, друзья, на этом свете!

Солнцепек Газима Шафикова...

Выстрел — мгновение: раз — и нет. А вот слово, молвленное мгновенно, остается надолго. Оно — или лекарство для страждущих, или пуля, бьющая наповал.

Наверное, я слишком поздно задумался о предназначении поэта на Земле. Блеснет молния и погаснет. Проплывет облако и прольется дождем. Пройдет пахарь по весенней пашне — и всходят благодатные посевы. Колдует над строчками поэт — и светятся в людских душах добрым светом его стихи.

В пятидесятые годы Уфе на русских поэтов не везло, просто их почти не было. И вот именно тогда, в середине пятидесятых, с трудом стали появляться в уфимской печати Вадим Миронов, Геннадий Молодцов, Рамиль Хакимов, Лира Абдулина. В эти же годы более-менее активно начал публиковаться и я. Вслед за нами шли Роберт Паль, Станислав Сушевский, Эдуард Годин, Юрий Дерфель.

Но одним из самых противоречивых, непредсказуемых был Газим Шафиков. Он очень рано, со студенческой скамьи, быстро вошел в литературные круги, много публиковался. Также рано и с такой же легкостью и доверчивостью влип в богемную мясорубку Уфы.

Мы познакомились с ним в те годы легко и открыленно. Я был молод и горяч, а он был еще моложе и намного горячее меня. Однажды летним днем безумный солнцепек свел нас в парке Якутова на берегу прогнившего озера.

— Давай искупаемся, — засверкал он ключими глазами.

— А что, давай, хорошая идея, — ответил я и стал раздеваться.

Мы с мостков прыгнули в воду. Поплыли. Слышим издали металлический крик милицейского рупора: «Пост номер

один! Пост номер один! Задержать купальщиков!»

Мы быстро выскочили на берег, схватили одежду и прямо в трусах удрали подальше в кусты.

Долго потом хохотали над случившимся, сидя в кафе «Айгуль».

— Слушай, Саша, — разгоряченно спрашивает меня Газим, — ты веришь в свое предназначение? Веришь, что ты настоящий поэт?

Я был как-то смущен прямоотой вопроса. Конечно, наверное, каждый поэт лелеет такую надежду, но тогда высказать свое сокровенное я не осмелился и ответил что-то невнятное.

Газим же окрылился, вдохновенно и даже как-то самоуверенно сказал:

— А я почему-то верю! Мне кажется, что напишу, напишу эту самую проклятую строчку, которая будет будоражить и жечь!

Уже с тех молодых лет Газим Шафиков глубоко задумывался о назначении поэта. Его познаниям в области истории, литературы, фольклора, начитанности и эрудиции в те годы мог бы позавидовать каждый из нас.

По жизни мы стали друзьями. Дороги наши вились рядом — то в Союзе писателей, то в редакции. Хотя... наши эстетические воззрения, конечно же, разнились. Мы спорили до прямых ссор, отстаивая каждый свое.

Помню, прочитали в «Литературной газете» стихи Л. Румарчук. Мне они показались до безумия плохими — как попытка превратить поэтическое слово в абстракцию. В стихотворении толковалось, что ее, поэтессу, не понял читатель.

Я плюнул и сказал:

— Если читатель не понял писателя, тогда зачем писать!



— Нет, ты неправ, — оспорил Газим, — без проб и ошибок нет и достижений, нет развития.

— Но зачем эти «пробы и ошибки» читателю?

— Абстракция вообще присуща миру художника, а музыка, например, вся сплошь абстрактна, — говорит Газим.

Я перебиваю:

— Однако в поэзии, и вообще в литературе, абстракция абсурдна. И авторы таких произведений, где перевернуты вверх ногами и форма, и содержание, прикрываясь термином «свободный стих», творят несуразное, забывают, что в любом слове заключено определенное понятие, а значит, и мысль. То есть в слове нет абстракции: если ты сказал «воробей» или произнес «солнце», то можно ли упрятать суть этих слов за туманную абстракцию, придать словам новые понятия?

— Пусть само слово не может быть абстрактным, — горячится Газим, — но в том-то и сила творчества, чтоб уметь из обыкновенно произнесенного слова создать необычную картину, пусть даже абстрактную.

— Русская поэзия не терпит фальши! — резко отвечаю я. — Она испокон веков выбрасывает из себя все наносное, как море — мусор. Только испорченный вкус да чрезвычайный субъективизм могут отстаивать и защищать подобное, когда какая-то поэтесса пытается ходульность мыслей, а вернее безмыслие, прикрыть некоей «углубленностью» в кавычках...

И таких споров были сотни. И мы росли именно из них.

Потом Газим Шафиков уехал в Москву учиться на высших литературных курсах института имени М. Горького. Два года общения с выдающимися мастерами слова, слушание блестящих лекций специалистов вливали в него новые творческие порывы. И до этих курсов он достиг уже немалых успехов в поэзии, публицистике, прозе. Но эти два московских года явились каким-то незримым, но решающим барьером между молодым Шафиковым и между Шафиковым-мастером. Он освоил новый жанр — драматургию. Восемь его пьес с триумфом прошли по сценам театров республики.

В башкирской литературе имя Газима Шафикова стоит несколько особняком. Все его творчество, до краев наполненное национальным духом, дает основание утверждать, что он — писатель сугубо башкирский. И это действительно так, хотя пишет он свои произведения на русском языке.

Я часто задумываюсь над вопросом причастности писателя к той или иной литературе. Все же язык остается главным ее инструментом. Его глубины, потаенный ход естественной речи, яркие краски, всевозможные языковые тонкости, нюансы — все это впитывается в кровь и плоть с молоком матери. Но вот случилось так, что с раннего детства увлекшись литературой, начав писать стихи, Газим обратился к русскому языку. И случайности в этом нет.

Отец поэта — Шафиков Газиз Хафизович, крученный-перекрученный бурями войн и революций, в суровые тридцатые годы попал под зоркий взгляд органов безопасности. Вместе с семьей ему пришлось бежать со своей родины в далекую Киргизию. Так что детство будущего писателя прошло в аиле Кыр-Казык в Таласской долине. Суровые каменистые скалы. Река Таласс, бурно и непокорно летящая по ущельям. Даже есть какая-то символика в том, что здесь же — родина всемирно известного Чингиза Айтматова. «Именно с Кыр-Казыка берет начало моя человеческая память, оставшаяся жить во мне навсегда», — вспоминает писатель в повести об отце.

Газим был последним из двенадцати детей. Девять умерли, не дожив и до трех лет. Подумать только! Даже не зная ничего из жизни этой семьи и зная лишь один факт, что девять из двенадцати детей умерли — можно представить, какова была тогдашняя судьба беженца с родины — потенциального «врага народа».

Там, в хрустальных горах и зеленых долинах Киргизии, слышалась русская, киргизская, даже татарская речь, а родная башкирская слышалась только дома. Тихими вечерами слушал он голос матери, читавшей стихи Тукая, Акмуллы, Бабича. Может, отсюда истоки поэзии Газима Шафикова?

Школа, потом университет настолько укрепили знания русского языка, что и

он становится родным, а Газима причисляют к отряду русскоязычных писателей. Тем не менее, по самому духу своих книг, по мучительной боли за судьбу народа он остается сугубо национальным, башкирским писателем.

К началу 90-х годов Газим Шафиков пришел зрелым творцом, во всем блеске своего таланта, истинным гражданином со своими убеждениями, взглядами на происходящую ломку жизни. Газим Шафиков расправляет крылья, активно включается в борьбу за суверенитет республики. Статьи его публикуются практически во всех газетах, сам чуть ли не ежедневно выступает по радио, на телевидении. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» — как сказано в Евангелии от Иоанна. И он действительно светился, речи его были пронзительно прямы и доходчивы. И народ поверил ему...

Часто в эти тревожные, бурные годы мы бывали вместе. Помню, улицы Уфы заполняли толпы людей. Бушевали митинги. Сам воздух был наполнен жадой нового. Мы, несколько писателей, Динис Буляков, Булат Рафиков, Газим и я, находились на встрече с приехавшим сюда Ельциным. Беседа длилась без малого часа три. Говорили больше мы, кипятились, чего-то требовали. Будущий президент, в те годы еще красивый как мужчина, статный, больше молчал, кивая сильным подбородком.

Тут же, неподалеку от здания Общественно-политического центра, где проходила наша встреча, на площади у памятника Салавату, молодые ребята из Зауралья, приехавшие в Уфу, раскинули на площади юрты и объявили голодовку, требуя отсоединения Башкирии от России. И вот мы, как два парламентария с белым флагом, проходим к этим голодающим ребятам, одну за другой обходим юрты, беседуем, убеждаем.

— Что вы творите, балалар, ребятишки! — хриловато, с металлическим оттенком говорит Газим. — Лбом стену не расшибить, камчой дугу не перерезать! Кончайте детский базар... Сам Рахимов знает о вас, о ваших требованиях и сегодня, в эти вот часы говорит с Ельциным

о всех поставленных проблемах. Этот самый сложный вопрос решит время...

Журналисты телевидения приглашают нас в студию. В прямом эфире мы с Газимом Шафиковым говорим открыто и прямо о боли и беде республики, о ее истосковавшихся по свободе народах.

Парадоксально, но факт: после этого выступления Газима окончательно записывают в список ярых башкирских националистов, мне же приписали имперское мышление, считай, обозвали русским шовинистом. Хотя говорили мы об одном и том же, о насущном.

Любить свой народ, свою Родину, родной язык, поклоняться могилам предков — это не национализм и, тем более, не черный шовинизм, которого, извините, ни в моих стихах, ни, тем более, в сердце, и в помине нет. Если же все творчество поэта Газима Шафикова переполнено до краев духом народа, Урала, Башкирии, то этот «национализм» я только приветствую. Сам такой! А то, что он пишет на русском языке, то это только придает его словам еще большую силу.

Как ни странно, по моему мнению, неограниченная свобода слова и печати нанесла значительный урон развитию литературы современности. Казалось бы, за прошедшие годы пресловутой перестройки должны были появиться новые произведения, со всей мощью раскрывающие нашу действительность, социальную структуру общества, наконец, неожиданные стороны характеров самого человека. Но...

Писатели в большинстве своем ударились в политиканство, к сведению счетов между собой и меж всяческих противоборствующих группировок. Лавина сомнительной в нравственном смысле литературы хлынула неудержным потоком в книжный мир...

Но Шафиков остался самим собой. В эти годы как раз и сказался его талант публициста. Окрыленная душа его раскрылась полностью. Выходят книги стихов, прозы, ставятся пьесы. В публицистике он вплотную подходит к любимой теме — выдающиеся люди, сыны и дочери Башкортостана, попавшие в былые годы под



молах репрессий. В Союзе писателей он возглавил комиссию по делам репрессированных. Сам постоянно работал в архивах КГБ. Итогом этих архивных поисков становятся интересные очерки о Дауте Юлтые, Мухаметше Бурангулове, Тухвате Янаби, Хади Давлетшиной, о выдающемся полководце гражданской войны Муртазие.

Несколько позднее все они войдут в его очерковую книгу «И совесть, и жертвы эпохи». Газим великолепно понимал серьезность поднятой темы, где всегда и на каждом шагу можно ошибиться, неправильно истолковать то или иное событие, ту или иную личность. В предисловии к книге он пишет: «Ни для кого не секрет, что в разные периоды истории, в ту или иную эпоху время течет по-разному: то по-черепашьи медленно, то ускоренно, то настолько стремительно, что за ним не то чтобы угнаться — уследить невозможно... Публицистика сейчас вышла на первое место среди прочих литературных жанров...»

Заканчивая предисловие, он, стараясь быть предельно честным перед самим собой и людьми, как бы заранее просит снисхождения у читателя за какие-либо ошибки, если они найдутся в книге: «...я прошу воспринимать мои очерки в той степени понимания эпохи и людей, какое было присуще автору в пору их написания. Это даст возможность лучше понять его мысли и чувства, как и героев очерков, судьба которых вызывала у него страдание, боль и — восторг!»

Когда я прочитал один из его очерков в газете, то просто не сдержался, и хотя эпистолярный жанр со времени появления телефона исчез из русской литературы, написал ему письмо:

«Здравствуй, дорогой Газим!

Твой очерк о замечательной Хади я прочитал с душевным трепетом. Ты молодец, что вновь и вновь обращаешься к конкретным лицам, так или иначе вошедшим накрепко в историю башкирского народа. Прежний очерк о величественном полководце — Муртазине пробил какую-то брешь в некогда запретную тему. Он

был интересен как первая серьезная попытка обратиться к сложному, противоречивому человеку — истинному порождению своего сурового времени. Личность Муртазина неоднозначна, но это вовсе не значит, чтоб имя его осталось в забвении. Он — не знамя, не икона для башкир, но он — молния, он искренне человечен со своими победами и ошибками, с успехами и падениями.

Хадия Давлетшина — не военачальник, но она была и есть полководец душ. Мне было девятнадцать лет, когда она вновь воскресла, вновь вышла на волю — относительно, конечно. В те годы я о ней не слышал, заговорили о ней позднее. Если бы я знал ее, то именно меня пришлось бы тебе описывать в том месте, где к ней подходит незнакомец и душевно благодарит ее за правдивые, нужные строки.

Она красавица лицом и, действительно, чистейший изумруд душой. Столько страданий, столько бед выпало на ее прекрасную головушку!

Спасибо тебе за мою сердечную радость! Башкиры были и есть боль моей души. Я рос с ними, голодал, хлебнул немало обоюдных бед.

Газим, коль будет у тебя время, попробуй продолжить сериал своих повестей, не останавливаясь на Акмулле и Бабице, напиши еще о Хади, может, и о Муртазине. Пусть живут и среди других народов страны светочи башкир.

15 апреля 1988 года»

Лет за шесть до этого письма, когда Газим Шафиков учился в Москве, у нас с ним произошел довольно значительный разговор. Во время каникул, заглянув ко мне, он попросил прочитать его рукопись. И я прочитал, и мы мгновенно договорились, что я буду двигать его новую книгу в издательство на публикацию. Потому что его новая повесть о Шайхзаде Бабице мне понравилась, и над ней оставалась небольшая работа. Решили так, что он быстро поправит ее, допишет и вышлет мне из Москвы.

Вскоре я получил от него письмо:

«Дорогой Саша!

Если не забыл наш разговор — а я думаю, ты его помнишь, — высылаю тебе рукопись повести о Бабиче “Пора половодья”. К сожалению, конца ее (не журнального варианта) почему-то здесь не оказалось. Видимо, каким-то образом растерял дома. Но дело сейчас не в этом. Я серьезно засел за доработку этой повести, ибо в моем воображении ее горизонты неожиданно (да и неожиданно ли!) раздвинулись. К лету, думаю, завершу всю работу и перепечатаю. Главное, чтоб ты сумел как-то ввести в будущий план, ибо три повести — о Бабиче, Акмулле и Али Карнае, которую, как я тебе сказал, я сейчас тоже пишу (Али Карнай — редактор дивизионной газеты Баш. Кав. дивизии) — как видишь, объединены внутренней связью. Вместо повести о Карнае, которую я условно хочу назвать “Тайна” и куски из которой должны быть напечатаны в “Вечерке”, Роза даст тебе рукопись другой (мне кажется, пока неудачной) повести “Прощание на горе”. Я ей скажу по телефону, и она тебе занесет... Буду тебе очень благодарен, если ты как-то решишь судьбу этой будущей книги. Насколько я знаю, рукопись “Акмуллы” у тебя имеется. Она тоже требует дополнительной работы. Словом, я хочу отнестись к этому очень серьезно, ибо все три повести — дело ответственного, и башкирская интеллигенция не простит ни малейшей погрешности даже в художественной интерпретации.

А вообще, дел по горло. Одновременно пишу пьесу о Бабиче — очень сложная и горькая вещь. Хочу писать с беспощадной правдивостью, не думая о том, будет поставлена или нет. Сейчас не в этом суть. Есть заботы и с постановкой новой пьесы “Квартира” на сцене Башкирского театра драмы имени М. Гафури (наверное, ты в курсе дела).

Ну, ладно, жму руку. Передай привет друзьям, супруге.

С приветом — Газим.

9 октября 1982 года»

Сию, перечитываю письмо, и... мне приятно сознавать, что в его творческой биографии есть и мое присутствие. Я читал первые экземпляры рукописей многих его произведений. Он часто переделывал их, переправлял...

В молодости мне казалось, что удел его — поэзия, переводы с башкирского. Но я всегда подспудно чувствовал — только на поэзии Шафиков не остановится. Его эрудиция, темперамент, большой журналистский опыт потребуют свое. Так оно и случилось...

Между нами семь лет разницы. И в стихах, в творчестве у нас с ним предостаточно разности. В характерах же, по-человечески, довольно много схожести. Отсюда и объяснение, почему мы с разностью взглядов на многие проблемы, и даже горячо поспорив, все-таки вновь быстро находим связующую нить, которая вот уже сорок лет сближает нас.

К своим шестидесяти годам Газим Шафиков успел добавить еще одну, может быть, самую основную страницу творческой биографии. Он создал эпическое полотно — роман «Расстрел».

Наше несчастное поколение измотали постоянные политические перетряски. Мы шли от беспощадной сталинской эпохи, через болтливую хрущевщину и бедную скудость застойно-болотистого времени Брежнева до гибельности горбачевщины.

Души наши покорежились, но не сломались.

Помню, как-то после очередной свары в Союзе писателей зашел я вечером на огонек домой к Мустаю Кариму, говорю:

— Устал я, Мустафа Сафич...

Аксакал башкирской поэзии с теплой суровостью посмотрел на меня, — глаза в глаза, — пророчески предупредил:

— Переступив порог, когда выходишь из дома, никому и никогда не говори этого слова — устал!

Газим Газизович, мы — сыны своего времени — давай-ка вспомним сегодня эти слова большого старого поэта...

Мы не устали!

Август 1999 года

Распрямление человека

I

Ещё В.Г. Белинский так определил своеобразие пушкинской поэмы «Медный всадник»: «Главный герой ее — Петербург».

Поэма о городе... Это значит сказать многое, но еще далеко не все. Чтобы полнее охватить все богатство содержания, стоит рассмотреть предысторию «Медного всадника».

А начинается эта предыстория в XVIII веке, в эпоху первого расцвета невиской столицы, когда её молодая роскошь и динамика производили прямо-таки ошеломляющее впечатление на современников. Многочисленные описания путешественников из Западной Европы, посетивших Петербург, явили миру образ стремительно растущего города с широкими проспектами и великолепными дворцами, где зимой по льду Невы катались на северных оленях, а при дворе царей господствовал версальский этикет.

Европу поразил «ледяной дом», построенный в 1740 году для свадьбы шуца Кульковского (князя Сергея Голицына) с шутихой-калмычкой Бужениновой. Поэт В.К. Тредиаковский по воле царицы написал для этой свадьбы эпиграмму, которая начинается словами: «Здравствуй, женившийся, дурак и дура!» Театральность и фантастичность города, разыгрывающего какой-то дикий спектакль в безумном полусвете белых ночей, сразу определили его особую ауру: город-призрак, фантасмагория.

Весь XVIII век Москва фрондировала против петербургской администрации и называла новую столицу «немецким городом». Построенный в классическом стиле, полный колоннад и псевдо-античных статуй, Петербург так резко отличался от

русских городов, что казался русским людям не настоящим, бутафорским городом.

Не мудрено, что вокруг него начала разрастаться своя мифология. В основе её — пророчество царицы Евдокии (первой жены Петра Великого): «Петербургу быть пусто». В народе распространилось предсказание, что Петербург погибнет от потопа. Эту веру чуть ли не каждый год реактивировали петербургские наводнения.

Появился слух, что за несколько дней до своей смерти царица Анна Иоанновна видела в тронном зале привидение, точь-в-точь похожее на неё. Анна Иоанновна сказала Бирону: «Это моя смерть».

После убийства Петра III в Ропше распространился слух, что низложенный император чудесно избег смерти, он жив и скрывается. Один за другим появлялись самозванцы, а самый грозный из них, Емельян Пугачев, потряс империю до самых оснований.

После каждого большого наводнения в Петербурге повторялись рассказы о размытых кладбищах и о гробах недавно похороненных людей, приплывающих обратно к их веселым вдовам.

Екатерина II воздвигла в центре города конный памятник Петру I. Журналист В.Г. Рубан тотчас сочинил стихотворение «К монументу Петра Первого», имевшее большой успех. Этот памятник (работы Фальконе) вскоре стал центральным символом Петербурга.

Павел I поставил перед воротами Михайловского замка другой конный памятник Петру Великому (работы Карло Бартоломео Растрелли). Когда в ночь с II на 12 марта 1801 года Павел был задушен в

этом своём любимом замке, возник слух, будто незадолго до этого, во время ночной прогулки царя, ему явился сошедший с пьедестала Петр и предсказал беду.

К началу XIX века уже сложилась устная «петербургская легенда» — целый комплекс слухов и сказаний о неестественности Петербурга, о его обреченности на гибель, о роковой судьбе его царей, о возвращающихся мертвецах и призраках... Михайловский замок был заброшен, Александр I (соучастник заговора против своего отца) переехал в Зимний дворец. В Петербурге твердо верили, что по Михайловскому замку ночами бродит неприкаянная тень Павла I; иные обыватели божились, что видели эту тень в окнах замка своими глазами.

Друг Пушкина князь П.А. Вяземский в стихотворении «Петербург» (1818) воспевал столицу, используя штампы классицизма:

*Я вижу град Петров чудесный,
величавый,
По манию царя воздвигнутый из благ...*

Стихотворение Вяземского завершается призывом к царю дать России конституцию. Была заря дворянского либерализма, царь Александр I еще улыбался и кивал, но за его спиной уже маячил Аракчеев.

После восстания декабристов и крушения всех либеральных надежд тот же Вяземский заговорил о Петербурге совершенно иначе:

*Прости, блестящая столица!
Великолепная темница,
Великолепный жёлтый дом...*
(«Коляска», 1826)

В литературе того периода наметились две противоположные трактовки Петербурга: одна — «город роковой» (резко критическая трактовка), другая — официально прославляющая, апологетическая.

С.П. Шевырев в стихотворении «Петроград» (1829) восславил город Петра I и победу героя над морем. Он воспел Фальконетову статую как священное изображение бога-покровителя. У Шевырева памятник Петру изображен в явно хвастливом тоне:

*Зоркий страж своих работ,
Взором сдерживает море*



И насмешливо зовет:

«Кто из нас могучей в споре?»

Здесь традиционная тема борьбы героя против стихии решается в категориях классицизма: Петр — победитель слепой, неразумной стихии. У Шевырева есть и строка «Побежденная стихия», которую впоследствии использовал Пушкин.

Но была и противоположная традиция, как я уже сказал выше. В ней центром Петербурга мыслится Петропавловская крепость, давно ставшая главной государственной тюрьмой России. В ней по воле родного отца был задушен царевич Алексей Петрович и умерла от пыток и чахотки княжна Тараканова... Кульминацией традиции, осуждающей и развенчивающей Петербург, явились два стихотворения гениального польского поэта Адама Мицкевича, который жил в России под тайным надзором. Картина Петербурга у Мицкевича — это разящая сатира, о которой дает некоторое представление хотя бы такой фрагмент:

*Есть плац обширный,
царней прозван он,
Там обучают псов для царской своры.
Тот плац еще уборной окрещен,
Там примеряет царь свои уборы,
Чтоб, нарядясь в десятки батарей,
Поклоны принимать от королей.*



В России по сей день почти не знают сатиры Мицкевича на Петербург, но Пушкин-то прекрасно знал ее. Преклоняясь перед гением Мицкевича, русский поэт пристально следил за его творчеством, читал и переводил его стихи, пытался читать в оригинале (т. е. на польском языке) новые произведения эмигранта Мицкевича, в России строжайше запрещенные.

И вот с сатирой Мицкевича на Петербург Пушкин решительно не согласился, будучи в то же время не согласен с бездумной, хвастливой апологией имперской столицы в русской литературе.

Не любя николаевского режима, Пушкин все же любил Петербург. Он сознавал его казенно-замороженное, бюрократическое существо, но в то же время ценил этот город как центр новой русской культуры, как обещание новой красоты. В 1828 году Пушкин написал свою апологию Петербурга — полушутливое восьмистишие, отнюдь не лестное для «Северной Пальмиры»:

*Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьётся локон золотой.*

Это легкая вещь, но в дальнейшем Пушкин обдумывает тему Петербурга всё более серьёзно. И она неминуемо сплетается с раздумьями о самом Петре I — строителе самодержавно-бюрократической империи и крестном отце Абрама Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина по материнской линии.

Отношение Пушкина к Петру I — особая, большая тема. Здесь достаточно сказать, что Пушкин внимательно изучал петровскую эпоху, что он предпринял (но не завершил) написание ИСТОРИИ Петра I; наконец, что именно Пушкину принадлежит меткое замечание, что некоторые указы Петра «писаны кнутом». В то же время Пушкин считал Петра I великим цивилизатором, «вечным работником на троне», ставил его в пример Николаю I и в конце жизни носил трость, в набалдашник которой была вделана пуговица с мундира Петра Великого.

Пушкин принимал Петра во всей его исторической противоречивости. Однако судьба великого поэта, его растущее одиночество в своей эпохе, его зрелый умудренный историзм вели его ко все большему противостоянию николаевскому режиму. При этом режиме все россияне были рабами системы, Пушкин же ничьим рабом быть не хотел:

*Самостоянье человека —
Залог величия его.*

Из этих мучительных противоречий и родился замысел «Медного всадника», пушкинское возражение и апологии Петербурга, и сатире на него. И та, и другая — неверны, несправедливы.

Если не апология и не сатира, то что же? Результат — трагедия.

Петербург — город трагический. Такова концепция Пушкина. Она, конечно, связана с традицией классицизма, хотя бы потому, что в искусстве классицизма высшим жанром была трагедия.

Наш выдающийся литературовед Б.В. Томашевский писал о «Медном всаднике»: «Конечно, о Петербурге писали и до Пушкина. Известна даже прямая зависимость начальных стихов поэмы от прозы Батюшкова. “Похвалу царствующему граду Санкт-Петербургу” писал ещё Тредиаковский. Но узаконил эту тему, конечно, Пушкин. Равно узаконил он тему Медного всадника, хотя и до него мы встречаем в литературе символизацию Фальконетова памятника... В своей поэме Пушкин утвердил за художественными образами Петербурга и Медного всадника новое синтетическое значение».

В прежней традиции Медный всадник противопоставлялся безумной стихии, ополчающейся против царя-цивилизатора, но антитеза эта для Пушкина не столь существенна. Он ее рассматривает как литературный шаблон, он ее заменяет оппозицией «монумент — человек». То есть он вводит в сюжет нового участника — человеческую личность.

При этом он дал своей поэме подзаголовок «Петербургская повесть». Надо отметить, что повесть в России — жанр стародавний, привычный, но подлинный расцвет повести связан с эпохой русского

романтизма. И в центре повести — всегда частная жизнь: в светской повести — жизнь романтического героя (героини), в бытовой — жизнь обыкновенного человека.

Евгений в «Медном всаднике» — обыкновенный человек. Пушкинский выбор героя антимомантичен.

Вступление к поэме «Медный всадник» начинается хрестоматийными стихами, которые в России постоянно цитируются уже 160 лет:

*На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...*

Первым появился Петр Великий. Но я тут же хочу подчеркнуть, что он отнюдь не герой поэмы, он герой лишь ее вступления. Пушкин сочувственно излагает стратегическую идею Петра:

*Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой встать при море...*

Все мотивы Петра-строителя обусловлены национально-государственными интересами, и с ними Пушкин явно солидаризируется. Он полностью опускает страшную историю строительства Петербурга, каторжный труд крестьян, чудовищные хищения Меншикова. Общеизвестен факт, что Петербург построен на костях мужиков, тут спорят лишь о цифрах: по одним данным, на голодном пайке Меншикова умерло 50 тысяч подневольных строителей, по другим — 60 или даже 100 тысяч. Проверить это невозможно, отчетность уничтожалась. Пушкин ни слова не сказал об этих жертвах строительства, но их трагедия (причина глухой ненависти России к Петербургу) остается в поэме как затекстовый аргумент бунта.

Чтобы сделать мою мысль яснее, напомню, что трагедия «Борис Годунов» заканчивается авторской ремаркой: «Народ безмолвствует». Пушкин не пояснил, что обозначает это безмолвие. В тексте понятно, что этим молчанием народ отвечает на призыв Масальского выкрикнуть на царство Дмитрия Ивановича. А что сулит отказ народа? Всем известно, что после

весьма короткого царствования Лжедмитрий был сброшен с колокольни, его труп валялся в скomorошьей харе, и вся Москва ходила на него плевать. Вот этот исторический факт — затекстовая развязка «Бориса Годунова». Пушкин не дописывал до конца, не пытался дожевывать общеизвестные факты.

Вот так и в «Медном всаднике»: за текстом остаются строители Петербурга, у которых Меншиков воровал даже хлеб, и факт полной осведомленности Петра I о катастрофических осенних наводнениях в устье Невы. Этой проблемой Петр просто пренебрёг; кстати, она не решена по сей день.

Пушкин от замыслов Петра сразу делает скачок к их реализации:

*Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво...*

Возникновение Петербурга описывается как некое чудо. Далее следует знаменитый пушкинский гимн городу:

Люблю тебя, Петра творенье...

В очень большой степени этот гимн — замаскированно полемический ответ на сатиру Мицкевича. Польский поэт осмеял архитектуру Петербурга, его климат (действительно скверный!), парадоманию царей и даже то, что у петербургских дам красные от холода носы. Пушкин возражает Мицкевичу по всем «пунктам»:

*Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз...*

Пушкин даже восхищается военными парадами, над которыми сам раньше пронизировал:

*Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.*

Пушкин заступает за Петербург, впадая при этом в гордо-прославляющий тон:



*Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия...*

Сегодня можно заметить, что стихия осталась непобежденной, а Россия давно уже не стоит «неколебимо». Весь пушкинский гимн Петербургу мог быть сведен к традициям классической оды XVIII века и к заказной, казенной апологии, как это и выглядит в оторванном от текста цитировании. Но дело в том, что Пушкин написал не только это вступление, а за гимном у него следует собственно «повесть». И в ней уже не будет великого царя-основателя, исторического или одического Петра, будет лишь его бронзовая статуя, символ самодержавно-бюрократической империи. Необходимо точно отличить фигуру Петра I от его «кумира».

В повести своей Пушкин ставит вопрос о нравственном смысле истории. Как из доброго получается худое? Почему великие и благородные цели приводят к гибели ни в чем не повинных людей?

Вступление к поэме кончается стихом:
Печален будет мой рассказ.

Эти четыре слова полностью меняют мажорное, чуточку залихватское звучание пролога. Автор гимна Петербургу словно предупреждает: не спешите аплодировать! Это присказка, не сказка. Главное — дальше.

III

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом...

Из предуведомления к поэме уже ясно, что Пушкин имеет в виду ноябрь 1824 года, когда в Петербурге произошло катастрофическое наводнение, когда много людей погибло, баржи проплывали по Невскому проспекту, а в архив одного министерства заплыл сиг. Так же современен и герой, появляющийся в первой части поэмы.

Евгений — молодой чиновник из обедневшего дворянского рода, он живет в Коломне; так назывался небогатый мещанский район Петербурга. Евгений беден, но влюблен; он мечтает о женитьбе, он любит свою невесту:

*...УЖ кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И В НЕМ Парашу успокою.
Пройдет, быть может, ГОД-ДРУГОЙ —
Местечко ПОЛУЧУ, Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...*

В последующей русской литературе этот скромный идеал будет назван с жестокой иронией «мещанским счастьем». Между тем, у самого Пушкина нет никакой иронии, для него принципиально важно подчеркнуть неприязнительность, даже узость житейских стремлений Евгения. Эти стремления ни в чем не выходят за рамки существующей государственной системы, ничем не грозят ее строгому порядку. Тем страшнее окажется несправедливость судьбы по отношению к герою поэмы. Пушкин хочет сказать, что любой человек имеет право на личное счастье; а уж если «любой», то для заострения пусть это будет «маленький», социально не значительный и даже не блестящий талантами человек. Отсутствие честолюбия — одна из главных, характернейших черт этого смиренного героя. Очень важно подчеркнуть, что герой последней поэмы Пушкина политически нейтрален.

А далее следует классическое описание петербургского наводнения 1824 года, причиненных им разрушений:

*...Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! Все гибнет: кров и пища!*

Первым от стихии страдает народ. И среди разгула стихии сидит верхом на каменном льве Евгений, не замечая, как вода подмывает ему подошвы. Он в отчаянии смотрит в сторону взморья, где у самого залива стоит ветхий домик его Параша и ее матери. Вот тут впервые звучат проникновенно трагические ноты:

*... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?*

Бушующая вода со всех сторон окружает Евгения, ветер и дождь хлещут ему в лицо.

*И, обращен к нему спиной,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невой
Стоит с протянутой рукою
Кумир на бронзовом коне.*

На этом кончается первая часть поэмы: картина потопа, над которым выделены только охваченный отчаянием Евгений и могучий бронзовый «кумир».

Во второй части, по окончании наводнения, Евгений спешит на взморье; там, среди развалин и трупов, он ищет домик Парашы и не находит ничего. Домик исчез полностью, даже ворота снесены. Нет никаких следов двух обитательниц ветхого домика. И Евгений сходит с ума.

Отныне он живет под открытым небом, постоянно скитаясь; случайные подаяния поддерживают его сумеречную жизнь; одежда на нем рвется и тлеет, дети бросают в него камни: «ни зверь, ни человек». Дни текли, слагаясь в месяцы...

И в один ненастный летний вечер безумному Евгению дождь и ветер начали что-то напоминать. Блуждая по городу, он попадает на знакомую площадь; он узнает

*...И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Над морем город основался...*

И далее следуют слова неслыханной силы и исторической проницательности — слова самого Пушкина:

*Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной,
Россию поднял на дыбы?*

Впервые в русской поэзии Россия сравнивается с лошастью, взнузданной железом и поработанной железной волей великого тирана. Вот тут-то и происходит «бунт смиренного» — кульминация всей поэмы. Обойдя вокруг Медного всадника, прижав-

шись к решетке ограды, Евгений с яростью смотрит в лицо памятнику. Вскипела кровь, сжались кулаки, его охватывает чувство ненависти к тому, кто построил город на финском болоте, город, вечно затопляемый Невой; это Петр виноват в гибели Парашы, в крушении всей жизни Евгения.

Из уст безумца вырывается злобный шепот:

*Добро, строитель чудотворный!..
Ужо тебе!..*

И вдруг он бросается бежать: ему показалось, что разгневанное лицо памятника медленно повернулось к нему!

Пушкин вводит мотив оживающей статуи, известный широкой публике по сюжету «Дон Жуана» (одним из воплощений этого международного сюжета был «Каменный гость» Пушкина).

«Бунт смиренного» продлился всего одно мгновение. Евгений в ужасе бежит по ночному Петербургу, слыша за собой «тяжело-звонкое скаканье». И всю ночь Медный всадник, озаренный бледной луной, преследует несчастного безумца.

*И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.*

Но страх перед горделивым истуканом — не последнее чувство Евгения. Пушкин описывает пустынный островок невской дельты, куда наводнение занесло «домишко ветхий», пустой и разрушенный.

*...У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.*

Это значит — похоронили бесплатно (церковь обязана погребать всех). Так кончается поэма «Медный всадник». Евгений умер у разрушенного домика Парашы: печальная победа несбывшейся любви.

Пушкин в своей поэме принципиально отказался от классической антитезы «герой — стихия». Во-первых, в «петербургской повести» исторический Петр за-



менен бронзовым кумиром, а во-вторых, кумиру противостоит не стихия, а бедный Евгений. Если в оппозиции «герой — стихия» Петр представлял организующую силу прогресса, то в пушкинской оппозиции «кумир — маленький человек» статуя символизирует губительную сторону того же прогресса. Стихия враждебна вовсе не Медному всаднику (он к ней величественно равнодушен, он над ней неколебимо возвышается), а маленькому человеку; она как бы сливается с кумиром в одну давящую силу необходимости.

Историческая необходимость — против личности.

Если в революционных аллегориях русских романтиков А.И. Одоевского, В.С. Печерина и Н.П. Огарева наводнение олицетворяло месть Провидения тиранам России, то у Пушкина ярость стихии, как уже выше мною сказано, направляется прежде всего против народа. Петр I — «мощный властелин судьбы»; его статуя всю ночь преследует Евгения, несчастного протестанта против судьбы. Подверженность Петербурга наводнениям — условие победы, изначально принятое Петром I, который никогда не считался с расходами, в том числе и с «людским материалом»: жертвы входили в расчет его победы, но не рассматривались человечески. Центральный символ петербургского мифа — наводнение — подчиняется центральному символу Петербурга. Потоп и кумир вместе составляют ту силу, которая губит маленького человека.

Идущее от Валерия Брюсова мнение о связи бунта Евгения с бунтом Невы не исторично: оно механически накладывает на поэму Пушкина стереотип романтической традиции. Утверждение Брюсова о ничтожестве Евгения лишнее раз доказывает, что этот многосумный мэтр символизма и пушкинист-дилетант рассматривал сюжет «Медного всадника» в терминах допушкинской оппозиции «герой — стихия» и совершенно не понял главной новации Пушкина.

Нет, Евгений не ничтожество. Верно оценил его высокоталантливый исследователь Г.А. Гуковский: «Отдельный человек, будучи одним из многих, все же

вмещает в себя высшие конфликты бытия». Противостояние Евгения страшному кумиру, этой отлитой в бронзу государственной необходимости, означает колоссальное возвышение страдающей личности. Нужна была дерзость Пушкина, чтобы ввести тип «маленького человека» в столь высокий символический ряд.

И пусть его бунт длится какую-то секунду, на большее его не хватило, — все же в этот миг человек впервые распрямился. Исторической трагедией русской нации является невероятно завышенная оценка государства при крайне заниженной оценке личности. Все должны покорно подчиняться государственной необходимости, но сама-то держава, ясное дело, не может помнить о каждом своем рабе и принимать в учет чью-то отдельную судьбу. Государство в России не выполняет своих обязательств перед человеком. Выразив страстное сочувствие безумному бунту Евгения, Пушкин впервые поставил эту проблему. Для нас она стала вечной проблемой. Она не решена по сей день.

Именно поэтому «Медный всадник» — лучшая поэма, когда-либо написанная на русском языке. Она для нас главная поэма, она говорит о нашей жизни. И хотя в России уже научились разбивать памятники, страна все еще не может справиться со злоупотреблением властью.

IV

Сюжет «Медного всадника» — мечта «маленького человека» о счастье, внезапный удар судьбы и незаслуженная катастрофа; трагическое одиночество героя среди враждебного мира, безумный бунт, отчаяние и гибель. Теми же понятиями покрывается сюжет пушкинского «Станционного смотрителя», несмотря на различие содержательных реалий. Таким образом, повесть и поэма образуют фабульный инвариант, давший начало целой литературной традиции. И первым эту фабулу развил Н.В. Гоголь в повести «Шинель».

Для этой фабулы естественно, что ее главная ситуация — состояние лишенности, утраты, когда у героя похищено лю-

бимое существо, составлявшее смысл его жизни (дочь станционного смотрителя Вырина, невеста Евгения). Но Гоголь с исключительной силой развил романтическую тему овеществления человека, когда смыслом жизни становится вещь. Нередко — в силу своего традиционного социального-бытового символизма — это оказывается одежда. И в повести «Шинель» центральным символом стала форменная шинель бедного чиновника. Вся история «построения» новой шинели Акакия Акакиевича Башмачкина необходима для того, чтобы дать нам почувствовать сверхценность этой вещи, увидеть, как личность бедняка переходит в предмет обладания.

Советский литературовед Н.В. Фридман хорошо продемонстрировал близость «Шинели» к поэме «Медный всадник». Он завершил свой анализ словами: «И трагизм этих сюжетов связан с бедственной социальной средой героев. В основе обоих произведений лежит неожиданное катастрофическое событие, лишаящее маленького человека всех его скромных достижений (гибель “ветхого домика”, кража шинели)». Вот тут-то у Фридмана незаметно вкралась ошибка. Ведь вместе с ветхим домиком погибли Параша и её мать. Нельзя же их отождествлять с шинелью; именно карикатурность идеала Башмачкина выражает иную авторскую позицию Гоголя. Н.В. Фридман игнорирует различие художественных систем Пушкина и Гоголя, в конкретном же применении — полемичность «Шинели» по отношению к пушкинской поэме.

Ибо Гоголь не просто перевел фабулу из философской символики в сферу быта, но и произвел сильную переакцентировку, а в «фантастическом анекдоте» своего финала — инверсию субъекта и объекта действия. Происходит это за счет усиления «бунта смиренного». Бунт Самсона Вырина — это всего лишь поспрашивание денег Минского; Евгения — краткий миг угрозы медному кумиру; бунт Акакия Акакиевича начинается с того, что он обивает высокие пороги, требуя возмещения похищенной шинели, а по сути дела — реституции своей личности; перед смертью он доходит до яростных ругательств по адресу сильных

мира сего. А после его смерти развертывается знаменитый фантастический анекдот.

В «Медном всаднике» мы видели, как статуя давно умершего царя всю ночь преследует возмущившегося против неё «маленького человека», а в финале «Шинели» призрак умершего чиновника преследует по ночам оскорбленных его генералов и тайных советников, отнимая у них шинели, то есть карая по закону равенства. Инверсия здесь нагляднейшая и полная: преследуемый становится преследователем.

Башмачкин бунтует не против отлитой в бронзу государственной необходимости, а против бюрократической дьяволиады. У пушкинского Петра при основании Петербурга были свои очень важные резоны; Гоголя они не интересуют, он считает Петербург обманом и видит в подавлении человека лишь дьявольски наглое издевательство.

Если пушкинская постановка проблемы ведет (в идеале) к гармонизации единичного и общего, личности и государства, то Гоголь в подобную гармонизацию вообще не верит. Гуманист и рационалист, Пушкин больше всего боялся безумия («Не дай мне Бог сойти с ума»); напротив, Гоголь всю жизнь заигрывал с безумием, и финал «Шинели» — это апология безумия в духе трагического юмора. Несомненно, принцип философско-исторической трактовки темы Петербурга у Пушкина повлиял на повести Гоголя. Столь же несомненно, что трактовка унаследованной темы и фабулы в «Шинели» — антипушкинская. Соединение самого пошлого быта с фантастикой у Гоголя уже предвещает кафкианскую обыденность абсурда. Символ наводнения заменяется социальным злом, которому Гоголь придал абсурдно-издевательскую форму.

За опасным юмором Гоголя скрывается угроза всем, кто властвует: берегитесь, придут ограбленные вами и в свой черед начнут грабить вас! И угроза эта уже не однажды осуществлялась в истории. Но это не привело к решению проблемы личности и общества. Ненависть и месть не созидательны.

Поэтому мы возвращаемся к Пушкину.

Обновление жажды

Поэзии любви на пороге империи страсти

Любовь есть боль.

Кто не болит (о другом), тот и не любит другого.

Василий Розанов, «Короб опавших листьев»

1

Для начала спросим себя: что же такое сейчас, уже в веке двадцать первом, любовная лирика? Род? Вид? Ну, ясно, что не жанр. Любовная (она ж отчасти интимная) существует, видимо, в антонимической связи с гражданской.

«Гражданственность – талант нелегкий», а любить и крестьянки умеют. А вот переводить чувства в слова можно и в узком будуарном мирке, и на широком историческом просторе. Однако же результат перевода совершенно непредсказуем. Как для автора, так и для потенциального читателя. Возможно, эта непредсказуемость и приводит с некоторой цикличностью, повторяемостью к попыткам закрытия ЛЛ как вида словесного искусства. Как вариант – к попыткам сведения ее к неким тотальностям, введения ее в качестве сущностного элемента в новый (или старый?) имперский стиль. Мечта о новом величии, даже если она спрятана под этикеткой неоконсерватизма, нуждается в эмоциональной базе, – вот такая лирика! Любовь к женщине как вид крепкой любви к родине-партии.

Чувство, с одной стороны, обытовляется, с другой – героизируется, что странно только на первый взгляд. Новой империи, ее идеологии нужны герои, а герои должны любить красиво, страстно, убийственно.

Вот и получается, что мадригал окончательно вытеснен в альбом (пусть даже сетевой), серенада – под балкон или вообще куда подальше. Налет или отблеск эпистолярности, по классической традиции, лежащий на поэзии чувства, делает зыбкой границу между художественным бытием таковой лирики и бытовой (тем паче – физиологической) потребностью завлечь, привлечь, обольстить. Хотя чувственная сторона есть, возможно, то, в чем является, проявляется, прорывается наружу чувство – хотя бы по мере оформления его словом.

Мы еще вернемся к этому, но сразу хочу предупредить: я бы все-таки различал любовную поэзию и эротическую¹ (об имперской составляющей, ломающей нашу классификацию, – ниже). Может быть, они соотносятся как общее и частное. Но сведение любви к эротике, к телесности и заставляет говорить о том, что поэзия чувства постепенно подменяется поэзией, скажем так, счастливого обладания. Есть у нас секс, есть! Однако боль физиологическая и боль душевная (тем более в очищенном, промытом якобы национальной идеей виде) – все-таки разные эмоции. Понятия эти из разных словарей. Воля ваша, ставьте их на одну полку, но все-таки трепет души, стремящейся к другому, все-таки нечто иное, чем конкретное отношение к делу заботы о женском благе:

Касымов Александр Гайсович (1949–2003). Родился 7 октября 1949 года в Минске. Жил в Уфе. Автор книги «Улетающий Обломов»; публиковался в журналах «Бельские просторы», «Октябрь», «Знамя», «Волга». Дипломант конкурса газеты «Культура». Член Союза журналистов.

*Мужчина в доме нужен иногда.
Он прибавляет чуточку здоровья.²*

И пусть мне скажут, что я ханжа! Но воспевание «деланья любви» – вовсе не то, что песнь о страсти.

Понимаю, что забираюсь в темный лес, где трудно увидеть разницу между деревьями. И потому несколько притормаживаю. Для чего обращаюсь к классической работе Лидии Гинзбург «О лирике».

Уже в самом начале книги, во введении, исследовательница заявляет, что не пытается ставить вопрос «о том, что такое лирика вообще»³. Далее Гинзбург, между прочим, говорит совершенно чудную фразу: «Поэтическое слово непрерывно оценивает все, к чему прикасается, – это слово с проявленной ценностью». Поскольку любовь и есть, по сути дела, проявление ценности – высшей ценности! – отношений между двумя людьми⁴, то можно сказать, что в поэзии любви происходит двойное проявление ценностей. Я веду речь об истории чувства и ее пластическом оформлении через слово. Прикосновение становится жестом любящего! И этот жест художественно оформляется.

Хотя... Вот поэтическое определение Давида Самойлова:

*Лирика! «Я», обращенное к «Вам»?
Нет, обращенное в ночь!
Лирика – осуществление драм,
Где никому не помочь⁵.*

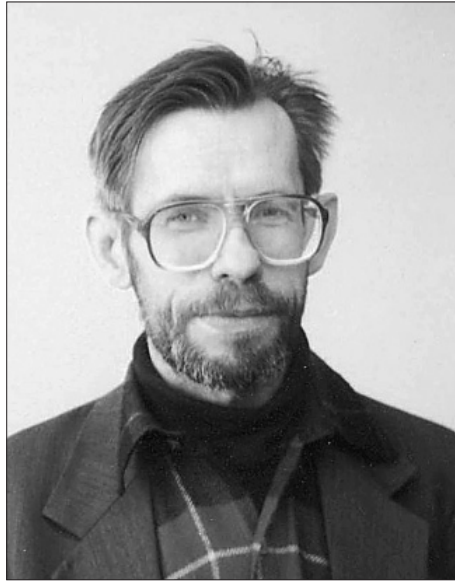
Приведу еще один пример. Это – короткое стихотворение Семена Липкина.

*Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя о тебе.*

*Касаться рук, и догадаться вдруг,
Что жажду я твоих коснуться рук.*

*И губы целовать, и тосковать
По тем губам, что сладко целовать.*

В 1967 году в издательстве «Советский писатель» вышла первая оригинальная книга С. Липкина «Очевидец», и эти строки, открывающие в ней раздел «Му-



зыка земли», датированы 1936 годом. В 1991 году в «Художественной литературе» появилась книга Липкина «Письмена», где под данным стихотворением – несколько иная дата: 1937 год.

Разночтения в датировке позволяют предположить, что данное стихотворение, кажется, не только о безмерности чувства, которое невозможно удовлетворить, исчерпать, но и о предстоящей разлуке. Наступало время большого террора! (Внимание, любители имперского стиля. Пока мы имеем дело с противостоянием ему.) Вот уж воистину: тут никому не помочь!..

Хотя история человеческих чувств – несколько иное, чем история страны, в которой были репрессии и войны.

Кстати сказать, чисто формально эти строки могут напомнить ценителю восточной поэзии газель. Важно то, что для признания в любви традиционная поэтика и на Западе, и на Востоке предлагает традиционные, довольно строгие формы. И хотя мы говорим о смыслах, а не о форме, нужно заметить, что описание стихии чувств привычно ориентировалось на некий канон. И конечно, предполагалась ответственность художника, – вот чем следовало платить за «проявленную ценность»!



Тютчевское вопрошание «Друг мой милый, видишь ли меня?» заставляет читателя задуматься о дилемме: смертность тела на фоне бессмертия души, наполненной любовью. Семен Липкин в чеканной форме выразил это немного иначе: чувство беспредельно, идеал близко, но он не достижим в полной мере.

Был в двадцатом веке и Николай Заболоцкий с его «Последней любовью», где чувство и предел его настолько рядом, вместе, что, может быть, «смертоносная игла» и есть самая любовь. Была и Ахматова (тут я просто не смею комментировать, ибо мы увлеклись в последнее время перечитыванием ее эпических – или, точнее, лиро-эпических – работ, но: *Сегодня я с утра молчу, / А сердце – пополам*), Чухонцев (*Я назову тобой бессонный год*), Евтушенко (*Со мною вот что происходит*)...

Мой выбор имен чисто субъективен. Вопрос в том, куда в начале века XXI поворачивает любовная поэзия – не как отдельные тексты, а как вид словесного искусства? И поворачивает ли?

Оскудели чувства, поскольку нас накрыла волна «секса и насилия», и нужна очередная комиссия по контролю за нравственностью? Не стало мастеров? Или...

2

Вот написал «или», а ведь сам не знаю, что именно «или».

«Мы не видим большой потери в том, что в наше время не под стать быть “эротическим” поэтом, беспрестанно воспевать любовь и называть ее чем-то неисчерпаемым, бесконечным. В наше время поняли, что одной любви мало еще для жизни. Тысячи голосов беспрестанно пели о том, что любовь есть нечто божественное, а не хотели дать себе ни малейшего труда подумать, в чем же именно заключается ее “божественность”»⁶.

Несмотря на то, что это написано более полутора веков назад и направлено против слащавой, лжеромантической любовной лирики, право слово, тут имеется

рациональное зерно. Во всяком случае, в этом есть позиция!

Общественные настроения таковы, что преобразуют эстетический идеал отдельного автора или отдельного читателя. Любовь делается товаром (а было ли когда иначе, при товарно-денежных-то отношениях?), а прозрачная, как слеза, поэзия чувства, возможно, не очень и нужна всевозможным, пардон, промоутерам. Стало быть, страсть должна быть выражена в стихах шокирующе! Вечно живой идеал Амора (на манер «Новой жизни» Данте) – или звонок на радио «Европа плюс» со стихотворным признанием в любви к чужому мужу? «Я вас любил; любовь еще, быть может, / В душе моей угасла не совсем» или «Ты отказала мне два раза? Что лучше продается?

Прошу прощения за уход в публицистику. Раньше не было лучше – и сейчас не хуже. Человек остался прежним – его так же обуревают страсти. Усилилось желание убежать, отказаться от готового лексического набора, от приевшегося орнамента традиционной поэзии. «К опорным традиционному поэтическим словам прибегали все системы, все школы, даже самые “антипоэтические” и разрушительные. Они расставляли их как вехи, чтобы напомнить о своей лирической природе и насытить лиризмом свой дисгармонический стих»⁷.

Однако когда Ярослав Могутинов в своих «Стехах» (именно через «е», господа корректоры!) просит предоставить ему «физиологическое убежище» – это совсем иное, чем отказ, чем разрушение. И опорные слова тут уже повисают в воздухе – даже непрямого эротизма, но агрессивной плакатности. А может, рекламности. Подлинно ценным остается лишь тело, при помощи которого можно зарабатывать на жизнь. Это совсем не то, что Вера Павлова с ее обруганным многими критиками запахом и вкусом эротики (к Павловой я еще вернусь).

И есть ли это уже приметы, скажем так, империализма в поэзии? Супермены и супервумены предаются страстям, словно бы завоевывая не только чье-то тело или чью-то душу, а целый мир. Любовь

как способ колонизации мира, как способ самоутверждения и, в конце концов, вариант национальной (вот-вот!) идеи. Нездаром в нынешних любовных стихах так много фольклорного и ритуального... Но боль подчас дозируется. Таким образом, большой стиль открывает дорогу к мелодраме.

Я не вижу здесь ничего трагического. Как и в том, что традиционное деление поэзии на роды и виды уже не работает. Оно и не должно работать в условиях постоянного информационного приращивания – в том числе и сферы культуры.

Однако, что интересно, художественный идеал любви как высшей ценности (см. сноску с цитатой из Гегеля) – по-прежнему абсолютен. Даже допускаю, что градус абсолютности несколько повышается – раз к этому примешивается понятие о героизме (функция героя в лирике – можно сказать, эпическая – приближение героического времени, требующего другого стиля, в известной степени отменяющего лирику). Это противоречие между идеалом и – часто – формами, в которых осуществляется стремление к нему, с одной стороны катастрофично, с другой созидательно. Я бы даже свел эти две стороны в одну и сказал – катастрофически созидательно. Ну примерно так, как для Блока – вслушивание в музыку революции.

Можно, конечно, написать, что любовь не вздох на скамейке, – и этим остаться на некоторое время в памяти народной. Но где тут опорные слова? Оформление, точнее формирование идеала путем постановки «слова вслед за словом» предполагает все-таки не только регулярное обновление вербальной парадигмы, но и насмешливое к ней отношение! Романтической иронии Гейне нам теперь мало – мы стремимся опошлить высокое и поднять низкое. Опошлить – значит сделать общедоступным. Поднять – значит поверить физиологию гармонией!.. Нет, не зло поставить на место добра, а уловить пустоту и прорисовать вакуум атомарно. Психологизм то умирает, то рождается с новой силой, но сколь нечутки иной раз бывают поэты-психологи!

*И в небе встретились уныло,
Среди скитанья своего,
Два безотрадные светила
И поняли свое родство*⁸.

Так написала в девятнадцатом веке Каролина Павлова (для нас – фигура из историко-литературного музея, совершенно заслоненная ныне своей энергичной однофамилицей). Тем самым она задала целый ряд задач будущим поэтам. Унылая встреча достойна высмеивания в игривой (игровой тож) традиции обэриу и постобэриу, а в неигривой – акмеисты, символисты – превращается либо в культовое событие, либо в свою противоположность – невстречу, но, опять же, имеющую ритуальное значение.

Все смешалось в поэтическом доме – лирика философская, любовная и даже, может, гражданская. Свобода любить предполагает свободу общественную.

Если говорить именно о лирике XXI века, то, право слово, я пока не вижу рубежа, за которым она начинается. И потому примеры будут и из тех, и этих книг.

Программы типа «Герои культуры XXI века» мне представляются насмешкой как над пониманием того, что есть героизм, так и над смыслами художества. Если речь о персонажах, то все проще. В лирике есть действующие лица. Героизм – избранничество и жертвенность. «Лейла и Меджнун» или «Меджнун Эльзы» Арагона – это уже почти что любовная эпика.

Нынешние лирические персонажи существуют в некоем промежутке между интимным дневником и хроникой любовных свершений, между заголовком на первой полосе газеты и ее же разделом светской хроники.

Мы остановились, однако, на психологизме.

Опорные слова – указатели в эту сторону. Они помогают перевести речь на язык привычных чувств. Отсюда когда-тошная популярность такого автора, как, например, Щипачев.

Однако в последней четверти XX столетия в поэзии начался процесс отказа

нее зависят от общей задачи. Чтобы быть придворным поэтом, не обязательно служить при дворе. Главное – внятно артикулировать. Внятно, просто, доходчиво. Братский привет всем влюбленным в национальную идею! И в скобках – из призывов политсовета партии художественной власти к... Сами подберите красную дату.

3

Может быть, я немного утрирую. Искусство живет собственной жизнью, часто забывая проверять время по радио.

Среди скитанья своего...

И вот буквально на днях я обнаружил, что Вера Павлова очень похожа на Нину Искренко! Нет, вовсе не воспеванием телесного низа (об этом говорено и писано много, и частично несправедливо!), а любовно-ироническим отношением к миру и противоположному полу.

*Когда чужой мужчина
разденет
и раздвинет
Когда чужие руки
сомкнутся на спине¹¹.*

Это Искренко.

*У меня ничего с ним не было.
У меня с ним все уже было.
Самый короткий путь от ничего до все.
Самый скользкий,
самый безопасный,
если предохраняться¹².*

Это Павлова.

Самый короткий пусть, если предохраняться, когда разденут и раздвинут. Стихи о сексуальных отношениях! Какая тут любовь? Но веселая – с птичками почти! – песенка Искренко заканчивается задумчиво:

*Когда чужой мужчина
в чужое сядет кресло*

*и голову опустит
чтоб думать
о тебе.*

А у Павловой стихотворение хоть и называется «Все», но соседствует с другим, где говорится:

*Мы любить умеем¹³ только мертвых.
А живых мы любим неумело,
приблизительно. И даже близость
нас не учит. Долгая разлука
нас не учит. Тяжкие болезни
нас не учат. Старость нас не учит.
Только смерть научит. Уж она-то
профессионал в любовном деле.*

Правда, еще в другом тексте в той же книге В. П. сказано, что никакой невесомости нет, а смерть вроде как (прибавляю я от себя) невесомость жизни. Но важно не это, а то, что самые скандальные, вызывающие поэты-поэтессы, приходя к любовной теме, рано или поздно проговариваются, что самые старые (опорные!) слова и самые новые (только что найденные!), в конце концов, обозначают одно и то же. Искусство же заключается в том, чтобы одно и то же выглядело более привлекательно (отталкивающе), чем у других авторов. *Язык птиц состоит из наречий¹⁴.*

Чувственность, переходя в чувство, может породить такой лирический монолог:

*отделяю тебя от себя
чтобы сделать тебя собой
отделяю себя от тебя
чтобы сделать себя тобой
а появится ангел трубя
позывные Вечный покой
отделю себя от себя
осторожной твоей рукой.*

Как ни странно, именно Вера Павлова лучше многих нынешних условно тридцатилетних показала в своей любовной лирике близость к Блоку. И вообще к русской поэтической традиции почти вековой давности. Любовь к символу (и Богу – как высшему символу) сливается у нее с любовью к человеку, страстной и греховной.



Евгений Ермолин написал в «Знамени» о Вере Павловой: «В мире ее занимает абсолютное»¹⁵.

Любовь – любая, самая высокая и самая низкая (хотя любовь не может быть низкой) – пропитана этим. Как кровью. Как потом.

Низкое у Павловой возвышается, высокое – воз-ниж-ается! И в этом действительно присутствует момент абсолютизации быта и простой ясной жизни.

Это А (непременно большое, но такое простое) =А (непременно большому, и уже не такому простому). Дважды два по-русски.

Или – как это у Искренко?

*Яйцо такое круглое снаружи,
яйцо такое круглое внутри...*

Хорошо, когда снаружи и внутри одинаково кругло. Одинаково любовно. Любовно и безотчетно, как вот здесь, например:

*Я иду к тебе на свист
Я иду к тебе навывет
Я иду как не бывает
распушив парадный хвост*¹⁶.

Парадный хвост – отнюдь не физическое тело. Ироническая Искренко, если посмотреть внимательно, достаточно драматична в своих стихах. Не только (и не столько) потому, что мы воспринимаем ее теперь через раннюю смерть, но и потому еще, что ее парадоксальные сближения, ее не защищенная, а обнаженная метафорой открытость – это уже не поэзия любви, а поэзия – после любви. И ее не хватает.

С тобой – тоскуя по тебе, с любовью – но с ощущением неудовлетворенной жажды – большого или хотя бы большего... И даже – вспомним Катуллу – *edi et amo* тут присутствуют в качестве содержательного компонента. Сладкое *edi* и горькое *amo*, ибо диалектика заставляет обращать внимание на подоплеку, на изнанку, на осыпающуюся почву, на невыстраивающуюся судьбу. Личность, выскочившая из ряда на параде страсти, мечется в поисках своего места в иерархии вселенских страстей. Геополитика влияет на геопэтику

или хотя бы на ее понимание. Диалектика? Скорее, изменяющееся слово! Наша страсть к философствованию, конечно, неистребима, но до рассуждений ли, когда задыхаешься от боли? Фрагментам пора, наконец, выстроиться в каталог.

4

*Разучилась петь, и любить любовь,
и ходить на речку,
Удивляться, плакать, готовиться
к медосмотру,
Танцевать от печки,
и снова влезать на печку,
И варить картошку,
и гладить кошачью морду*¹⁷.

Это признание лирическая героиня Татьяны Бек делает в стихотворении под французским названием «Depression». И надо сказать, что дело тут не в названии (хотя можно сыронизировать, что в хандре признаться как-то труднее, чем в иностранной депрессии), а в несколько ином. Вообще мотив потери-приобретения навыка чувствовать (нет, не привычки к собственному чувству, а новой привычки к старому умению, – так прозревший заново учиться видеть) очень характерен для нынешней поэзии. Можно соотнести это состояние с переменами социально-экономическими, а можно задуматься о том, что эмоции всегда нуждаются в обновлении. Отсюда и происходит этот повторяющийся мотив. Он вроде бы оправдывает как снижение накала страстности в текстах одних современных нам лириков, так и – другая крайность – повышенную страстность у других (даже часто в виде проклятий, тут вроде бы опять привет от Катуллы, но нет, наши поэты часто ругательствами признаются-изъясняются именно в любви – почитайте, например, «Неприятное кино» Александра Анашевича¹⁸). То есть несколько замедленный кровоток и кровь горлом могут обозначать одно и то же. Сдерживаемое и почти потерянное чувство и громкая, демонстративная страсть, а эмоциональная «база» – оди-

накова. Импрессионизм оказывается экспрессивен, и наоборот!

И если Анашевичу требуется для яркости погрузить персонажа, испытывающего страсть, в какой-то полукриминальный сюжет (я бы сказал, в страшную сказку), переодеть мужчину женщиной, ведьмой, нищей весталкой, и это будет птица¹⁹, то сие можно воспринимать лишь как добавление внешней понятности, наглядности, лубочности, кичевости, конечно, сознательное, – из сентиментальной кровавости изготавливается личная трагедия персонажа. Но – и тот великий темный городской лес, то стремящееся фрагментами к единству королевство, где только и может жить большое чувство, горячо одобряемое (=неодобряемое) всем народом, партией-правительством-кайзером-королем-президентом. И никем. Страсть и страсти-мордасти оказываются в стихах Анашевича близко, но, к счастью, не всегда пересекаются. Существенны непересечения. В том числе и внетекстовые. Поэзия аполитична, но даже элегия всегда готова стать гимном, а уж от баллады до оды – совсем близко, ближе, чем от стихов Александра Анашевича до стихов Татьяны Бек.

Время жаждет одописцев, но пока еще они заняты любовным бытом, частной жизнью.

Кстати... Вот у Бахыта Кенжеева тоже есть стихи, скажем так, о картошке, совпадающие по настроению и с Бек, и даже в чем-то с Анашевичем:

*Зачем меня время берет на испуг?
Я отроду не был героем.
Почистим картошку, селедку и лук,
окольную водку откроем
и облаку скажем: прости дурака.
Пора обучаться, не мучась,
паучьей науке смотреть свысока
на эту летучую участь.*

Вот это кенжеевское «мы» уже само по себе любовно. И тут это настроение соединяется, как и должно в искусстве, с трагедией, со смертью... Не в игре в сыщиков-разбойников, а в непереносимой жизни. (Вообще-то я полагаю, что стихи Кенжеева трудно отнести именно к любовной

лирике. Его тексты, как широкий поток, вбирают в себя сразу большие пространства – мира, жизни, чувств. Но просто у Б.К. нет нелюбовной!)

Важно в современной лирике – и это хорошо видно на примерах Татьяны Бек или Бахыта Кенжеева²⁰ – обилие бытовых подробностей. Любовь, будучи погруженной в быт, умирает или, в крайнем случае, замирает. И требуется живая вода, чтобы придать старому чувству остроту или обрести новое. Заболеть по-новому старой болью или по-старому новой. Хотя...

*куча ножей
а режет только один
куча ручек
а пишет только одна
куча мужчин люблю
тебя одного
может быть ты наконец
заточишь ножи?²¹*

Тут любовь, пожалуй, – составная часть быта. «Всего лишь». Вера Павлова вообще очень хорошо ощущает простоту, с которой возвышенное входит в повседневное – не исчезая.

Здесь у меня возникает невольная параллель с живописью – например, Юрия Пименова. Этот художник в своих теперь уже давних, за давностью полузабытых, пейзажах писал, как тогда казалось, нарождающуюся новую советскую жизнь – счастье нового быта в возникающей на глазах зрителя новой Москве!

Даже непишущие ручки могут оказаться знаком безалаберного счастья. Солнце, которым светятся картины Пименова, сквозит из пробелов между строчками графичных павловских стихов и поблескивает на ножах.

5

Таким образом, новый словарь не есть совершенно новый словарь и даже не является новым порядком слов. Важны новые импульсы. Все дело в точности, искренности, с которой они фиксируются.



Ибо как бы мне ни нравились стихи поэтов, о которых я толкую, с чисто формальной точки зрения они не революционны и даже не контрреволюционны (сколько бы ни цитировали критики декларацию Веры Павловой о ее сексуальной контрреволюционности).

Однако существенно то, что в нынешней любовной лирике есть вызов. Иногда возлюбленному (этот мотив встречается, например, у столь разных поэтов, как Вера Павлова и Татьяна Бек), часто себе, во многих случаях – общественному мнению (иногда синонимичному с общественной нравственностью). И у некоторых вызов этот общает смену идеологической парадигмы.

Недавно вышедший в «О. Г. И.» сборник стихотворений Дмитрия Воденникова называется вызывающе, даже шокирующе – «Мужчины тоже могут имитировать оргазм».

Начинается одноименный цикл, как часто у этого поэта, на высокой, почти ораторской ноте:

*И то, что о себе не знаешь,
и то, что в глубь себя глядишь,
и то, чем никогда не станешь, –
все перепрыгнешь,
все оставишь,
все – победишь*²².

Это – тема, потом следует рема (автор использует тут грамматико-логические термины, словно мы имеем дело не с искусством, а с какой-то причудливой наукой):

*Я падаю в объятья, словно плод,
в котором через кожу темнеет
тупая косточка –
но как она поет,
но как зудит она,
о, как болит,
болеет,
теряет речь,
не хочет жить, твердеет
и больше – никого – не узнает*²³.

Это «не узнает» чрезвычайно удивительно в книге любовных стихов. Особенно после слов «я падаю в объятья». Ско-

рее речь не о процессе, а о его желании или о переживании того, что уже было.

Далее – «Голос». Тут можно и не ставить кавычек. Голос персонажа.

В книге Воденников много играет со шрифтами. Его стихи – своего рода партитура.

Так вот, Голос:

*О, как бы я хотел,
чтоб кто-нибудь
все это мог себе, себе присвоить –
а самого меня перечеркнуть,
перебелить, преодолеть,
удвоить,
как долг – забыть,
как дом – переустроить,
как шов, как жизнь, как шкаф –
перевернуть...*

*Но –
личной – жаждой,
собственным – покоем,
одной (всего одной!) –
попыткой –
чьей-нибудь*²⁴.

Действительно, речь в этих стихах о науке любви. И ее вечного ожидания.

Гегель в «Эстетике» замечает по конкретному поводу, который нас сейчас не занимает: «Когда в ее (души – А. К.) жизнь врывается диссонанс несчастья, она находится во власти жестокого противоречия, не обладая нужным умением, не зная путей для сближения своего сердца с действительностью...»²⁵ Как видим, тема психологических умений выражена даже в эстетике. И тема сближения сердца с действительностью. И если я цитирую Гегеля, говоря о Воденникове, то для того, чтобы показать, что этот поэт в данном случае, конечно, гегельянец, но особый. Зов для его персонажа важнее отклика. То есть художественно значительнее. И боль важнее исцеления от боли (тут невольная перекличка с Розановым – см. эпиграф). Татьяна Бек, говоря когда-то о Дмитрии Воденникове, применила к нему формулу К. Вагинова: поэт трагической забавы²⁶. Для меня же существенно то, что эта страсть, несмотря на перечисляемые

6

подчас в стихах Д. В. имена и фамилии, не столько направлена в сторону конкретных людей, столько... уходит именно в мучительную музыку зова. Звук здесь сопровождается жестикულიцией – отчасти на манер Цветаевой с ее эмоциональными перепадами²⁷. Трагическая забава перестает быть игрой. Звук уходит в небеса... Зов становится молитвой, но и призывом. Призывом к конкретному действию.

И в этом есть некий полифонизм. Персонаж один – и их много. Переключка голосов порождает объемность изображения. Дмитрий Воденников не балует действительность копированием, но, кажется, она к нему благосклонна.

Что понимать под этой благосклонностью?

В последних циклах В. выстраивает какую-то новую имперскую логику стиха, это, конечно, уже никакое не прямое высказывание и не постконцептуализм, отсюда вся эта как бы искусственность, имперская риторика всегда напыщенна и лукава, главное в ней – императивный, повелительный и в то же время доверительный пафос, прямого высказывания как такового там нет и не может быть, это даже уже не «лирика», это что-то подобное тому, как Сталин обращался к народу во время войны: «братья и сестры»²⁸.

Можно сказать, что, действительно, перестроечный поэтический декаданс закончился. И в новых стихах Воденникова это чувствуется. Во всяком случае, умирания и могил стало значительно меньше. А когда и есть, то автор, описывая их, не забывает, что семечко тоже закапывают в землю. Так или иначе, жизнь играет и требует художественных мощностей. Персонаж будто бы увеличивается в размерах. Он желает, чтобы жизнь «всю жизнь стоймя стояла упругим и цветущим кубом»²⁹. Тесла бетоном. Твердела плотной, помогая большому чувству накапливаться, лишаясь при этом фрагментарности, милого барочного украшения и неопределенности.

Да, до этого стоило доигрываться.

Логика имперского стиля не переносит релятивностей.

Хотя дело тут не в одном Воденникове.

Писание стихов о любви – занятие достаточно консервативное и, если угодно, неоконсервативное. Так что если Ермолин в «Знамени» называет Веру Павлову сиреной неоконсерватизма, то, возможно, оно и так. Поэты, однако, – не тенора и не сопрано, не Лорелеи и не Соловьи-разбойники. Стихотворная речь – художественно осмысленный поток звуков. Изменяется контекст, в котором ворочается чувство. Его можно обозначить двумя словами: родина и смерть (вобравшая в себя максимальное количество жизни и жизней, проистекающих в том числе в спальнях и на кухнях). И никакого «или».

Родное пепелище быта и снаружи – большое и часто страшное, хотя при этом и любимое. Мир делится на две части. Бинарность восприятия мира – и бинарность интимного. Вплоть до некоторой шизофреничности, когда душа живет сразу в двух измерениях. Мифа и не-мифа.

Стихи: стихия минус я.

Любовь: стихия плюс.

Харон посмотрит на меня,

И я в него влюблюсь.

А он в меня. Иначе быть

не может, не могло.

И долго лодка будет плыть,

лежать на дне весло³⁰.

И в какой же стране все это происходит? Россия, Лета, Лорелея...

Обывательская любовь как высшая форма гражданственности в поэзии. В нагрузку – размывание видовых, как и жанровых, границ. В результате лирика устремляется в сторону эпики, порождая стихотворные циклы, еще немного – и поэмы, и романы в стихах. Наш дом – Россия – превращается в открытое и обозримое место, где можно и должно любить и быть любимым.

Бродский дал отмашку некоторой латинизации русского стиха.

Эксперименты с античной (будто бы!) образностью с одной стороны и со страшными звериными (человеческими) сказками в стихах с другой, работа если



не на уровне фола, то анекдота, – это все явления закономерные. Русская поэзия проходила похожие уроки уже неоднократно. Каждый раз это происходило иначе. Иногда это воспринималось читателями как потеря, но в результате словесное искусство изменилось. Возможно, это и есть прогресс. Христианская мораль прививает нам понятие о греховности мира и человека. Поэзия указывает путь к преодолению этого несовершенства – через страсть и наслаждение. И вместе – через превращение частной жизни не только в социальный, но и в идеологический феномен. Религия любви дорастает – или почти дорастает – до просто религии. Такой своеобразный экуменизм (конечно, в кавычках) способствует тому, что нарождающийся стиль высокого чувства как большого праздничного транспаранта вбирает в себя все. Поэзия сегодня всеяднее, чем прежде³¹.

Главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев в интервью сетевому «Русскому журналу» (29.01.2003) говорит: «Сам так называемый культурный процесс в последний год вызывает очень грустные чувства (*речь о 2002 году* – А. К.). На моей памяти не было столь бездарно проведенного года. Все основные новостные поводы в “области культуры” при их, так сказать, возникновении вызывали недоумение и ощущение какой-то несерьезности, какого-то шулерства, объектом которого тебя делают».

Видимо, искусство невозможно без шулерства. Примерно так же, как интимные отношения потеряли бы свою остроту без брачных аферистов.

Тем не менее, в поэзии всегда присутствует элемент иллюзии. Особенно когда она осваивает политехнологические методики.

В словесном искусстве каждыйживает в одиночку. И это замечательно! Свобода творчества, свобода проявления именно художественных ценностей не ведет автоматически к девятому валу открытий. Скорее они могут произойти не из гармонии между разными участниками художественного процесса, а из дисгармонии.

Однако же налицо и тенденция к выстраиванию пирамиды большого стиля. Того гляди о любви нам снова расскажет новая, но по-прежнему вездесущая Любовь Орлова. Тотальная (то есть пока не тоталитарная) культура, приди мы к ней снова, предложит один-два образца: Ромео и Джульетта, Дафнис и Хлоя, Бонни и Клайд, свинарка и пастух. Сталинское «братья и сестры» – категорически-доверительный императив, обращенный в прошлое. Жажда большого чувства на нынешнем этапе означает не ее утоление, а всего лишь ее некоторое обновление.

Примечания

1. Особенно в обретающем уже очертания новейшем варианте – эротико-идеологическом.
2. Стихи Айдыра Хусаинова.
3. Гинзбург Лидия. О лирике. – М.: Интрада, 1997. С. 8.
4. Не удерживаюсь от искушения процитировать «Эстетику» Гегеля: «Подлинная сущность любви состоит в том, чтобы отказать от сознания самого себя, забыть себя в другом “я” и, однако, в этом исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать собою» (Георг Вильгельм Фридрих Гегель. *Эстетика*, т. 2. – М.: «Искусство», 1969. С. 253).
5. Самойлов. Горсть Д.. – М.: Советский писатель, 1989. С. 108.
6. Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. – М.: Советская Россия, 1984. С. 107.
7. Лидия Гинзбург. Там же, с. 15.
8. Что интересно, эти стихи в свое время были включены в антологию «Песнь любви», вышедшую в издательстве «Молодая гвардия» в 1967 году (с. 109) – то есть накануне «пражской весны», накануне введения советских танков в Чехословакию. Опять же показательный момент, если иметь в виду нынешнюю причудливую моду на имперский стиль.
9. Жданов Иван. Неразменное небо. – М.: Современник, 1990. С. 59.
10. Кенжеев Бахыт. Снятая под утро. – М.: ОГИ, 2000. С. 13.
11. Индекс. По материалам рукописных журналов / сост. Михаил Ромм. – М.: Эфа, 1990. С. 254.
12. Павлова Вера. Второй язык. – СПб.: Пушкинский фонд, 1998. С. 16.

13. Слово «любить» тут во всей своей многозначной красе. И преобладающее значение все-таки «ценить»!
14. Вера Павлова. Там же, с. 11.
15. «Знамя», 2003, № 1. Кстати, об абсолютном. Историю философии можно – с Павловой в руках – читать и так. Гегель – основатель вполне имперского философского дискурса, а возможно, уже и консерватор с уклоном в некоторую революционность, но и контрреволюционность. Это я по поводу некоторых пассажей Е. Е.
16. Индекс, с. 258.
17. Татьяна Бек. Узор из трещин. – М.: ИК Аналитика, 2002.
18. Александр Анашевич. Неприятное кино. – М.: ОГИ, 2001. (Я рецензировал этот сборник в журнале «Новая русская книга», 2002, №1).
19. См. другой сборник этого поэта – «Фрагменты королевства» (НЛО: М., 2002).
20. Бытовизмами поэзия словно бы отмежевывается сама от себя, но и подчеркивает свою иную, чем прежде, художественную природу.
21. Цитирую по сетевой версии журнала «Арион», 2002, № 2.
22. Воденников Дмитрий. Мужчины тоже могут имитировать оргазм. – М.: ОГИ, 2002. С. 20.
23. Там же, с. 21.
24. Там же, с. 22.
25. Гегель Георг Фридрих Вильгельм. Эстетика. Т. 2. – М.: Искусство, 1969. С. 295.
26. См.: «Литературная газета», 1998, 29 апреля.
27. Но и Заболоцкому – с его эмоциональной сдержанностью!
28. Кирилл Медведев. Вторжение. Стихи и тексты. – М.: Арго-Риск, Тверь: Kolonna Publications, 2002. С. 125.
29. Дмитрий Воденников. Там же, с. 8.
30. Павлова Вера. Везде. – М.: Захаров, 2002. С. 35.
31. Высказывание Владимира Паперного о двух культурах сегодня, возможно, следует понимать с точностью до наоборот: «Это был разговор двух культур, абсолютно не понимающих друг друга, употребляющих часто одни и те же слова, но наполняющих их совершенно разным смыслом, разговор, заставляющий современного исследователя вспомнить о беккетовском “В ожидании Годо”». (Владимир Паперный. Культура Два. – М.: НЛО, 1996, с. 21). Такое впечатление, что мы того гляди дождемся Годо. Проблема в том, чтобы признать его.

Башкирская осень поэта

По телевидению транслировалась передача, посвященная замечательному советскому поэту Владимиру Луговскому (1901–1957). Снова прозвучали записанные на пленку слова, сказанные им на I Всесоюзном съезде советских писателей:

«...Если бы даже существовала судьба, то у меня было бы три просьбы к ней:

Первая – чтобы дано мне было жить, работать и умереть для светлого мира великой родины, которая стала родиной нового человечества.

Вторая просьба – чтобы сохранились во мне до конца сила песни, потому что песня – это символ моей великой родины.

Третья – чтобы не покидала меня человеческая отвага, ибо отвага творческая, интеллектуальная волевая – это то, что написано на знаменах нашей великой Родины...»

Судьба исполнила все просьбы Луговского.

Поэту доводилось бывать и в Уфе. До последних дней сохранил он память о буйстве башкирской осени 1932 года.

Недавно опубликована переписка Владимира Луговского с Александром Фадеевым. «Вспоминаю дни в Уфе, – пишет он с шутиливой ноткой, – когда мы по вечерам целомудренно брились, надевали белые штаны и в сумерках выходили толковать о вселенной и всяких прочих мелочах. Хлопанье кумысных пробок, белую лошадь в саду, стук падающих яблок... И вообще сотни, сотни дней и бесед...»

Эти строки напоминают о 1932 годе, когда Владимир Луговской вместе с

Александром Фадеевым, критиком Л.Л. Авербахом, писательницей В.А. Герасимовой жил и работал в Уфе. Для работы им была выделена бывшая дача купца Алексеева, неподалеку от нынешнего парка имени Мажита Гафури.

Через два десятилетия в стихотворении «Уфа» поэт так опишет это время:

*Старый друг, как прежде, как бывало,
Я к тебе, доверившись, иду
Через золотые перевалы
Осени, бушующей в саду.
Бродит лошадь белая, ступает
Тяжело и мерно как во сне.
Яблони холодными стопами
Медленно проходят при луне.
Ночь полна несметных темных звуков.
Дивные в душе кипят слова.
Песенку полночную отгукав,
На кривой сосне сидит сова.
А недавно журавли трубили,
Кленов медь стекала горяча.
Дальние гудят автомобили.
Спит звезда на острие луча.
Ожиданье радости и встречи,
Млечный путь – седая полоса,
И на сотни верст гудят, как печи,
Темные башкирские леса.
И тогда – мы русые, большие –
Буйной ночью молчаливо шли
По великой, по суровой шири
Ветром околдованной земли.
По дороге холодно и сыро,
Жесткий шум ветвей со всех сторон,
Вековое величие мира,
Над землей встающий Орион.*

При первой встрече Владимир Луговской иногда поражал окружающих своим обликом. Когда-то он писал о себе: «Я не ястреб, конечно, но что-то такое замечал иногда, отражаясь в больших зеркалах...»

Мустай Карим, впервые увидев его в ялтинском Доме творчества, написал:

«...Там был Владимир Луговской, который по несколько дней пропадал где-то в горах, потом, вернувшись, вечерами мрачно и гордо просиживал на стеклянной веранде. Подступиться к нему было просто боязно. Казалось – неприступный утес. Его густой, властный бас, который мы слышали нечасто, стал окончательной, непреодолимой преградой. Так и не подходил я к нему, хотя очень хотелось. Он уехал. Спустя много лет близко узнал его, убедился, что тот «утес» является человеком нежнейшей души и детской доверчивости».

Об уфимском периоде своей жизни Луговской вспоминает в «Автобиографии»: «Вторую книгу «Пустыни и весны» я писал в Уфе, где мы жили более полугода с дорогим мне другом А.А. Фадеевым. Жили мы анахоретами. Днем работали, вечером выходили на шоссе, выбритые и торжественные, и рассуждали о мироздании и походах Александра Македонского. Неподалеку всю ночь вспыхивали огни электросварки. Осенью ночью по саду ходила огромная белая лошадь и со стуком падали яблоки... Как-то к нам заехал О.Ю. Шмидт и рассказал о происхождении Вселенной. Там же я написал книгу «Жизнь», состоящую из ряда автобиографических поэм философской направленности».

Одним из лучших произведений Владимира Луговского является поэтическая эпопея «Большевикам пустыни и весны». Ее слышали уфимцы в исполнении автора на одном из литературных вечеров в Летнем театре сада имени А.В. Луначарского.

«Он прочел, – вспоминает Саях Кулибай, – несколько своих стихотворений, горячо принятых публикой, которая все время настойчиво аплодировала ему. Поэт стоял задумавшись, видимо, решал, что же еще почитать. Фадеев сказал:



– Прочти, Володя, "Большевикам пустыни и весны"...

Луговской обладал сильным голосом, под стать своей крепкой фигуре. И читал он восхитительно».

Исследователи творчества поэта считают, что поэмы, вошедшие в книгу «Жизнь», порождены беседами, которые велись и в Уфе. Черты Александра Фадеева прослеживаются в образе Зыкова, главного героя поэмы «Комиссар».

В Башкирии Владимира Александровича Луговского хорошо помнят как замечательного переводчика произведений башкирских поэтов на русский язык. Это он, к примеру, перевел поэмы «Большевик», «Девушка с Сакмары» Рашида Нигмати, многие его стихи.

Запомнился поэт всем, кому посчастливилось с ним встречаться, знать этого замечательного человека.

НАРОДНЫЙ СЭСЭН

Когда в 1932 году в Уфу приехал Александр Фадеев, башкирские писатели решили познакомить его с фольклором, с жизнью народа, с музыкальной культурой, национальными блюдами. Для того



чтобы организовать встречу как положено, не ударить перед гостем, как говорится, в грязь лицом, пригласили Мухаметшу Бурангулова, учителя по профессии, будущего народного сэсна. Лучшего знатока башкирского фольклора, жизни народной тогда не было. Вечер встречи удался на славу.

Народный сэсен Башкортостана Мухаметша Абдрахманович Бурангулов родился 15 декабря 1888 года в деревне Верхне-Ильсово Самарской губернии. Рано лишился родителей. После окончания школы переехал в Оренбург, учился в медресе. Был учителем, преподавал башкирский язык.

Всю свою жизнь был собирателем, популяризатором фольклора. На базе фольклора создал пьесы «Ашкадар», «Ялан Еркай», «Башкирская свадьба», «Идукай и Мурадым». Записывал и обрабатывал эпосы «Урал-батыр», «Акбузат», «Алпамыша», сказки, песни, кубаиры.

Сын сэсна Н.М. Бурангулов вспоминает: «Это случилось в двадцать шестом году. Однажды между отцом и матерью вышел довольно шумный скандал. Оказалось, что он вновь собрался на несколько недель в близлежащие районы за фольклорной «данью». Для этого нужны были деньги. И он решил сплавить единственную оставленную на зиму телку. Мать, конечно, противилась, но он был непреклонен, и мать должна была уступить».

В 1935 году Мухаметша Бурангулов окончил литературное отделение Уфимского педагогического института, работал в Башкирском научно-исследовательском институте языка и литературы, вел научную работу. Им созданы труды: «Башкирские легенды», «Эпос о баты-

рах», народно-эпическая поэма «Отечественная война».

В 1946 году появилось постановление ЦК ВКП(б), в котором были ошельмованы Михаил Зощенко, Анна Ахматова. Репрессивные круги пошли и по республикам. В число националистов был зачислен Мухаметша Бурангулов, записавший эпос «Идукай и Мурадым» и создавший на его основе драму. Творчество сэсна перечеркнули, исключили из Союза писателей. Коллеги-писатели практически «подготовили» его к аресту органами. В протоколе заседания правления Союза писателей Башкирии 26 октября 1946 года записано: «За весь период своего творчества Бурангулов М. не создал ни одного выдержанного в идейном отношении произведения, что все его произведения на исторические темы были пропитаны духом приукрашивания прошлого, духом защиты патриархально-феодального строя, духом национализма... и тем самым он своим творчеством оказался не на платформе Советской власти...». Бурангулова арестовали и осудили на 10 лет лишения свободы по обвинению в принадлежности к антисоветской националистической группе и антисоветской агитации.

После освобождения М.А. Бурангулов опять оказался в тюремном заключении и вышел на свободу через четыре года. Впоследствии он был реабилитирован (слава Богу, что при жизни), восстановлен в Союзе писателей, звание народного сэсна тоже вернули.

Мухаметша Бурангулов прожил большую и сложную жизнь. Он умер 9 марта 1966 года.

В Уфе на доме по улице Мингажева, в котором жил сэсен, установлена мемориальная доска.

Уфимские лесопромышленники Чижовы

Крезами, чье богатство вошло в поговорку, называли самых состоятельных купцов Чижовых в Уфе их современники. Два каменных двухэтажных больших дома, каменный одноэтажный дом на улице Большой Казанской 6, 8 и 10 (ныне на ул. Октябрьской революции) были не самой крупной недвижимой собственностью Чижовых. В пригородной деревне Миловке жене Федора Егоровича Ираиде Алексеевне принадлежало крупное имение и большой старинный помещичий дом постройки конца XVIII века. В Уфимской губернии находились их крупные землевладения с лесами и пристанями по рекам Белой, Уфе, Симу.

Потомки Чижовых породнились с известной на Урале фамилией горных инженеров Гассельблатов из древнего шведского рода, один из которых был автором проекта и строителем Магнитогорского металлургического комбината.

Федор Егорович Чижев происходил из крепостных крестьян Катав-Ивановского завода, принадлежащего князю Эсперу Александровичу Белосельскому-Белозерскому. Осиротев, воспитывался в семье Бисяриных. За острый ум и любознательность был замечен владельцем завода, взят в услужение казачком, затем по воле князя переехал в Петербург и получил образование.

По рассказам правнучки Федора Егоровича И.Ф. Чижовой, ее прадед вернулся на Катав-Ивановский завод и, находясь на службе у князя, сопровождал весенние караваны с железом на Нижегородскую ярмарку. Замечая опасные для сплава места, где часто разбивались барки, предложил владельцу завода взорвать препятствующие судоходству скалы. Его предложение было осуществлено на деле и принесло князю заметные выгоды, а Федору – щедрое вознаграждение. Много лет спустя, уже самостоятельно осуществляя сплав железа с верховьев реки, он за свой счет поднимал со дна затонувшее ранее железо и продавал его на ярмарке. Так образовался первоначальный капитал.

В 1881–1882 годах он покупает у Д.С. Волкова 9 500 десятин земли близ деревни Средние Лемезы в Урман-Кудейской волости за 64,8 тысячи рублей, с 1881 по 1886 годы – у купца А.М. Юрьева 10 830 десятин земли в той же волости при деревне Казаяк-Кутушевой на реке Сим под названием Юрьева пристань.

В последующие восемь лет Ф.Е. Чижев совершает около сорока подобных сделок по покупке земель и становится крупнейшим землевладельцем нашего края. Земли он отдавал частично в аренду, на лесных массивах вел лесоразработки, сплавливал лес плотами к Уфе на

Зинаида Ивановна Гудкова (1933 – 2008) – краевед, заслуженный работник культуры БАССР. Окончила Ленинградский инженерно-строительный институт. Работала в строительных и проектных организациях Уфы. Вместе с супругом, Г.Ф. Гудковым, занималась историей горнозаводской промышленности Южного Урала, исследовала родословную семьи Аксаковых и многих других уроженцев Уфы и нашего края.



свой Федоровский лесопильный паровой завод за Оренбургской переправой. В Уфе и на своих лесных пристанях вел крупную торговлю лесом и лесоматериалами.

За свою благотворительную деятельность Федор Егорович Чижов получил почетное гражданство. Документ, врученный ему по этому поводу, несет в себе богатый колорит прошлой эпохи и поэтому приводится полностью:

«Император и Самодержец Всероссийский,

Царь Польский, Великий князь Финляндский,

и прочая, и прочая, и прочая.

Манифестом в 10-й день апреля 1832 года установлено сословие почетных граждан, на правах, в оном предначертанных; а как верноподданный наш, Уфимский первой гильдии купец и кавалер ордена Св. Анны 3 степени Федора Егоровича Чижова с его женою Ираидою Алексевою, сыном Александром, дочерью Мариею Федоровыми, женою умершего сына Михаила – Елизаветою Васильевою и ее детьми: Михаилом, Николаем, Дмитрием, Сергеем и Федором Михайловыми в сословие почетных граждан, **ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ** повелеваем пользоваться как ему, так и его

потомству всеми правами и преимуществами Манифестом сему сословию дарованными. Во свидетельство чего повелели МЫ сию грамоту Правительствующему Сенату подписать и государственною печатью НАШЕЮ укрепить. Дана в Санкт-Петербурге сентября 29 дня 1894 года».

Министр внутренних дел егермейстер Сипягин 3 мая 1900 года доносил царю следующее: «Уфимский губернатор сообщил, что потомственные почетные граждане Федор и Александр Чижовы пожертвовали городу Уфе, для учреждения постоянной больницы, два дома с полной обстановкою на 30 кроватей, стоимостью 10 824 рубля. О таковом пожертвовании всеподданнейшим долгом поставляю довести до Высочайшего сведения Вашего Императорского Величества».

Больница на улице Телеграфной так и называлась «Городская больница с амбулаторией и аптекой им. Ф.Е. Чижова» (позже – жилой дом № 46 на улице Цюрупы).

Инспектор духовной семинарии статский советник Евгений Андреевич Зефирин в журнале «Уфимские епархиальные ведомости» (1900, № 9) опубликовал некролог, в котором сообщалось: «4 апреля 1900 года скончался почетный блюститель при духовной семинарии его степенство, первой гильдии купец Ф.Е. Чижов. Обязанности блюстителя... он нес с 1889 года. Ему семинария обязана переустройством заново семинарской домово́й церкви... Он пожелал и устроил церковь в два света. Затем сооружен им совершенно новый иконостас и св. иконы, хоругви... довольно ценные». Далее в некрологе отмечалось, что он был блюстителем и при Уфимском мужском духовном училище, где им совместно с Д.И. Стахеевым была устроена новая домовая церковь, иконостас и все необходимое для храма.

«Помимо семинарии и духовного училища, Федор Егорович имел много почетных должностей и по другим учреждениям. Так, он был некоторое время градским головою и состоял попечителем детских приютов, где он сделал много денежных пожертвований на устройство и содержание приюта в Уфе, и сверх

того в заводе Катав-Ивановском пожертвовал для приюта каменный двухэтажный дом и капитал в 10 тыс. рублей на содержание и обеспечение приюта, а в Уфе пожертвовал двухэтажный деревянный дом под больничное помещение и многое другое».

После смерти мужа его жене Ираиде Алексеевне Чижовой перешли по наследству все имения мужа. Кроме купленного на ее имя поместья в деревне Миловке, она получила Языковскую земельную дачу вблизи Благовещенского завода Уфимского уезда – 4 020 десятин, Михайловскую дачу в Кси-Табышской волости Стерлитамакского уезда – 9 194 десятины, Кысыкскую дачу в Урман-Кудейской волости Уфимского уезда близ села Мана-Гора – 1 270 десятин и Богдановскую дачу в Свято-Троицкой волости Уфимского уезда близ станции Тавтиманово – 520 десятин.

Ираида Алексеевна отличалась большим умом, силой характера и еще при жизни мужа принимала активное участие во всех его делах. Оставшись одна, она все взяла в свои руки и энергично продолжала предпринимательскую деятельность до самой революции. Своему сыну Александру она выделила только 100 десятин из миловского имения и заставила его построить там крахмальный завод, да позже передала ему в управление Федоровский лесопильный завод за Оренбургской переправой.

Ираида Алексеевна не только успешно продолжала лесопромышленную и торговую деятельность, но и значительно расширила географию рынков сбыта, широко используя для этого близость железнодорожных станций к своим земельным и лесным дачам. Так, она основала новый лесопильный завод на станции Уду-Теляк, где у нее постоянно работали 15 человек, в Миловке устроила новые лесопильный и мукомольный заводы, продукцию которых отправляла по железной дороге со станции Уфа. Там у нее постоянно работали 40 человек. Кроме того, приобрела склады для лесоматериалов при станции Давлеканово и в Черном Яру при Березинской ветке, откуда также отправляла лесоматериалы

и хлеб с собственных полей на внутриросийские рынки.

В архиве сохранилось описание миловского имения И.А. Чижовой 1917 года. Земли было 6 809 десятин. С 1911 года действовала трехпольная система севооборота, было пять стад различного скота. Молоко и масло продавались в Уфе. В хозяйстве трудились около 90 наёмных рабочих и служащих. В имении была оранжерея и большое недвижимое имущество с отличным сельскохозяйственным инвентарем, конный завод с ипподромом и манежем. Еще при жизни Федора Егоровича была построена больница, которая позже была отведена под школу.

Плотина и мельница на Лазаревом пруду создавали огромный водоем, по берегам которого были разбиты отличный парк и огромный плодовый сад.

Ираида Алексеевна в Уфе всегда была членом губернского попечительства детских приютов и вела широкую благотворительную деятельность. «Уфимские епархиальные ведомости» за 1900 год отмечали, что Ираида Алексеевна с сыном Александром построили на свои средства один из лучших деревянных храмов в Уфимской епархии в чувашском селе Кубово. Во время войны она отдавала свои дома в Уфе беженцам и помогала раненым.

Вот что писала об этом ее внучка: «Не знаю, конечно, всего объема ее благотворительных работ, но, видимо, они были незаурядными, так как она получила подарок от Николая II – бриллиантовую ветку сирени, величиной чуть меньше стакана. Широко занимаясь благотворительностью после смерти деда, она имела все правительственные награды, предусмотренные в России для женщин, так что во время войны ее уже нечем было награждать официально, и поэтому появилась эта ветка сирени».

Миловское имение до самой революции принадлежало И.А. Чижовой. Перед отъездом из Уфы оно было заложено ею в Волго-Камском банке за 2 миллиона рублей. Умерла Ираида Алексеевна в Петербурге в 1919 году.

Местоположение г. Уфы до начала XIX столетия

В 1866 году я рассматривал архив Уфимской палаты уголовного и гражданского суда, где тогда были налицо теперь уже отосланные в Московский архив Министерства юстиции более 1800 дел, писанных столбцами и принадлежавших бывшим в Уфе в XVII столетии воеводам и Приказной палате, а затем было в том же архиве немало дел начала XVIII века бывших Уфимских провинциальной и воеводской канцелярий, закрытых в 1784 году при образовании Наместничества. Из этих дел и затем из рассмотренных мною после того в течение многих лет документов времён Уфимского наместничества в архивах разных присутственных мест, церковных архивах и росписях приходов, где упоминается название домов и улиц, а отчасти в архивах Уфимской градской думы: я мог составить себе точное понятие о прежнем местоположении Уфы, до начала настоящего столетия.

Так называемая 3 часть г. Уфы, естественною границею которой с 1 частью служит речка Сутолка, называется в народе Старой Уфой, но это название совершенно несправедливо. Издавна, с самого основания г. Уфы, она расположена была по обеим сторонам р. Сутолки, впадающей в городе же в р. Белую и там, где теперь находится церковь св. Троицы, была деревянная крепость или детинец, сгоревшая в 1759 году. Под горою, на которой теперь Троицкая церковь или где был Уфимский детинец, на берегу р. Белой, стояла деревянная церковь св. Троицы, сгоревшая в 1759 г.

Нынешние улицы, где находятся церкви Ильинская, Покровская и Спасская, существовали в XVII веке. Спасская церковь на Казанской улице в конце прошедшего столетия была на выезде из города на дорогу в Казань, которая тогда шла мимо Благовещенского завода – из Уфы же чрез Вавилов перевоз. Позади Спасской церкви за оврагом было поле и где теперь церковь Успения Б[ожия] М[атери] в 1771 году назначено быть кладбищу, на месте выгонном, за городом.

Итак, по настоящему, не только 3 часть, но и более половины 1 части нынешнего г. Уфы составляли старый первобытный город Уфа. Во второй половине XVIII века в Уфе, основанной при Грозном, по числу населения заметилась уже теснота и неудобства для построек – и тогда уже возникла мысль о возведении новых построек на пустых местах – и первую попытку сделал уфимский наместник Якобий, выстроив в 1790 году дом для себя и присутственных мест за городом, в поле, там где теперь архиерейский дом. После того, к концу XVIII века, начались мало-помалу постройки уже не только далее Спасской церкви, но и там где теперь гостинодворская площадь. Со второй половины прошедшего столетия местное начальство старалось и ходатайствовало о более удобном расположении города, выдвинув его из прежних обрывистых, неудобных мест и оврагов на равнину, и планы для г. Уфы утверждены были сначала 3 Июля 1803, а потом 6 Марта 1819 года. Быстро, при уве-

личившемся населении, выдвигался город на новое место в поле, так что при посещении Уфы в 1824 г. Императором Александром I, уже вся гостинодворская площадь была застроена и уже существовали некоторые смежные улицы, а построение в новой части города новой приходской церкви св. Александра Невского, заложенной в 1824 году в присутствии самого Государя, было вызвано прямою необходимостью. Город тогда разделялся уже на три части, ещё в 1818 году это разделение и постройка полицейских домов совершились по проекту Думы и полицмейстера князя Василия Михайловича Маматова.

Что касается прежней Уфы, то частые пожары, в особенности же в 1759, 1816 и 1821 годах, изменили первоначальный характер построек; многие бывшие улицы перестроились уже иначе, особенно в 3-й части, или «Старой Уфе», но названия бывших улиц сохранились в памяти народа и в документах архивов. При изменившемся же теперь порядке построек, многие вновь возникшие улицы ещё не имеют особых названий.

Обратив на всё это должное внимание, Уфимская градская дума в присутствии гг. гласных 22 прошедшего мая (1873 г. – Прим. ред.) постановила составить проект названия улиц г. Уфы, с удержанием при этом тех названий улиц, которые уже введены и существуют в настоящее время, а вместе с тем и восстановить старинные названия тех улиц, которые таковые имели в прежнее время; проект этот внести на рассмотрение и утверждение Градской думы. На составление проекта изъявили готовность гласный Думы, член-секретарь Статистического комитета Н.А. Гурвич и автор настоящей статьи.

Восстановить старинные названия улиц можно, на основании архивских фактов и преданий, в старом городе, где, впрочем, многие старинные названия улиц сохранились и существуют. Что же касается до вновь проведённых улиц на новых, прежде пустых местах, после утверждения планов для города в 1803 и 1819 годах, то желательно было бы, чтобы те из новых улиц, которые не имеют ещё названий, получили свои названия со-



гласно историческому своему, хотя и не давнему происхождению, в память производившейся промышленности или в память разных учреждений, например в числе новых уже улиц есть так называемая *Лазаретная* – в память бывшей тут больницы, или *Телеграфная* – по случаю провода телеграфа. Некоторые улицы носят названия первых домохозяев, построивших здесь дома, например *Бекетовская* в память г-жи Бекетовой, построившей на свой счёт после пожара целый квартал.

В древности собственно городом звали только крепость, или место, окружённое стеною и башнями, все же прочие постройки за стенами крепости или города, звались посадами. Так точно было и в Уфе, которая, как известно, построена при Грозном по просьбе башкир для защиты от нападения татар и киргиз. В Уфе городом звалась крепость, а всё прочее посадом. Уфимская крепость стояла на возвышенном месте там, где теперь церковь св. Троицы, бывшая соборная, в честь Смоленския Б[о]жия М[атери], занимая часть нынешних Казанской и Усольской улиц. Укрепление состояло из деревянной рубленой стены и частокола, в разных направлениях были построены деревянные башни с воротами, по на-



правлению этих башен, называвшихся Покровскою, Фроловскою, Успенскою, Спасскою, Казанскою и водяною, проходили улицы в посаде. В Уфимской крепости, кремле или детинце, жил воевода, была воеводская, а потом провинциальная, канцелярия. Здесь были два монастыря – Успенский мужеский, что теперь женский Благовещенский, и Христорождественский женский, переведённый в 1777 г. в г. Слободской Вятской губернии; этот монастырь был близ дома, где теперь пожарный двор 1-й части. В крепости жили некоторые служебные лица, даже и когда уже после 1759 г. не было крепости, и до самого открытия Уфимского наместничества и перенесения присутственных мест на нынешнюю соборную площадь, где теперь архиерейский дом. В 1821 году в бывшей крепости сгорел уцелевший ещё старый, необитаемый вице-губернаторский дом. В царствование Елисаветы Уфимскою провинциею в 1743 году велено было управлять вице-губернатору, подчинённому Оренбургскому губернатору. Я не нашёл нигде никаких известий, как были расположены постройки Уфимской крепости или собственно города, были ли там улицы, но удостоверился лишь в том, что улицы в посаде шли по направлению к крепости, как месту центральному, хотя по географическому положению крепость никогда не была центром всех прежних построек.

Но говоря о местоположении прежней Уфы, в силу архивных фактов и преданий, нужно и нам принять бывшую крепость как центр прежних построек на все четыре стороны. Так и будем говорить о прежнем городе.

* * *

С северной стороны крепости от Казанской башни шла нынешняя *Казанская* улица, направляясь, как мы говорили, к Казанской дороге. На этой улице была деревянная приходская церковь Благовещения Богородицы, где вскоре же после 1775 года является тут же с нею рядом в одной ограде деревянная церковь Спасская. От Спасской церкви во ста тридцати саженьях в 1779

году был построен последний на выезде из города дом жены посадского Матрёны Куретниковой, которая просила тогда об этом в провинциальной канцелярии, объясняя в челобитной или прошении, что на другой стороне Казанской улицы, тоже последний на выезде, стоит дом купца Иконникова. Итак, на основании этой челобитной в делах бывшей Уфимской провинциальной канцелярии можно заключить, что от нынешней Спасской церкви по ту и другую сторону улицы, отступя по 130 саж., дальше уже не было построек. Против Благовещенской и Спасской церквей, от другой стороны улицы шла улица *Просечная*, или *Засека*, которая шла мимо Голубиной слободки и, пересекая улицы Ильинскую и Фроловскую, оканчивалась близ нынешней мечети и магометанского собрания. Название это последовало от бывшей *засеки* или вала, шедшего, по сказанию Рычкова, от р. Уфы и перевоза, чрез неё до этого места, на пространстве 10 вёрст, так, что засека, защищала не только посад, но и часть поля, обрабатываемого жителями, так как первые поселенцы в Уфе – стрельцы, казаки и посадские или мещане, были земледельцами. На задах Казанской улицы, там где проходила Просечная, теперь Спасская улица, места за оврагом были издавна застроены, до самой засеки, по обе стороны нынешней Спасской или тогдашней Засечной и Просечной улицы и даже в 1788 г. несколько домов было близ нынешнего Театрального сада.

В 70 саж. от Казанской башни или Казанских ворот, стояла Спасская башня, обращённая на нынешнюю Кладбищенскую улицу, возникшую уже в начале настоящего столетия. В конце этой улицы, близ церкви Покрова Богородицы, ещё и в XVII веке были постройки, но эти постройки составляли тогда часть улицы Посадской. Посадская улица начиналась от берега р. Белой в виду водяной башни или водяных ворот под горой, где была крепостная стена, и где теперь церковь св. Троицы; затем Посадская улица, огибая собою гору, в виду крепостной стены шла по направлению к церкви Покрова Богородицы до мостика чрез р. Сутолку,

где уже, как и теперь, от самой церкви Покрова Богородицы шла большая Сибирская улица. Теперь же бывшая Посадская улица, т.е. та, что подходит к Покровской церкви и отделяется от Сибирской мостиком чрез р. Сутолку, называется *Бережною*. В старину же Бережную улицу звали ту, которая и теперь расположена по берегу р. Белой и назади Усольской улицы за р. Сутолкою и зовётся также теперь *Бережною*. Посадская улица в старину начиналась от р. Белой и тут сходилась, в виду Ильин[ской] и Фроловской башен или ворот, с Ильинскою и Фроловскою улицами, а кончалась близ Покровской церкви и Покровской башни, откуда тоже был проезд чрез ныне называемую Бережную улицу, идущую к Покровской церкви. На берегу р. Белой под горой, где теперь лавки или так называемый *Нижний базар*, были и в старину лавки и базар и они были на *Посадской* улице. Тут же близ р. Белой стояла деревянная приходская церковь св. Троицы, с приделом Псковския Божия Матери; церковь эта сгорела от молнии в 1759 году, вместе с Посадскою улицею и крепостию, с пожаром исчезло в народе даже и самое название *Посадской* улицы.

Хотя в древности под именем посада значились все постройки вне крепости или города, однакоже исключительное название одной из всех других улиц «Посадскою» произошло в Уфе от того, что здесь велено было селиться исключительно одним купцам и посадским или мещанам, людям тяглым или податным, — податном сословию, тогда как на прочих улицах жили люди служилые — дворяне, приказные, стрельцы, пушкарки.

* * *

От церкви св. Троицы весь берег р. Белой был заселён — сначала почти до нынешней Случевской горы. Здесь была *Верхне-Троицкая* улица; теперь же здесь идёт улица тоже Бережная, и в Уфе теперь три Бережных улицы: здесь, за женским монастырём и та, что от Нижнего базара от р. Сутолки доходит до мостика чрез неё, близ Покровской церкви; кроме

того левая сторона Фроловской улицы зовётся тоже Бережною. От так называемой, по бывшему недавно дому г. Случевского, Случевской горы, в прошедшем столетии образовалась *Нижняя Троицкая улица и Труниловская*, теперь сохранившая эти оба названия, но более называемые Труниловской, по крайней мере, так можно предполагать на том основании, что в 1759 г. в донесении Уфимского воеводы Оренбургской губернской канцелярии, сказано, что от удара молнии загорелась сначала башня Фроловская и затем крепостная или кремлёвская деревянная стена и затем загорелась от головней Троицкая церковь, и пожар распространился по всему берегу р. Белой, где сгорели улицы Посадская, Верхняя и Нижняя-Троицкая и Труниловская, затем много погорело домов в Ильинской, Фроловской улицах в Голубиной слободке, или нынешней Голубиной улице, на Усольской, Будановской, Воздвиженской, Михайловской, Сергиевской и Богородской улицах; а всего сгорело до 500.

От Успенской башни, стоявшей посреди нынешней Усольской улицы около самого Успенского мужского монастыря, шла улица *Усольская*, выходящая в поле, где гора или сопка Усольская, отчего и произошло самое название Усольской улицы. Усольская гора, Усолье было местом популярным: здесь по праздникам бывали народные гулянья, водили хороводы и завивали венки в семик и троицын день. Усольская улица оканчивалась там, где теперь огороды, а в старину и даже до пожара 1805 года в конце Усольской улицы, с правой стороны, стояла деревянная церковь св. Михаила Архангела. Мимо церкви шла улица *Михайловская*, которая начиналась от Бережной улицы с правой стороны церкви, и кончалась уже в поле в виду Сибирской дороги; словом — Михайловская улица пересекала Усольскую от Бельского побережья до поля. Там, где теперь дом 3-й полицейской части, до пожара 1805 года, стояла деревянная церковь *Воздвижения Креста*, от этой церкви шла улица *Воздвиженская*, которая одним концом с правой стороны выходила на Бе-



режную, а другим с левой стороны в поле в виду Сибирской дороги, пересекая таким образом, также как и Михайловская, Усольскую улицу.

По левую сторону Усольской улицы от деревянной стены или частокола и Успенской башни начинались улицы *Сергиевская*, *Богородицкая* и *Будановская*. Рядом с Сергиевскою церковью стояла другая в честь Рождества Богородицы, и у обеих был один причт. Улица, идущая мимо церкви св. Сергия Радонежского чудотворца, звалась *Сергиевскою*, а идущая мимо церкви Рождества Богородицы – *Богородицкою*. На Усольской, Будановской, нынешней Сибирской и Московской и бывших Воздвиженской и Михайловской жили исключительно стрельцы, а на Сергиевской и Богородицкой – артиллеристы или пушкари, так как и св. Сергей считался святым патроном российской артиллерии и во всём артиллерийском ведомстве всегда ему устраивались храмы.

* * *

В старину улицы *Сергиевская* и *Богородицкая*, начинаясь от Усольской, кончались у Большой Сибирской, а *Будановская* – у Московской улицы.

* * *

При Петре Великом, в 1698 году, после подавления московских стрельческих бунтов и уничтожения московских стрельцов, (в провинциальных городах они были уничтожены позднее), прислано было в Уфу, на службу до 150 стрельцов, не участвовавших в бунтах. Появление их в Уфе произвело гвалт: «Воры, собаки, изменники, разбойники!» – кричали уфимцы. Никто не пускал к себе на квартиру новых москвичей, торговцы не хотели ничего им продавать. Ни в чём не повинные стрельцы послали к царю просьбу, и Пётр дал наистрожайший выговор *всем сословиям* Уфы, а в 1709 г., по новой просьбе переселенцев, приказал выслать в Уфу их жён и детей. Тогда отвели для новых переселенцев новые в городе места под постройки домов и так образовались улицы

Большая а потом *Малая Московские*. Московские улицы сходятся теперь с Сибирскою и Сергиевскою, но я не мог найти ничего такого касательно расположения прежней Московской улицы, она едва ли не остаётся и теперь в том же самом виде – обе улицы расположены без плана и в беспорядке.

Сибирская улица начиналась от церкви Покрова Богородицы, где в одной ограде стояла другая деревянная же церковь св. Николая Чудотворца. По сторонам этих церквей, чрез овраги, где речка Сутолка, шло и теперь существующее расположенное под горой разветвление улицы Сибирской. Сама же Сибирская улица начиналась, как мы говорили, от Покровской церкви, а оканчивалась в виду Сибирской дороги; разделение этой улицы на Большую и Малую Сибирские едва ли не произошло впоследствии, так как из документов XVII и начала XVIII столетий значится просто Сибирская улица, без такового разделения. На Сибирской улице жили вместе с стрельцами и другие лица. Посланный при Шуйском в Уфу воеводой известный дипломат, думный дьяк и подскарбий Афонасий Иванович Власьев и потомство его имели свой собственный дом на Сибирской улице. Последний из рода Власьевых умер при царе Алексее Михайловиче. В Уфе помнят однако же дом Власьевых, уже принадлежавший другому владельцу и сгоревший в 1805 году.

Нынешняя *Копейкина* улица, начинаясь от Сибирской улицы и близ Московской, оканчивается в поле, в виду Сибирской дороги. Она, кажется, возникла в конце прошедшего столетия, так как о ней ни в каких архивных документах ранее настоящего столетия нигде не упоминается, а именно до пожара 1805 года, как видно из дела Уфимской городской полиции, когда эта улица вся выгорела. Предание говорит, что улица названа *Копейкиной* по имени первого построившего дом на этой улице – Копейкина, по словам одних – казака, а других – мещанина.

Нынешняя Архиерейская слобода существовала уже в прошедшем столетии

под именем *Волновой* и *Волнушки*. Архиерейскою она же назвалась вероятно тогда, когда в 1799 году учреждена была в Уфе епархия Оренбургская и Уфимская и когда для услуги епархиального архиерейского дома, тут же около Волновой находящегося, поселено здесь несколько человек служителей архиерейского дома, выбранных из казённых или экономических крестьян Оренбургской губернии. В 1746 году «слободка Волнушка сгорела от нечаянного случая вся, а было всего 20 дворов» – писала Уфимская провинциальная канцелярия Оренбургскому губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву.

Теперь в Архиерейской слободке (назод её ещё всё так называет), три улицы: одна зовётся *Архиерейскою*, другая по старому её прозвищу – *Волновою*, третья же, идущая к берегу р. Белой, недавно, там, говорят, образовавшаяся – без всякого прозвища.

Итак, оказывается, что побережье р. Белой в Уфе было издавна местом населённым, так как здесь были Архиерейская слободка, Труниловка, улицы Бережная, Посадская, Верхняя и Нижняя Троицкая; все эти улицы тянулись по возвышенности берега р. Белой.

Казанская улица застроилась едва ли не позднее других уфимских улиц. В 1759 г.; здесь было всего до 30 дворов, с приходскою церковью Благовещения Богородицы, а в то время из них сгорело 18 дворов, как значится в донесении губернатору Уфимской провинциальной канцелярии, но сгорела ли Благовещенская церковь – о том ничего не сказано. Домохозяева Казанской улицы состояли из мещан, крестьян, подъячих. Тут же был двор заводчика Твердышева, где проживали его дворовые крепостные люди. На запад Казанской улицы за оврагом, в котором протекает р. Сутолка, здесь скорее похожая на ручей, там, где теперь Старо-Кладбищенская, Мало-Кладбищенская, Телеграфная и др. улицы, было чистое поле или городской выгон, где в 1771 г. на месте нынешней Успенской церкви было

кладбище. Точно так же за оврагом же на другой стороне Казанской улицы до самой Ильинской улицы было пустое пространство, теперь занимаемое Голубиною улицею. Во второй половине XVII века здесь между Казанскою и Ильинскою улицею это пространство заняла вновь образовавшаяся слободка, составленная из высленцев Сибирских слобод, как называли тогда нынешний Челябинский уезд Оренбургской губернии, где эти слободы, как видно из челобитья жителей сибирских слобод 1698 года Царям Иоанну и Петру Алексеевичам, возникли ещё в XVI веке (В челобитной были обозначены многие и теперь существующие селения Челябинского уезда и жители Сибирских слобод жаловались на самовольный захват земель и обид со стороны башкир, бежавших из Уфимского уезда в 1667 году, во время Сеитовского бунта, от преследования войск правительства).

Старший из высленцев назывался Голубиным, отчего и слобода между Казанскою и Ильинскою улицею называлась *Голубиною*, а народ, в силу старого предания, и теперь зовёт Голубиную улицу слободкой. Голубина слободка в 1672 году имела всего 15 дворов, следовательно не занимала того пространства, которое теперь занято Голубиною улицею. За неимением указаний, не можем даже и определить, откуда начиналась и оканчивалась Голубина слободка: начиналась ли она оттуда, где теперь начинается Голубина улица, т.е. от Нижнего базара?

В 1672 году высленец сибирских слобод Голубин со многими однодеревенцами просил Уфимского воеводу об отводе мест для 15 дворов позади Ильинской улицы, о Казанской же в просьбе не упомянуто,* и я полагаю, хотя, может быть, мнение моё и далеко не бесспорно, что едва ли существовали тогда в Уфе постройки на Казанской улице, или за Казанскою башнею, башня же стояла посреди Казанской улицы, недалеко от бывшего Рождественского монастыря и того места, где теперь пожарный двор 1-й полицейской части.

* Дела в свитках за № 1003–1005, в архиве Уфимской гражданской палаты.



Улица *Ильинская* начиналась, где и теперь – от нижнего базара, и проходя мимо Ильинской церкви, доходила, по преданию, до того места, где теперь Городская больница. Ильинская улица была самая значительная и лучшая по постройкам; в 1683 и 1759 годах здесь сгорело 30 и 42 двора, принадлежавших дворянам, приказным и разночинцам, как видно из дел воеводы и Провинциальной канцелярии.

Фроловская же улица начиналась от Нижнего базара и Фроловской башни, доходила до церкви св. мучеников Фрола и Лавра, стоявшей рядом с Ильинскою церковью. У обеих церквей был один церковный причт. Уфимские старожилы ещё помнят ветхую деревянную церковь

Фроловскую, сломанную в конце 1830-х годов, помнят в Уфе ещё и часовню Фроловскую, бывшую на крутом спуске Фроловской улицы, где после был построен дом чиновника Тихана. Часовня была построена в 1741 году в память прекращения в Уфе сильного конского падежа и именно в день памяти св. Фрола и Лавра, 18 августа. В эту часовню был ежегодно 18 августа отправляем крестный ход. На Фроловской улице в пожар 1759 года сгорело 24 двора, здесь жили ссыльные.

* * *

Из названных нами в настоящей статье улиц тому, кто знаком с нынешним городом, можно дать себе понятие о прежней Уфе.

Комментарии редактора

Части Уфы. Несколько городских кварталов (от 200 до 700 дворов) объединялись в одну полицейскую часть.

Церковь святой Троицы (до 1842 г. – Смоленский собор) стояла примерно там, где ныне находится Монумент дружбы.

Вавилов и Дудкин переходы соответственно через реку Белую – от Нижегородки в сторону Киржацкой слободы (начала улицы Ахметова в нынешнем Затоне) и через реку Уфу – в районе нынешней Новостройки и остановки «Трамплин».

Пожар **деревянной Троицкой церкви** в июне 1797 года наблюдал 6-летний Сергей Аксаков, так что либо Р. Игнатьев в данном случае ошибается, либо церковь после пожара 1759 г. восстановили.

Здания бывшего **женского Благовещенского монастыря** стоят в начале улицы Сочинской на правой (южной) стороне.

Голубина слободка, впоследствии улица Голубиная – нынешняя улица Пушкина ниже Цюрупы.

Улица Просечная, или Засека, позже Спасская, ныне Новомостовая, до устройства в 1820-х годах насыпей через овраги фактически состояла из двух коротких отрезков (на перекрёстках с Ильинской и Голубиной) и оврагов между ними.

Бекетовская улица – ул. Мустая Карима (Социалистическая), **Будановская** – Егора Сазонова, **Ильинская** – З. Валиди (Фрунзе), **Казанская** – Октябрьской революции, **Копейкина** – Сун Ят-сена, **Сергиевская** – Менделеева, **Сибирская** – Мингажева, **Телеграфная** – Цюрупы, **Усольская** – Сочинская, **Фроловская** – Тукаева.

Лазаретная улица – ул. Ленина севернее Коммунистической.

Кладбищенская улица – нынешняя улица Коммунистическая ниже Цюрупы, **Старо-Кладбищенская** – Худайбердина, **Мало-Кладбищенская** – Энгельса.

Церковь Успения Б.М. (Божией Матери) стояла на нечётной стороне нынешней улицы Коммунистической, на месте нынешнего дома №71.

Архиерейский дом был выстроен в 1828 году и снесён в 1972-м. Стоял чуть ниже и на месте нынешнего Дома Республики.

Пожарный двор 1-й части находился во времена Игнатьева на том же месте, где в первые годы XX века было выстроено дошедшее до наших дней кирпичное здание пожарного депо с каланчой (улица Октябрьской революции, 69).

Театральный сад, находившийся в квартале нынешних улиц Цюрупы, Тукаева, Матросова и Валиди, назван по выстроенному в нём в 1861 году театру.

Городская больница находилась на том месте, где в 1880-е годы было построено здание Губернской земской управы (с 1941 г. его занимает кабельный завод).

Дома **Солдатской слободы** находились позади Успенской улицы, за нынешней улицей Энгельса.

На границе «противостояния» разных культур

Как-то пришлось разговариваться с человеком, который уже уверенно вышел из юношеского возраста, но как бы не стал еще окончательно сформировавшимся мужчиной. В наше смутное время, когда размыты не только понятия, но и человеческие возрасты, очень трудно сориентироваться в духовном (не решаюсь сказать — интеллектуальном) уровне таких людей. Посмотришь: бойко толкует обо всем, в том числе о литературе и разных видах искусства, а уж в сфере политики вообще считает себя докой, судит не просто уверенно, но и безапелляционно, не давая послабления ни в чем, и любое возражение с чьей-либо стороны воспринимает не просто скептически, но и с плохо скрытой усмешкой. И я тогда понял: вот и нашему брату приходится не лицом к лицу, а стенка на стенку столкнуться с извечной проблемой отцов и детей. Однако в этой ошибке поколений победа заведомо принадлежит юным, ибо мнение «отцов» никогда не станет для них ни авторитетом, ни, тем более, ориентиром.

Правда, экземпляр, с которым я столкнулся, умел слушать собеседника, что уже было плюсом в спорах двух возрастов; он даже позволял себе на время замолкать и мысленно взвешивать мои слова, и, кто знает, даже извлекать из них какие-то выводы.

Впрочем, и мне-то ведь все это было до лампочки. Беспощадное, эгоистичное время, в котором нам сегодня приходится жить, кого угодно отучит от желания поучать или наставлять, кому-то давать «по-

лезные» советы, если даже эти «кто-то» — твои собственные дети.

Однако в тот момент, когда наша беседа, казалось, вот-вот должна была угаснуть, мой собеседник «неопределенного» молодого возраста неожиданно произнес:

— Знаете, вы не поверите, но я очень вам завидую. И вам, и вашему поколению. И я знаю, что не только я, но и многие мои сверстники.

— Чему же? — осторожно осведомился я, опасаясь получить свинью в свой огород.

— Как бы это объяснить... — вдруг замаялся он и, к моему изумлению, даже покраснел, но, видимо, не столько от смущения, сколько от затруднения в подборе нужных слов и выражений. — Вы жили в иной эпохе, у вас все было проще. Вы подчинялись каким-то неукоснительным правилам и законам. А главное — вы хоть во что-то верили... И мне иногда кажется: вполне искренне, хотя...

Он посмотрел мне прямо в глаза, и я увидел, что он не врет и не играет.

— Допустим, — все так же осторожно ответил я.

— Теперь всего этого нет. Власти создали для нас жуткую жизнь, отняли у нас все: и законы, и надежду, и веру. Мы можем верить только в себя.

— Разве это так уж мало? — на всякий случай спросил я, пытаюсь понять, к чему он клонит.

— В нашем возрасте это очень мало, — совершенно убежденно сказал он. — Но я не к этому. Теперь все это и дураку понят-

Газим Газизович Шафиков (1939–2009) родился 1 октября 1939 года в г. Фрунзе. Автор книг «Песни Шульганташа», «Формула Канта», «Последняя вспышка лампы» и др. Член Союза писателей. Лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева.



но: сейчас кому-нибудь поверишь... Тем более – властям, и тебе боком выйдет. Я о другом... В ваше время не было компьютеров, всяких тестов; роль телевидения сводилась к ясной и простой информативности. Вы не жили в этом радиолучевом мире, занимались спортом в свое удовольствие, а деньги выполняли лишь строго отведенную им функцию. Вы были, наверное, по-настоящему счастливыми людьми.

Я молчал, ожидая, в какую сторону развернет свои постулаты мой речистый собеседник.

– Вот я произвожу впечатление начитанного... И вообще, всесторонне развитого человека. Многие так и думают: перечитал гору книг, и вообще, знает столько, сколько другому и не приснится. Так думают, прежде всего, мои же сверстники. Хотя я-то ведь знаю, что это не так, и прочитал я в своей жизни, в сущности, очень мало книг. В читалке вообще не сидел, мне это претило. В театры почти не ходил... А в кино – только с какой-нибудь девочкой, чтобы посидеть с ней в потемках да пообжиматься. Самое смешное, что я и газеты читаю крайне редко, только то, что интересно.

– Где же ты тогда всего нахватался? – невольно вырвалось у меня.

– Вот именно – нахватался! – горько усмехнулся собеседник. – Вот так и на-

хватывался: где и как придется. Видимо, конституция моего мозга такова: умею хватать. Но прежде всего, конечно, мое образование вершило телевидение. То есть, самый обычный домашний «ящик», каковых в доме нашего отца было целых четыре – на каждого по одному. Да еще на кухне. Чтобы смотреть и во время еды. Вы мне поверите: все свои гуманитарные предметы в школе... а затем и в вузе – я сдавал по телику. Смотрел фильмы по произведениям классиков, запоминал содержание – и сдавал. Причем на сплошные пятерки. Не потому, что я мог столь убедительно пересказать «сюжет и образы», а просто потому, что делал это лучше других. Преподаватели и этому были рады.

Здесь я хочу оборвать нить нашего довольно продолжительного разговора с представителем «детей» и попытаюсь объяснить, для чего я вспомнил о нем и даже привел «тезисы» оппонента, которые, в принципе, ничем оригинальным не отличаются.

Трудно судить, изощрялся ли он в некоем красноречии (уж больно литературно выражался), старался ли продемонстрировать самокритичность или хотел потрафить моему «отцовскому» самолюбию – бог весть! – да ведь не откажешь ему в том, что он выразил суть нынешнего «интеллектуала» – этакого усредненного интеллигентного человека. Сходится, черт возьми, даже в смысле спорта, коим нынче мало кто занимается «для души», ибо никто к этому и не призывает и даже не заставляет, а если кто и подается в профессиональный спорт, то опять же ради денег.

Однако же все это малозначительно по сравнению с тем, как воздействует все сказанное и перечисленное выше на состояние нашей жизни и, прежде всего, культуры. Именно имитация образованности, а не серьезное (глубинное) ее постижение все больше приводит к торжеству массовой культуры (в лучшем случае!), а сказать точнее – к полной бездуховности, невежеству, дикости, и против этого пока проигрывает любая борьба, ибо она напоминает противостояние горстки вооруженных людей разъяренной толпе.

Так вот, духовное состояние общества последних лет, думается мне, характеризуется постоянным противостоянием культуры подлинной и культуры этой самой бездуховности. Подлинная культура из всех сил ведет борьбу за выживание, как ведет ее каждый отдельно взятый человек в нашей стране.

Сколько лет подряд уже идет фронтальный напор мелкоотравчатой литературы, «сдвинутой» на сексе и эротике (включая сюда и бесчисленное число детективов), и, кажется, несть тому конца. Хотя, справедливости ради, следует признать, что рядом с этим морем разливанным все чаще и чаще появляются книги классиков как зарубежной, так и отечественной литературы. Но это – лишь внешняя сторона робкого противостояния. Главные же причины кроются куда глубже. Я хочу выделить одну из них – отсутствие героя. И даже не того, «положительного» («делать жизнь с кого»), а героя вообще, ибо образ деляги, любого удачливого бизнесмена, предпринимателя или коммерсанта вряд ли согреет душу читателя, не остывшего от романтического прекраснотворения недавнего прошлого, исполненного трудовой доблести и безоглядного патриотизма. Вот и приходится сегодняшнему писателю конструировать малотиципного «героя нашего времени» на свой глазомер и помещать его в опять-таки сконструированный «реальный» мир, часто не имеющий никакого отношения к нашей действительности. Именно на почве этих художественных конструкций на гребень современной отечественной литературы вознеслась целая плеяда писателей нового толка, потенциальных кандидатов на премию Букера, которые как бы представляют лицо сегодняшней словесности. Именно их именами пестрят страницы столичных «толстых» журналов. Не обошли они и так называемые провинциальные издания, каковым является, например, журнал «Урал», который совсем недавно был рупором писателей разных национальных литератур региона. Именно этот факт привел к тому, что оказались смыты всякие литературные ориентиры, ибо ни «Чапаев и пустота» широко известного ныне В. Пелевина, ни

«Герой нашего времени» или «Андеграунд» не менее известного В. Маканина (кстати, нашего земляка), ни «Белка» А. Кима, ни «Слепой музыкант» М. Шишкина, ни ультра-авангардистские романы и повести Виктора Ерофеева, ни многие другие вещи, регулярно публикуемые в столь любимых и авторитетных прежде журналах, вряд ли могут являться художественными маяками для молодых. Напротив, они могут лишь дезориентировать юную поросль литераторов, создавая иллюзию, будто только эти направления творчества сулят сегодня успех у читателей.

Заметим, что подобные произведения, как бы виртуозно они ни были сконструированы и каким бы изощренным языком ни написаны (взять хотя бы «Страшный суд» В. Ерофеева), никак не могут воздействовать на «благонамеренного» читателя, привыкшего отдавать предпочтение классике.

* * *

Хоть и с натяжкой, но можно все же утверждать, что именно отсутствие четко выраженного (и по сути, того же «положительного») героя заставляет и башкирских писателей чаще обращаться к прошлому народа, где они чувствуют себя более вольготно, нежели во дне сегодняшнем, создавать так называемые «исторические» произведения – все больше романы. Я имею в виду и Булата Рафикова, и Яныбая Хамматова, и прозаика, работающего в жанре исторического эссе и научного исследования, Зигата Султанова, и некоторых других.

Современные живые герои, по существу, довольно редко становились объектами пристального внимания (тем более, психологического исследования) в книгах наших литераторов. Вот почему до сих пор изучаются в школе и представляют несомненный интерес в плане художественном повести и романы С. Агиша («Фундамент»), А. Вали («Первые шаги», «Цветок шиповника»), К. Мэргэна («На склонах Нарыш-Тау»), Б. Бикбая («Когда разливается Акселян»), А. Бикентаева



(«Лебеди остаются на Урале»); произведения писателей более молодого поколения — Фарита Исангулова, Нугумана Мусина и др. Хотя, следует отметить, произведения этих писателей еще несли в себе приметы ученичества и постепенного постижения литературного мастерства.

Большой резонанс получили последние романы Диниса Булякова «Жизнь дается однажды» и «Пришелец» — именно в силу того, что он пытался вникнуть в живые черты своих сегодняшних современников, в том числе, представителей научной и творческой интеллигенции.

С обретением гласности возникла надежда обрести и независимую литературную критику. Однако произошло нечто совершенно непредвиденное: мы потеряли и ту критику, что имели. Можно с уверенностью утверждать, что она сегодня вообще сошла на нет. На место критики (в понимании Белинского) пришло описательное литературоведение, которое пересказывает содержание произведения и затем по-своему истолковывает под видом художественного анализа.

И еще одно характерное явление: почти все бывшие литературные критики сами стали писателями и теперь создают рассказы, повести и романы. Это и Г. Хусаинов, и Р. Баимов, и Т. Кильмухаметов...

Причины исчезновения с нашей литературной почвы критики лежат на поверхности: никому не хочется подпадать под агрессивные нападки «обиженных и оскорбленных» авторов, от которых прежде оберегала партийная опека, а теперь не ограждает никто. Кому хочется быть объектом подобной агрессии? Кому хочется превратиться в изгоя на почве родной литературы?.. Вот почему «свободные» от всякой критической оценки авторы все больше уверяются в своей даровитости и значительности. Выход одной единственной и зачастую весьма посредственной книжки дает возможность войти в число «известных», а следовательно, стать кандидатом в члены Союза писателей. А там — и право на выпуск следующей рукописи

без всякого обсуждения; там и возможность выдвинуться на премию, а также право на проведение шумного юбилея с массами комплиментов и подношений в адрес юбиляра и т. п.

Как-то разом, один за другим, ушли из жизни русские литераторы старшего поколения. Но, как говорят, свято место пусто не бывает. Подпирают их возрастом такие прозаики, как Геннадий Баннов (1928), Леонид Лушников (1929), Рим Ахмедов (1933); в «живых классиках» ходит поэт Александр Филиппов. На этом фоне уже просматриваются молодые авторы, поэты и писатели, философы и эссеисты, которые пока больше печатаются в газете «Истоки» да в выпусках «самиздата», но завтра, несомненно, станут костяком русской литературы республики. Хорошую роль в смысле становления этих литераторов играет работа студии молодых при Союзе писателей Башкортостана. Живет самостоятельный кружок «молодых», возглавляемый сотрудником «Вечерней Уфы» А. Касымовым. Словом, горизонты нашей литературы обозначены достаточно зримо. Вот почему открытие русского общественно-литературного журнала «Бельские просторы» представляется не только своевременным, но и крайне необходимым. Разумеется, он был нужен во все времена. Но именно сейчас, когда истинная культура и литература ведут сражение за умы и сердца людей, появление его на окоеме словесности — как башкирской (в переводе), так и русской — является особенно важным. Сегодня резко возрастают роль и значение секции переводчиков при Союзе писателей РБ (руководитель — Г. Шафиков). Впервые появляется возможность широко и всесторонне представить многоязычному читателю произведения русских, башкирских, татарских и иных писателей. Это — журнал для всех. Журнал для литераторов и театроведов, искусствоведов и музыковедов. Журнал для политических обозревателей и философов. Словом, для всех тех, кто владеет пером и умеет оригинально мыслить. И потому хочется всем нам пожелать счастливого пути и свободного фарватера.

Не так просто, как кажется

Заметки о труде переводчиков художественной литературы

Однажды, в те еще годы, когда при Союзе писателей существовало бюро по пропаганде художественной литературы, командировали меня в Белебей встречаться с читателями. Среди прочих устроили мне там встречу и в одной из школ. В зале собрались ученики средних — с пятого по восьмой — классов. Как приноровиться к такой неусидчивой и не очень-то внимательной публике, чем угодить ей? Почитать стихи? Но мои стихи адресованы взрослым, ребята, подумалось, заскучают.

Поразмыслив, решил завести разговор о деле, которым в ту пору занимался уже не от случая к случаю, а постоянно, — побеседовать о художественном переводе, о труде переводчиков, названных кем-то из литературных критиков офицерами связи между народами. На мой взгляд, тема эта должна была заинтересовать ребят, тем более что школьной программой она не затрагивается, а если и затрагивается, то вскользь.

Беседу, учитывая возраст ее участников, надо было повести в занимательной форме, поэтому начал я с вопроса:

— Кто из вас читал «Приключения Тома Сойера»?

Взметнулось несколько десятков рук.

— Отлично! А кто написал эту книгу, можете сказать?

— Марк Твен!

— Совершенно верно: замечательный американский писатель Марк Твен. Вы, наверно, знаете, что писал он на английском языке, но книгу вы прочитали на русском. Значит, кто-то перевел ее или, иначе говоря, пересказал по-русски. Кто это сделал? В книге названы имя и фамилия переводчика, — вы запомнили их?

В ответ — молчание.

Если бы я спросил, кто сочинил книжки, известные каждому с самого раннего детства, — книжки о Мухе-цокотухе, о Мойдодыре, о докторе Айболите, — уверен, тут же получил бы правильный ответ: Корней Чуковский. Имя этого корифея детской литературы, полагаю, знают и чтят в каждой русскоязычной семье, но вот как-то проскальзывает мимо внимания юных и не только юных читателей тот факт, что Корней Иванович увлеченно занимался и теорией перевода, и самой переводческой работой. Благодаря именно ему Том Сойер стал одним из любимых героев российской детворы.

Конечно, переводческая деятельность в сравнении с оригинальным писательским творчеством менее заметна, автор произведения затеняет, заслоняет переводчика. Тем не менее самые выдающиеся умы и таланты не чурались этой деятельности, занимались ею с не меньшим, чем при создании собственных произведений, горением, стремясь и таким путем приумножить духовное богатство своего народа, своей нации.

Обратившись к истории русской литературы, мы обнаруживаем блистательную плеяду литераторов, отдавших должную дань и переводам с других языков. Первым в их списке можно поставить В. Жуковского. И до него были усердные переводчики, но он возвел это дело в ранг высочайшего искусства. Хрестоматийными стали его слова о том, что переводчик в поэзии — соперник автора, то есть, равен с ним по таланту. Правда, Василий Андреевич тут же несправедливо обидел переводчика прозы, назвав его «рабом», но, как говорится, Бог ему судья.

Не пренебрегали переводческой работой ни великий Пушкин, ни Лермонтов,

трудности перевода



ни... да стоит ли перечислять всех гениев, чьими стараниями мы приобщены к сокровищам всечеловеческой культуры. Тут нужно лишь отметить одно интересное явление: если перевод сделан гением, то уже имя автора остается в тени, а то и вовсе выпадает из читательской памяти. Скажите, кто теперь помнит, что «дедушка Крылов» позаимствовал часть своих басен у иноземных сочинителей? От переведенных им с французского басен настолько «Русью пахнет», что мало кому придет в голову доискиваться до их иноязычных корней. Или вот у Лермонтова: «Горные вершины спят во тьме ночной...» Хоть убейте меня, — не воспринимаю я эти стихи как перевод с немецкого. Не воспринимаю, несмотря на лермонтовское указание: «Из Гете». Это — русские стихи, шедевр русской поэзии.

Бывают случаи, когда переводчик при самом искреннем желании уйти в тень переводимого автора не может добиться этого в полной мере — берет верх сила его собственного дарования. Попался мне недавно на глаза пушкинский «Зимний вечер» в переводе на татарский язык. Перевод изумительный, совпадение — почти слово в слово, и размер соблюден, и рифмы найдены звучные. И все же это не совсем Пушкин: слова-то — Александра Сергеевича, а интонация — Габдуллы Тукая.

Но литературу создавали и создают не одни лишь гении. Есть в ней место и просто хорошим поэтам и писателям, а рядом с ними работают просто хорошие переводчики. При этом случается, что хороший переводчик обретает славу, чуть ли не равную славе автора, чьими произведениями он, переводчик, порадовал своих соотечественников. Люди старшего поколения помнят, какой фурор произвели в России стихи Роберта Бернса в переводе С. Маршака. И поныне, заговорив о великом шотландском поэте, мы тут же вспоминаем имя переводчика, совершившего литературный подвиг.

К сожалению, такие примеры редки, переводчики в большинстве своем популярностью не избалованы, хотя их труд, подчас тяжкий, достоин глубокого уважения.

Чтобы дать моим юным белебеевским собеседникам представление о том, насколько сложна, кропотлива, трудна работа переводчика, я предложил своего рода игру. Предположим, сказал я, нужно перевести на какой-нибудь африканский язык, например на язык бушменов, какую-нибудь русскую фразу, скажем, песенную строку «Во поле березонька стояла...» Для этого мы можем воспользоваться компьютером, в память которого заложены все слова обоих языков. Компьютер способен даже стихи и музыку сочинять, так что пусть поработает, а мы поможем ему подсказками.

Итак, включаем компьютер. Для начала он должен перевести слово «поле». Когда мы слышим это слово, в нашем воображении возникает прежде всего участок земли, вспаханной и засеянной какой-либо сельскохозяйственной культурой: пшеницей, кукурузой, картофелем и т. д. Но образ березоньки как-то не вяжется с кукурузным или картофельным полем, не правда ли? Значит, надо выяснить и другие значения слова «поле». Оно означает и травянистую равнину, степь. Вот в этом значении оно для нашей березоньки подходит. А как называется травянистая равнина в Африке? Если вы были внимательны на уроках географии, то запомнили это название...

— Саванна!

Выходит, «по-бушменски» начало фразы будет звучать так: «Во саванне...» Далее предстоит решить задачу посложней. Дело в том, что бушмены не имеют никакого представления о березе, у них там она не растет. Как быть? В книге можно было бы сделать сноску, дать пространное объяснение в конце страницы, но в песне-то сноску не сделаешь. Придется заменить березу каким-то другим, известным бушменам деревом. Какое дерево наиболее характерно для саванны?

— Баобаб!

Что ж, пусть будет баобаб, точнее — баобабики, ведь березонька наша имеет уменьшительно-ласкательную форму. Последнее слово — глагол «стояла» —

особых затруднений не вызывает, глагол — он и в Африке глагол. Как же наша фраза прозвучит «по-бushmanски»?

— Во саванне стоял баобабик!..

Собеседники мои, что называется, со смеху покатались. Смешно, конечно. Но переводчику иногда впору заплакать.

Еще в молодости у меня сложилось убеждение, что народные песни переводу не поддаются. Будучи студентом, я все свободное время проводил в редакции нашей республиканской молодежной газеты, тянуло меня туда как магнитом, очень интересовала журналистская жизнь, да и приработать несколько рублей к студенческой стипендии было не лишне. Как-то сотрудники газеты пригласили в редакцию знаменитого кураиста Гату Сулейманова. Он как раз вернулся из Индии, где побывал на гастролях в составе небольшой бригады нашей филармонии. Тогда артистов, тем более периферийных, за границу выпускали чрезвычайно редко, так что эти гастроли, прошедшие с огромным успехом, стали для республики немалым событием. Вот молодым журналистам и захотелось послушать героя дня.

Встреча прошла, как говорится, в теплой, дружеской обстановке. Перед уходом кураист спросил, не сможет ли кто-нибудь помочь ему — надо перевести кое-что на русский язык. Среди сотрудников редакции были штатные переводчики, но они переводили с русского на башкирский. Артисту указали на меня.

— Кустым (братишка), — сказал Гата-агай, — перескажи, пожалуйста, порусски содержание нескольких песен, которые мы исполняем на сцене. Нас ведь не только башкиры слушают, надо, чтобы и другие понимали, о чем поем...

Он протянул несколько листочков, я принял их, пообещав выполнить просьбу, но, вернувшись на свою студенческую квартиру, задумался: как же так, разве позволительно пересказывать песню, тем более — народную, обыденными словами, в прозе? Почудилось мне в этом кощунство.

Я сызмала люблю башкирские народные песни, комок к горлу подкатывает,

когда слушаю их. Может быть, ошибаюсь, но представляется мне, что ни один другой народ не создал песен, которые столь конкретно и с такой эмоциональной силой озвучивали бы его прошлое — и трагичное, и одновременно героическое.

Я решил сделать поэтический перевод полученных от Гаты Сулейманова песен. И вот бьюсь над этим день, второй, третий — ничего не получается. Верней, получается нечто вроде чепухи с баобабиком...

Не выполнил я просьбу именитого земляка.

Много лет спустя меня пригласили принять участие в переводе на русский язык многотомного издания, объявше-го все башкирское народное творчество. Я выбрал для себя бытовые сказки и, работая над ними, с тревогой думал, что же будет, когда дело дойдет до народных песен, кто решится взяться за них. Решился Дим Даминов. Не знаю, сколько песен он успел перевести, — слишком рано тяжелая болезнь оборвала жизнь нашего талантливого товарища. Кто-то продолжил его работу, теперь том с народными песнями стоит на книжной полке, но я не заглядывал в него — боюсь разочароваться и оскорбить этим память близкого мне поэта.

Невероятно трудно добиться равнозначности, или, воспользуюсь иностранным словом, идентичности, при переводе на другой язык не только народных песен, но и вообще произведений, обладающих наряду с высокими художественными достоинствами и своеобразием еще и тем, что определяется термином «народность».

В свое время огорчила меня изданная в Москве книжечка стихов Рами Гарипова «Песнь баеворонка»; я высказал недовольство в рецензии, напечатанной в газете «Советская Башкирия». У меня была (и сейчас я ее бережно храню) одноименная книжка Рами на башкирском языке с дарственной надписью автора. Я положил две книжки на стол рядом. Сопоставление оказалось явно не в пользу московского издания. Перевод на русский язык был сделан грамотно, но не слышался в переведенных стихах то грустновато-задумчивый, то словно бы



прерывающийся от волнения голос поэта, тогда еще не названного официально народным, однако уже признанного читателями таковым, — поэта, страстно влюбленного в родную речь, в родную землю и глубоко озабоченного судьбой своего народа. Получилась в переводе холодная гладкопись. Не называю имени переводчика, — он имел благие намерения, только не сумел осуществить их, потому что в переводческом деле не все так просто, как кажется.

Когда я писал упомянутую рецензию, пришлось мне на ум сравнить стихи Рами с башкирским медом. Мед наш славится далеко за пределами Башкирии, так почему бы не производить его и в других краях, скажем на Кавказе или на Сахалине? Хитрое ли дело перебросить несколько семей нашей неприхотливой «бурзянки» хоть за десять тысяч километров — погрузи в самолет, и в тот же день ты уже на новом месте. Так-то оно так, да башкирского меда там ты не получишь, если даже пчелы на новом месте приживутся. Не тот будет у меда вкус, не тот аромат, целебные свойства могут утратиться, ибо для производства именно башкирского меда нужны наши леса с их липняками, наши травы и цветы, даже вода и воздух нужны наши. То же самое можно сказать о литературном произведении: наибольшей силой оно обладает на той почве, на которой возросло.

Чувствую, что я несколько сгустил краски и читатель, возможно, задастся вопросом: неужто под видом сочинений иноязычных авторов ему подсовываются лишь суррогаты? Да нет же! Если не полное совпадение с оригиналом, то достаточная близость к нему достижима, только не каждому, кто берется за перевод, удастся справиться с возникающими при этом трудностями. Что нужно переводчику для достижения успеха? Вот об этом и пойдет речь дальше.

* * *

Незадолго до своей кончины Союз писателей СССР созвал переводчиков в Мо-

скову на всесоюзное совещание. Из Уфы на совещание послали Асхалю Ахметкужина и меня.

Разговор в Москве шел скучновато, ораторы развивали, в основном, один тезис: переводчик должен знать язык, с которого переводит, работа по подстрочнику ведет к искажению, обеднению и т. д. Мне это надоело, я попросил слова и высказал примерно такие мысли: москвичка Елена Николаевская башкирским языком не владеет, тем не менее значительная часть лирики Мустая Карима, равно как и стихи некоторых других виднейших башкирских поэтов, пришли к русскому читателю в превосходных переводах Николаевской и, так сказать, транзитом через русский язык разошлись по всему белому свету. В чем же секрет Елены Матвеевны? Во-первых, в том, что сама она — талантливая поэтесса, у нее очень развито поэтическое чутье, позволяющее угадывать тонкости переводимой вещи.

Таким образом, продолжал я, талант, литературное дарование или способности, назовите это как хотите, — вот что прежде всего нужно переводчику, хотя и знание языка, с которого переводишь, не лишне. Во-вторых, переводчик должен знать, желательно — хорошо знать историю народа, чьим представителем является автор, знать обычаи и особенности быта этого народа. И, наконец, разбираться в самых элементарных вещах. А то один московский переводчик недавно насмешил, заставив нашу илишевскую бабушку вязать для внучонка носки из козьей шерсти. Да будет вам известно: козья шерсть в отличие от овечьей, коротка и груба, ее не спрядешь, а на носки для внучат так же, как на знаменитые оренбургские пуховые платки, обожаемые и башкирками, идет подшерсток, именуемый козьим пухом...

В перерыве Николаевская подошла ко мне, чтобы познакомиться, поблагодарила за теплый отзыв о ее работе и вздохнула:

— А все-таки хотела бы я знать башкирский язык...

Я подумал: «Ах, Елена Матвеевна, если бы знали вы, от каких терзаний извмбавляет вас ваше незнание!..»

При работе с использованием подстрочника, то есть первичного, пословного, без претензий на какое-либо литературное качество перевода, грех невольных неточностей ложится на того, кто делал подстрочник. Официальный переводчик — тот, чье имя будет названо читателю, — работает с легким сердцем, даже не подозревая, что то или иное слово не идентично слову, употребленному автором переводимого произведения.

Другое дело, когда владеешь языком оригинала. Я, например, знаю башкирский язык и не просто понимаю смысл того или иного слова, а чувствую его смысловые и стилистические оттенки, его эмоциональную насыщенность, его ассоциативные связи и постоянно терзаюсь оттого, что не могу выразить все это русским словом, содержащим в себе, казалось бы, то же самое понятие.

Язык — кладовая тысячелетий, а слова — шкатулочки в ней, — шкатулочки, в которые каждый народ в течение веков вкладывал свое понимание окружающего мира, по-своему, в зависимости от условий существования, эмоционально окрашивая те или иные предметы, явления, действия. Поэтому-то есть все-таки разница между разноязычными словами, означающими, казалось бы, одно и то же.

Возьмем для примера самые простые, на первый взгляд, слова: хлеб, дом, конь... Что такое хлеб для русского человека? Скорей всего, это — пышный каравай, испеченный в жаркой печи. У башкира несколько иное представление о хлебе. Его предки когда-то кочевали, позднее, перейдя на полuosедлый образ жизни, выезжали на свои кочевья летом. Ни условий для получения кислого теста, ни жаркой печи рядом у них не было; башкирка пекла пресные хлебцы в горячей золе из костра. «Колсэ» — «золник» — так называли хлеб башкиры. Теперь, конечно, все ходят за хлебом в магазин, буханки на столе у всех одинаковые, но

историческая память живуча, она отложилась в языке, хранится в тех самых «шкатулочках».

А сколько мыслей и волнующих воспоминаний вызовет у русского слово «дом», в особенности тогда, когда заходит речь о доме родительском! Ведь это не просто стены и крыша над головой. Это и деревце за окном, и скворечник над крышей, и двор ваш, и улица ваша, и тропинка, по которой вы бежали на речку или в ближний лес, а главное — это любовь, царившая в вашей семье, и друзья, приходившие к вам, и еще очень многое другое, близкое вашему сердцу. У башкир дома в смысле историческом появились сравнительно недавно; их предки, как мы уже отметили, кочевали, и жилищем им служила юрта. Кстати, по-башкирски это войлочное жилище называется «тирмэ», но в русской литературе закрепилось слово «юрта», поэтому и я при переводе использую это слово.

Юрты ставились по кругу, дворов при них не было, как не было и улиц, переулков, околиц, столь привычных для русских. Башкир не мог сказать: «Иду домой», — ведь и дома не было. Он говорил: «Я возвращаюсь», — и соплеменник понимал, что он идет в свою юрту. Но если я скажу точно так же при переводе исторического романа, русский читатель точного смысла фразы не уловит. Как видим, дом для русского и башкира далеко не одно и то же.

Наконец — конь. Русский подразделяет коней по возрасту и полу на жеребят, стригунков, взрослых жеребцов и кобыл. В судьбе башкира конь играл, видимо, гораздо большую роль, и это зафиксировано башкирским языком: каждая возрастная ступень в жизни и жеребцов, и кобылиц (год, два, три и далее) получила свое название. Тут великий и могучий русский язык пасует перед башкирским.

Все это переводчик должен знать и помнить.

Замечу еще, что разноязычные слова, даже очень близкие по смыслу, иногда



резко отличаются одно от другого своей стилистической окраской. На простонародную тюркскую речь оказала сильное влияние цветистая восточная поэзия, поэтому то, что вполне естественно, обыденно в устах башкира, русскому может показаться чересчур напыщенным; и переводчику приходится поломать голову над тем, как предотвратить это.

Проблемы, проблемы...

Настоящая беда для переводчика — пословицы, поговорки, идиоматические выражения. Предположим, башкир скажет вам по-русски: «Вон у тех двоих связались волосы». Вы удивитесь: «те двое» стоят на некотором расстоянии друг от дружки и нет никаких признаков того, что их волосы связаны. Тут мы имеем дело с недоразумением, вызванным буквальным переводом идиомы, означающей, что двое, юноша и девушка, влюбились друг в дружку. Можно бы так и перевести: влюбились, — но как жаль терять художественно насыщенную фразу!

Для равновесия следует заметить, что у башкира вызовет недоумение дословный перевод русских идиом, например, «бить баклуши», «подложить свинью» и т. д.

Если башкирскую пословицу невозможно перевести на русский язык без ущерба для ее смысла, переводчик обычно подыскивает замену среди русских пословиц, но прием этот требует осторожности: сугубо русская пословица, вложенная в уста башкира, породит у читателя ощущение фальши, недостоверности того, что ему сообщается.

Часто перед переводчиком встает вопрос, как транскрибировать, написать по-русски иноязычное, в частности, башкирское слово, имя, географическое название. В русской литературе прижились, например, слова «джигит», «аксакал», но у меня, когда перевожу с башкирского, они вызывают сомнения. Джигит в понимании русского человека — лихой парень, удалец на коне. По-башкирски это слово звучит немного иначе — егет, и значение его шире: это и удалец, и просто юноша, молодой че-

ловек, потенциальный удалец. Я в своих переводах с башкирского пишу «егет».

«Джигит» и «аксакал» отражают татарское звучание этих слов. Многие башкирские имена, фамилии, названия населенных пунктов, рек, озер, гор вошли в русскую официальную документацию и художественную литературу в отатаренном, если можно так выразиться, облике, поскольку в прошлом переводчиками при русских чиновниках служили чаще всего татары.

Башкиры говорят не «аксакал», а «акхакал». Хотя транскрипция «акхакал» тоже не совсем точна (в русском алфавите нет буквы, соответствующей звуку, обозначенному буквой «х»); она, эта транскрипция, все-таки ближе к подлинному башкирскому произношению.

Давно уж я хлопочу о том, чтобы узаконить в переводческой практике написание, согласующееся с башкирской фонетикой. В связи с этим с одной из моих журнальных публикаций случился казус. Кто-то из редакторов или корректоров принялся вставлять в повторенное не раз слово «акхакал» букву «с» вместо «х», но усомнился, видно, в своей правоте и не довел дело до конца. И читатели, наверное, недоумевали, видя то мой вариант, то вариант «исправленный».

При переводе с башкирского или татарского языка на русский я не нуждаюсь в пресловутом подстрочнике, но если он кем-то уже подготовлен и предложен мне, держу его под рукой, чтобы временами сверять свой перевод с переводом безвестного литературного «негра»: один ум хорош, два — лучше. Изредка подстрочник оказывается настолько удачным, что остается лишь слегка подправить его редакторской рукой и отправить в печать.

Известен мне такой случай. Сагиту Агишу, признанному мастеру башкирской прозы, позвонили из редакции газеты «Литературная Россия», попросили прислать подстрочники нескольких его рассказов. Писатель обратился за помощью к молодому тогда журналисту Зиннату Аминеву, тот сделал подстроч-

ный перевод. Спустя некоторое время один из рассказов появился в газете, переводчиком его был назван известный московский писатель-юморист. Сагит Агиш, охая и ахая, пришел к Аминеву, показывает газету; не понял, говорит, я их юмора, смотри, говорит, в четырех местах чуть-чуть подправили твой перевод, а переводчиком назвали вон кого! Долго возмущался Сагит-агай, всем, кого бы ни встретил, сообщал, что такой-то писатель бессовестно присвоил чужой труд.

Но подстрочники такого уровня появляются, повторю, лишь изредка, чаще они посредственны или вовсе невразумительны. Возможно, из-за этого после снятия глупого запрета с имени Мифтахетдина Акмуллы московские переводчики не смогли понять его стихов, не взялись за их перевод на русский язык.

Акмулла — выдающийся башкирский поэт XIX века. Отринув некоторую вычурность восточной литературы, он заметно приблизил язык поэзии к языку простонародному, понятному всем; и в конце жизни оценил свое творчество так:

*Поизносился мозг твой, Акмулла,
Не ладилась всю жизнь твои дела,
Но кровь вскипала, ум сверкал алмазом,
И слово в цель летело, как стрела!*

Поэтическое наследие Акмуллы велико по объему, вместились всего лишь в одну небольшую книжку. Но из этой книжки так же, как из грибоедовского «Горя от ума», вылилось в народную речь множество остроумных выражений, метких оценок, крылатых фраз. Стихи Акмуллы передавались из уст в уста, ходили в рукописных списках, причем не только среди башкир — татары и казахи тоже считали и считают Акмуллу своим национальным поэтом.

Чем же можно объяснить попытку предать поэта такого масштаба забвению? Думаю, тем, что идеологические перестраховщики усмотрели в стихах Акмуллы религиозные, то есть реакционные с их точки зрения мотивы. Это — во-первых. Во-вторых, страшноват был сам факт существования башкирской литерату-

ры задолго до Октябрьской революции, признание этого факта противоречило бы тезису об обретении башкирами письменности лишь при советской власти. Тут произошла подмена понятий: обрели-то не письменность, а алфавит, письменность была и прежде, — пользовались арабским алфавитом.

Недоразумения в конце концов разрешились, было решено торжественно отметить 150-летие со дня рождения выдающегося поэта. Я работал в то время в редакции газеты «Советская Башкирия». Газета, естественно, должна была опубликовать подборку юбилейных материалов, да вот беда — нет переведенных на русский язык стихов Акмуллы. Пришлось спасти честь редакции мне: спешно перевел знаковое стихотворение «Башкиры мои, надо учиться!» Оказалось, это и еще несколько других стихотворений перевел и Газим Шафиков, они появились в «Литературной газете».

В ходе подготовки к юбилею диван — сборник стихов — Акмуллы был издан на башкирском языке в Уфе и на татарском в Казани, а на русском, как я уже сказал, не получилось. В один из послеюбилейных дней на каком-то собрании ко мне подошел директор Башкиркогоиздата Н. Нуртдинов и говорит:

— Слушай, ты перевел стихотворение Акмуллы, а не возьмешься ли за всю книжку?

— Нет, — ответил я, — боюсь, что один не осилю. Но если согласятся Газим Шафиков и Дим Даминов, пожалуй, вдвоем сможем. На том и порешили.

Ну вот, круг замыкается, я возвращаюсь к разговору о подстрочниках. Дим Даминов, работавший тогда главным редактором книжного издательства, разделил на три части подготовленные для москвичей подстрочники, чтобы каждый из нас троих помнил, какие стихи пришлось на его долю.

Просматривая доставшуюся мне часть подстрочников, я наткнулся на странную фразу: «Мой брат с большим пузом». Странность заключалась в том, что поэт якобы обращается так к близкому ему



человеку. Что за дичь? Решил сверить подозрительную строку с оригиналом, но в уфимском издании стихотворения, на которое указывал подстрочник, не оказалось. Нашел его в казанском издании. Ага, вот искомая строка! Есть в ней слово «большой», имеющее также значения «пожилой», «старший». Есть упоминание утробы, обернувшейся «пузом», но обращение на самом деле звучит так: «Мой старший единоутробный брат!»

Ай да «негр»! Экую свинью подложил второпях московским переводчикам! То-то они ничего не поняли! Я не знал, как отреагировать на это — расхохотаться или грохнуть кулаком по столу...

Как ни прискорбно, всякого рода нелепицы проскакивают из подстрочников в книги, и довольно часто. Читая переведенную на русский язык повесть Баязита Бикбая «Когда разливается Акселян», я удивился: герой вдруг начинает «почесывать землю». С чего это он, думаю. Не поленился, заглянул в оригинал. Оказалось — нелепица, связанная с переводом слова, имеющего два значения: земля и место. Составитель — назовем его так — подстрочника переводил слово за словом, не вдумываясь в общий смысл; официальный переводчик тоже, видимо, не слишком напрягал свой ум; ну и получилось, что герой принялся почесывать землю, в то время как у автора он почесывает зачесавшееся место на своем теле.

Задним числом признаю: ораторы, наскучившие мне на всесоюзном совещании переводчиков, все ж были правы, важно знать язык, с которого переводишь.

Да, забыл сказать: сборник Акмуллы втроем мы осилили.

* * *

Много споров вызывает вопрос, какова степень свободы переводчика, в какой мере он может отходить от оригинала. Можно сформулировать вопрос и так: какую задачу должен ставить перед собой переводчик, — достичь полного совпадения перевода с оригиналом или добиться, чтобы перевод органично вписался в ли-

тературу народа, которому он, переводчик, служит.

Ответ, очевидно, надо искать у классиков литературы.

Пушкин и Лермонтов, думается, стремились не столько к точности перевода, сколько к удовлетворению духовных запросов и художественного вкуса русского читателя, поэтому не боялись вольного обращения с произведениями иноязычных авторов. То же самое можно сказать и о таких выдающихся переводчиках, как Маршак.

Как-то побывала у меня в руках — очень недолго — прелюбопытная книга. Я успел лишь торопливо перелистать ее и обратить внимание вот на что. В книге было напечатано стихотворение Роберта Бернса «Джон Ячменное Зерно», а рядом — оно же в переводах на русский язык, выполненных в разные годы разными переводчиками.

Оказывается, перевод этого стихотворения впервые появился в России еще в XIX веке. Очень смешной перевод. Короли в нем превратились в царей, Джон — в Ивана, в уста шотландского поэта вложены сугубо русские, даже древнерусские восклицания типа «Гой еси!..»

По-современному звучат на редкость схожие меж собой переводы Э. Багрицкого и С. Маршака; Маршак, может быть, лишь в каких-то деталях превзошел товарища по перу. Оба они, словно сговорившись, разделили длинную строку Бернса надвое, то есть из каждой строчки получились две. Благодаря дополнительной рифме в строфе и невольной при чтении паузе в конце каждой строки, ритм стихотворения, формально соответствуя авторскому, на самом деле чудесным образом переменялся, стал более энергичным, задорным — под стать характеру лихого Джона.

*Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно...*

Это — в переводе С. Маршака.

Интересно, что и Маршак, и Багрицкий отбросили последнюю строфу стихотворения. Смысл ее сводится, говоря сегодняшним языком, к лозунгу «Да здравствует свободная Шотландия!» Для Бернса, патриота Шотландии, боровшейся с Англией за свою независимость, такая концовка была, надо думать, чрезвычайно важна. Но времена изменились, лозунг потерял свою актуальность. Этим соображением, видимо, и руководствовались переводчики. Вправе ли они были изменять, сокращать произведение великого поэта? И да, и нет. Да, если перед переводчиком стояла задача произвести на русского читателя как можно большее впечатление художественными достоинствами произведения, — политический «довесок» к нему мог это впечатление ослабить. Нет, если переводчик должен был представить нам документ минувшей эпохи.

В данном случае и Маршак, и Багрицкий могли бы указать, что перевод — вольный. В литературной практике нередки и вольный перевод, и свободное переложение, и, так сказать, параллельное произведение на тему, заданную иноязычным автором.

Давным-давно, во время несения солдатской службы, я, не совсем уверенный в своих переводческих способностях, написал стихотворение, параллельное «Черемухе» Назара Наджми, и отослал его в Уфу, в молодежную газету, указав под заголовком в скобках: «Из Н. Наджми». После окончания службы при встрече с Назаром Назмутдиновичем сказал ему смущенно, что вот, мол, использовал его тему, хотел сделать перевод, да не получилось.

— Как не получилось! Очень даже получилось! — воскликнул экспрессивный Назар-агай. — Я уже включил твой перевод «Черемухи» в свою московскую книжку. Никто еще не понимал меня так хорошо, как ты!

Поздней Назар Назмутдинович расхваливал меня за перевод его «Аленушки», к слову сказать, приписанный в московском издании Е. Николаевской, — редактор, видать, напугал. Приятно, когда

тебя хвалят, но похвалы поэта, удостоенного впоследствии звания народного, я воспринимал просто как проявление его душевной щедрости. Башкирские литераторы старшего поколения относились к нам, молодым, по-отечески, всегда были готовы поддержать, подбодрить, воодушевить добрым словом.

А насчет «Черемухи» я заговорил для того, чтобы высказать мысль: если сам автор видит в твоём переложении перевод, то некоторое отступление от его текста, наверное, не так уж и страшно.

* * *

Первым крупным прозаическим произведением, за перевод которого я взялся по предложению Башкирского книжного издательства, был роман Джагиля Киекбаева «Родные и знакомые».

Хочу обратить внимание читателя на время, когда было создано это произведение. На последней странице рукописи автор указал дату окончания работы над ней: 12 июля 1946 г. Башкирская литература, имевшая давние, устоявшиеся традиции в поэзии, только еще осваивала жанр романа. К тому же первопроходцы жанра погибли, попав под каток сталинских репрессий, их книги угодили в спецхран, для широкой читательской публики стали недоступны. Таким образом, Дж. Киекбаев как бы начинал строительство на голом месте. Человек высокообразованный, он, конечно, знал русскую литературу, читал европейских авторов на языке оригинала, и все-таки поразительная покоренная им художественная высота.

Забегая вперед, скажу: перевод «Родных и знакомых» после издания в Уфе был переиздан в Москве, роман получил доброжелательную оценку в центральной печати. Я ставлю его вровень с «Иргом» Хадии Давлетшиной, написанным несколько позже и вызвавшим огромный общественный резонанс. По своей образности, языковому богатству, проникновению в характеры героев, освещению жизни, обычаев, быта башкирского аула и социального расслоения в нем роман Дж. Киекбаева, по моему мнению, и по



ныне остается образцом для башкирских прозаиков.

Но вот парадокс: роман увидел свет лишь спустя много лет после его создания и, к великому сожалению, после смерти автора. При обсуждении рукописи в Союзе писателей автор оказался в ситуации, подобной той, что описана в михалковской басне «Слон на вернисаже». Участники обсуждения накидали столько замечаний, что Дж. Кiekбаев, махнув рукой на свое детище, ушел с головой в науку и стал известен не только как писатель, но и как выдающийся ученый, языковед-тюрколог...

Работать над переводом «Родных и знакомых» мне было чрезвычайно интересно. У меня еще не было опыта работы над эпической прозой, я не знал многих тонкостей башкирского языка и потому рылся в словарях, в исторической, краеведческой, этнографической литературе, по старой дружбе надоедал телефонными звонками Булату Рафикову, чтобы уточнить смысл того или иного слова, той или иной фразы, ведь Булат Загреевич писал по-башкирски и, разумеется, знал башкирский язык намного лучше, чем я.

И все же оставалось множество неразрешенных вопросов. Однажды я завел разговор об этом с Римом Ахмедовым при случайной встрече на лестничной площадке Дома печати. У Рима Билаловича уже был переводческий опыт, он перевел на русский язык роман Гали Ибрагимова «Кинзя», отмеченный вскоре после этого премией имени Салавата Юлаева. Увлечшись разговором, мы простояли на лестничной площадке, наверное, больше часа, и я получил много полезных практических советов, по меньшей мере, два из них запомнил на всю жизнь.

Первый совет: не нужно делать в книге много сносок, лучше добиться, чтобы незнакомое читателю слово стало понятным ему из контекста. Иной переводчик якобы ради национального колорита оставляет в переведенном тексте множество иноязычных слов, делает на каждой странице чуть ли не десяток сносок. Это затрудняет чтение, раздра-

жает читателя, как раздражают сейчас телезрителя рекламные вставки в интересной телепередаче.

Второй совет: если автор переводимого произведения жив, полезно почаще встречаться с ним. Тесное общение позволяет лучше понять изложенные им мысли, выяснить его творческие пристрастия, вместе проще устранить просчеты автора, если таковые обнаружатся. А какие-нибудь ошибки, неувязки, неясности обязательно при переводе обнаруживаются, ведь ни один редактор не вчитывается в текст так внимательно, как переводчик.

Общаться с Джалилем Гиниятовичем я уже не мог, хотя и знал его при жизни, но вот с Булатом Рафиковым, когда переводил на русский язык его книги, встречался очень часто.

Я перевел три романа Булата, хорошо мне с ним работалось. Еще в молодости между нами установились отношения, схожие с отношениями старшего и младшего братьев. Старшим был я, Булат немного уступал мне в возрасте и в пору совместной работы в редакции молодежной газеты по должности ходил у меня в подчинении. Поздней он стал моим начальником по линии Союза писателей, но наши отношения оставались прежними, не менялись до конца его жизни.

Пользуясь своим старшинством, я нещадно критиковал Булата, обвинял его в торопливости: посидел бы, дескать, над романом подольше, и пусть бы он стал вдвое толще за счет более тщательной детализации, зато уж это была бы классика! Он всегда выслушивал меня молча, терпеливо, лишь изредка появлялись в его глазах подозрительные искорки. Должно быть, он про себя посмеивался, и все же мои назидательные монологи не пропадали зря. В процессе перевода Булат, например, дополнил уже изданный роман «В ожидании конца света» еще одной главой, ввел любовную интригу, отчего роман лишь выиграл, стал интересней.

При работе с произведениями покойных авторов менять что-то по-крупному уже невозможно. Иногда возникает необходимость исправить явную ошибку, и то

долго маешься, прежде чем решишься на это, — не этично же!

В «Родных и знакомых» я столкнулся с арифметическим просчетом автора. Один из персонажей романа после русско-японской войны возвращается из японского плена. Дело, стало быть, происходит примерно в 1907 году. Вернувшись, парень женится, а спустя семь лет, когда началась первая мировая война, уже провожает сына на германский фронт, — шестилетнего получается. Как быть? Пришлось пожертвовать эпизодом проводов, благо, он не играл существенной роли в романе.

* * *

В 50-х годах в Уфе квалифицированных переводчиков практически не было, взоры башкирских литераторов были с надеждой обращены к Москве и Ленинграду. Порой москвичи приезжали к нам, запирались в гостинице и трудились, месяцами не отрываясь от письменного стола. Из Ленинграда к Мустаю Кариму приехал Михаил Дудин.

Каким-то образом Михаил Александрович, уже признанный поэт-фронтовик, запомнил меня, студента, и, случайно встретив на улице, предложил вместе прогуляться по городу. Мы спустились по нынешней Коммунистической к скверу имени Маяковского, прошли два квартала по улице Цюрупы, продолжили прогулку по улице Пушкина и говорили, говорили — естественно, о поэзии.

Поводом для этой прогулки послужило, возможно, то обстоятельство, что я первым перевел на русский язык еще не успевшее стать знаменитым стихотворение Мустая Карима «Я — россиянин». Перевод появился в «Советской Башкирии», и как раз в тот день состоялся республиканский слет молодых и начинающих литераторов. На слете первый секретарь обкома комсомола, размахивая свежим номером газеты, поставил меня всем в пример. Но перевод мой был ученический, Мустафу Сафича, весьма требовательного к переводчикам, он, как полагаю, не удовлетворил. Стихотворение

заново перевел Михаил Дудин, и в его мастерском переводе оно потом печаталось в разных изданиях десятки, если не сотни раз...

К 70-м годам в Уфе сложилась и окрепла группа местных переводчиков. Это были поэты и писатели, совмещавшие собственное творчество с переводческой работой. Прекрасно писал и переводил Геннадий Молодцов, много сделали для приобщения русских читателей к творчеству башкирских литераторов Рамиль Хакимов и Дим Даминов, — все трое, к сожалению, уже ушли из жизни. Остаются в строю ветераны — Александр Филиппов, Газим Шафиков, Роберт Паль и ваш покорный слуга. Несколько позже нас ступил на переводческую стезю Юрий Андрианов. К своему уфимскому цеху мы относим и живущих в Москве Ильгиза Каримова с Юлаем Аминовым. Не знаю, сожалеть или радоваться тому, что отошел от переводческой работы Рим Ахмедов. Скорее — радоваться: он целиком посвятил себя другому большому, благородному делу — исцелению больных, его «Одолень-трава» помогает выздороветь тысячам людей, угнетенных разными недугами.

Я назвал не всех «офицеров связи» между башкирским и русским народами, их список длинней, но переводчиков все же не хватает. Учитывая это, Союз писателей Башкортостана в свое время послал в Литературный институт имени Максима Горького пятерых молодых людей — специально для подготовки переводчиков с башкирского. Пока что радует и своими стихами, и переводами лишь один из выпускников института — Айдар Хусаинов.

А работы много. Башкирская литература уже не та, какой была в годы нашей молодости, она освоила все основные литературные жанры, созданы десятки крупных произведений. Мне доводилось видеть у книголюбов полные комплекты «Библиотеки башкирского романа», вошедшей в себя около сорока книг. Можно бы начать издание на русском языке и самостоятельной серии «Башкирский исторический роман». Я делился мысля-



ми об этом в издательстве «Китап», идею восприняли положительно, директор издательства поэт Кадим Аралбаев, выступая несколько лет назад на писательском съезде, сообщил, что в издательских планах предусматривается выпуск такой серии. Но годы идут, а дело что-то не движется.

Благодаря художественной литературе мы в подробностях знаем историю Франции или Англии, знаем намного лучше, чем историю родной республики. А ведь и наша история богата, в ней очень много интересного.

Есть люди, полагающие, что башкиры пришли на Урал с татаро-монголами. На самом деле именно башкиры долгое время удерживали захватчиков на рубеже реки Урал, не пропускали на Русь. По свидетельству венгерского монаха Юлиана, побывавшего в те годы на территории современного Башкортостана, сопротивление башкир длилось четырнадцать лет. Юлиан пришел в наши края в поисках родины предков, живших до ухода на Дунай на берегах Агидели, бок о бок с башкирами. Разве все это не интересно? Между прочим, в Будапеште я был и удивлен, и обрадован, увидев на уличной вывеске слово «каляпуш». Оказалось, под этой вывеской работает шляпная мастерская. Спросите в любом башкирском ауле, что такое каляпуш, и вы услышите — головной убор, шляпа. Вот каким образом вдруг напоминает о себе давнее-преданнее соседство.

Вот еще один любопытный факт: в те же времена татаро-монгольского нашествия на Европу Египтом правил... баш-

кир. Как он туда попал, как поднялся на вершину власти? Знаете ли вы об этом? Если не знаете, могли бы узнать, читая книги Булата Рафикова, только где их теперь найдешь?

Каждый век жизни башкир в минувшем тысячелетии в той или иной мере освещен в романах Булата Рафикова, Ахияра Хакимова, Кирея Мэргэна, Гали Ибрагимова, Яныбая Хамматова, Рашита Низамова. Особо повезло веку двадцатому. «Родные и знакомые» Джалиля Киекбаева, «Иргиз» Хадии Давлетшиной, эпопея Зайнаб Биишевой «К свету!», романы Фарита Исянгулова, Роберта Баимова — это ведь тоже история. Значительная часть произведений исторической тематики уже переведена на русский язык. Нужно только перевести еще кое-что и привести книжную россыпь в систему, имея в виду, что при надлежащем полиграфическом исполнении и коммерческий успех серии вполне вероятен.

Книгоиздательское дело осложнено финансовыми проблемами, вызванными общим кризисом в России. Москве стало наплевать на нас, выпуск книг в издательстве «Китап» резко уменьшился. Всплывшие на мутной волне предпринимательства ловкачи в погоне за легкой прибылью завалили книжные прилавки «ходовым», далеким от подлинных ценностей чтивом и откровенной похабщиной. Но не вечно же это будет длиться! Как только жизнь народа немного улучшится, непременно возродится тяга к нормальной книге. Будем надеяться, что это время уже недалеко, и готовиться к нему!

Круг чтения

Стрижевский В. Расцвели яблони и груши. – Казань, 2015.

9 мая 1945 года в Уфе моросил лёгкий весенний дождь. Какое это имеет значение, скажет кто-то, ведь главное – ПОБЕДА! И всё-таки будет не совсем прав, ибо нам, родившимся позже того великого дня, важны все мельчайшие его детали, подробности, штрихи. Ведь именно из них и состоит то, что мы называем жизнью. Удивительно, но и в тот июньский день, когда на Красной площади в Москве к подножью мавзолея были брошены знамёна и штандарты поверженных фашистских войск, тоже моросил мелкий дождь. Наверное, он шёл неспроста, ибо радость того дня была «со слезами на глазах», возможно, сама природа скорбела о тех, кого уж не вернуть.

К чему я об этом? Бог дал нам зрение, и на мир мы все смотрим вроде бы одинаковыми глазами, вроде бы все видим одно и то же. Но лишь немногим дано увидеть и постигнуть суть вещей, глубину жизни, а не только её внешние проявления. Как у Бориса Пастернака:

*Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.*

Вот и о той Великой войне можно рассказывать, не произнося при этом ни слова. Нужно для этого «совсем немного» – владеть искусством отображения реальности. Быть мастером. Стрижевским, например. Со страниц вышедшего к годовщине Победы альбома Вячеслава Александровича на нас смотрят глаза людей, познавших все

ужасы войны; людей, прошедших через то, что сегодня нам кажется почти невыносимым. Вот у Вечного огня обращается с молитвой к Всевышнему седобородый Защитник Родины; вот опустил очи долу в церкви другой Защитник. А на соседней странице ещё один бравый Воин (хотя и немного постаревший) вспоминает боевую молодость, наливая «главкомовские» 100 грамм. Эти люди навсегда останутся для нас Защитниками. Теми, кто спас наши города, наши сёла, сохранил для нас реки и поля. Наше небо. И ту радость Победы, что они завещали нам, мы должны хранить вечно.

В книге Стрижевского мы видим и много молодых лиц – девчонок и мальчишек XXI века, само появление которых на белый свет стало возможным только благодаря тому, что их деды и прадеды выстояли. И победили.

В предисловии автор говорит, что собирал материалы для своей книги несколько лет. За это время ушли в мир иной М. Карим, Т. Кусимов, А. Пикунов, А. Виноградов, Т. Ахунзянов, Д. Мурзин. Нет уже с нами и многих других, но благодаря В.А. Стрижевскому, мы и сегодня можем видеть их улыбающиеся или повоенному суровые лица.

Вячеслав Александрович изменил бы себе, если бы не поместил в книгу, фактически фотоальбом, несколько собственных очерков о ветеранах войны. И каждый из них – история жизни. Будь то личный фотограф маршала Жукова Георгий Авраменко, один из высших руководителей Башкирии советских лет Тагир Ахунзянов или встретивший войну в Брестской крепости сельский учитель Ришат Исмагилов. «Я видел сон, что сижу у реки, мою ноги, надеваю лапти и бегу к моей любимой,

Круг чтения



единственной незабвенной жене, которая подарила мне счастье быть влюбленным в жизнь», – очерки эти (впрочем, как обычно у Стрижевского) читаются с огромным интересом. Понятно, что написать их мог только влюбленный в жизнь человек и достойный преемник тех, кто прошёл через войну с «лейкой» и блокнотом.

Что же касается дождя, то о тех победных майских днях Ольга Берггольц так и писала:

*Запомни даже небо и погоду,
всё впитывай в себя, всему внимли:
ведь ты живёшь весной такого года,
который назовут Весной Земли.*

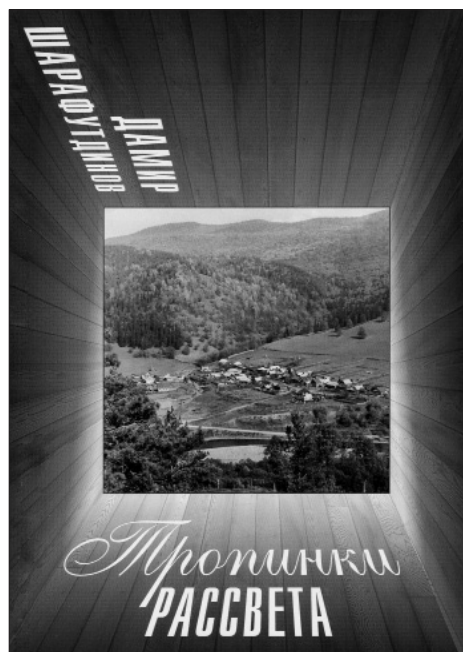
Анатолий Чечуха

Шарафутдинов Д. Тропинки рассвета: автобиографическая повесть. – Уфа: Инеш, 2015. – 240 с.

Книга-билингва известного поэта, прозаика, журналиста и переводчика Дамира Шарафутдинова издана на башкирском и русском языках. Автор рассказал о жизни мальчишек маленькой деревушки, где нет даже электричества. Чем же могут заниматься летом ребята, у которых нет ни телевизора, ни компьютера, ни айфона?

Но жизнь настоящих мальчишек всегда полна приключений, забавных и увлекательных дел, на которые не хватает даже долгих летних дней. Вот и герои Дамира Шарафутдинова поднимаются вместе с зарей и отправляются в дремучие леса навстречу опасностям и необыкновенным открытиям. Хотя задача их вполне приземленная: они кротоловы, то есть добывают пушнину знаменитого ценным мехом крота. Этот промысел не так давно был очень распространен в горно-лесных районах, только ныне сошел на нет.

Герои Д. Шарафутдинова – истинные патриоты своей земли, они интересуются историей, участвуют в общедеревенских делах, мечтают о светлом будущем. При-



чем в прямом смысле этого слова, поскольку журналы и книги читают при свете керосиновой лампы. И эти мальчишки-кротоловы готовы отдать заработанные деньги сельсовету, чтобы в деревню наконец-то пришло электричество...

Литература. Культура. Имена

РЕСПУБЛИКА...

* * *



14 августа – 130 лет со дня рождения художника и педагога **Василия Сыромятникова** (1885–1979). Василий Степанович – один из основоположников профессионального изобразительного искусства

Башкортостана, организатор уфимского отделения Ассоциации художников революционной России, был научным сотрудником Уфимского художественного музея (Художественный музей им. М.В. Нестерова), где основное внимание уделял сбору образцов народного декоративно-прикладного искусства башкир. Первый сделал попытку классифицировать обширный круг предметов материальной культуры башкир. Один из первых живописцев, увековечивших природу и быт башкир.

* * *

15 августа – 90 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника РБ **Сергея Литвинова** (1925–2003). Сергей Александрович работал художником Башкирского творческо-производственного комбината, где занимался декоративным оформлением общественных зданий в Уфе: Дворца УМЗ, Дворца спорта, Уфимского энергетического техникума, бассейна «Нефтяник», Башкирского драматического театра, Дома профсоюзов и др. Автор работ «Уральская сказка» (1963), «Дед Урал» (1966), «Полет шмеля» (1968),

«Каменные россыпи» (1960), «В травах» (1980), «Звезда упала» (1984), «Натюрморт с дичью» (1957), «Божница матери» (1970), «Натюрморт с крыльями» (1984) и др.

* * *



16 августа – 90 лет со дня рождения сценографа, заслуженного художника БАССР **Константина Головченко** (1925–2003). Константин Александрович – участник Великой Отечественной войны. Работал художником в драматических театрах СССР (Чита, Севастополь, Хабаровск, Ирбит, Семипалатинск, Бийск). С 1964 года жил в Уфе, работал художником Башкирского творческо-производственного комбината. Оформил около 110 спектаклей. Автор пейзажей «Река Белая под Уфой» (1978), «Утро в нефтяном крае» (1978), «Хребты уральские» (1982), «В степях Башкирии» (2000) и др.

* * *

27 августа – 65 лет башкирской поэтессе **Сасание** (настоящее имя – Сасанбаева Эльмира Джиганбаевна). Автор сборников стихотворений «Страница» (1990), «Муза Тэнгри» (1996), «Ход времени» (2001) и фантастических рассказов на башкирском языке. Лауреат премии имени Гали Ибрагимова (1999).

Культурная среда



...И МИР

* * *



2 (14) августа – 150 лет со дня рождения поэта, романиста, критика и публициста **Дмитрия Мережковского** (1865–1941). Яркий представитель Серебряного века, вошёл в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историософского романа. Автор романов «Христос и Антихрист», «Царство Зверя», исторических эссе, пьес «Будет радость», «Гроза прошла», «Маков цвет» и др. Начиная с 1914 года был десять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

* * *



22 августа – 95 лет со дня рождения американского писателя **Рэя Брэдбери** (1920–2012). Известен по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и роману «Вино из одуванчиков». За свою жизнь создал более восьмисот различных литературных произведений, в т.ч. романы, повести, рассказы, пьесы и др. Его истории легли в основу нескольких экранизаций, театральных постановок и музыкальных сочинений.

* * *

23 августа – 135 лет со дня рождения писателя-прозаика, поэта **Александра Грина** (наст. фамилия – Гриневский;



1880–1932). Представитель неоромантизма. Ему принадлежит около 400 произведений, в т.ч. «Бегущая по волнам» и «Алые паруса». В 1985 году имя «Гриневия» присвоено малой планете 2786. В 2000 году учреждена ежегодная Российская литературная премия имени Александра Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды.

* * *



28 августа – 90 лет со дня рождения писателя **Юрия Трифонова** (1925–1981). Автор романов «Студенты» (Сталинская премия третьей степени), «Утоление жажды», «Нетерпение», «Старик»; повестей «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной»; рассказов «Вера и Зойка», «В грибную осень» и др.

* * *



30 августа – 155 лет со дня рождения живописца **Исаака Левитана** (1860–1900). В 1898 году ему было присвоено звание академика пейзажной живописи. Автор картин «Берёзовая роща» (1885–1889), «Вечер на Волге» (1888), «Вечер. Золотой Плёс», «Золотая осень. Слободка» (1889), «Осенний пейзаж с церковью» (1893–1895), «Озеро. Русь» (1899–1900).

Подготовила Ольга Литвинович

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 7

Мальчишкам
и девчонкам,
а также их
родителям!





Розалия Вахитова,
16 лет, МБОУ ДОД ЦДТ Октябрьского района г.Уфа,
литературно-художественное объединение «Парнас»

Ангел-спаситель

Вы когда-нибудь чувствовали панический ужас, сковывающий все мышцы и каждую клеточку мозга?.. Отчаяние, несравнимое ни с чем? Безудержное, сумасшедшее желание жить? Вы когда-нибудь перерождались?

– Мей, – я позвал сестрёнку, убежавшую далеко вперед. – Где ты там?

– Я здесь, дагэ, – ответила девочка. – Идём сюда.

Я вздохнул и поплёлся туда, откуда слышался её голос. Мы находились в старом, заброшенном, покинутом всеми деревянном доме. Хотя домом эту развалюху можно было назвать с большой натяжкой. В нём было три этажа. Он сквозил, и в некоторых комнатах протяжный вой ветра был похож на многоголосье призраков. Я ступил на лестницу, и хруст гнилых досок заставил меня тут же в страхе одёрнуть ногу.

«И что я тут забыл?», – пронеслось у меня в голове.

Ах, да. Это всё моя сестренка Мей. Восьмилетняя плутовка заставила меня встать ни свет ни заря и пойти с ней сюда, чтобы посмотреть что-то очень интересное. Увидев полуразрушенное здание, я собрался её отругать, но её уже и след простыл. Так, я оказался в этом проклятом месте. По городу о нём ходили тысячи самых страшных легенд и слухов. Местные дети клялись, что видели здесь духов, и большинство обходили дом стороной. Но только не Мей. Эта сорвиголова вместе с хулиганами из класса уже давно обследовала всё внутри и наизусть знала каждый сантиметр. После очередной её выходки мне приходится разгребать проблемы, как, например, сейчас. Ну, почему она не растёт обычной девочкой, любящей куклы и наряды?

За несколько минут мне, наконец, удалось подняться на второй этаж. Осторожно держась за стены, я обошёл зияющую дыру в полу и облегченно вздохнул. Мей нашлась. Она сидела на корточках в дальнем углу и что-то напряженно разглядывала.



– Дагэ, скорее! – заметив меня, сказала малышка.

Я подошёл к ней и увидел, что среди старого барахла, в куче какого-то тряпья лежат двое крошечных щенят. Оба были вислоухие, с короткой мягкой лоснящейся шерстью и чуть закругленными хвостиками. Один – чёрный, непоседливый, с чуть более вытянутой мордочкой. Второй – белый, безмятежный, неповоротливый. Ещё слепые, они неумело переползали лапами и искали мамино брюхо.

– Их мать, по-видимому, ушла... или умерла где-то в подворотне, – сказала Мей. Из её рюкзака появились две бутылочки с пипетками, наполненные молоком. Мей взяла чёрного на руки и принялась его поить. – Поможешь?

Я боязливо прикоснулся ко второму щенку. Почувствовав, как он дрожит, успокаивающе погладил его по шерстке и, немного подождав, когда он привыкнет, тоже присоединился к кормёжке.

Через час мы закончили ухаживать за щенками и уже собирались идти домой, как вдруг я почувствовал сильный толчок и, не удержавшись, упал на пол. Рядом с криком упала Мей. Казалось, земля ушла из-под ног. Толчки не прекращались, и, растерянные, мы не могли встать с четверенек, не то, что удержать равновесие. Затем, последовал дикий, яростный, давящий на уши гул, послышался звон битого стекла. Всё вокруг затряслось так, будто наступил апокалипсис.

– Мей! – во весь голос завопил я, пытаюсь взять её за руку.

Но распластавшаяся на пыльном полу Мей ничего не понимала и, распахнув в ужасе свои чёрные глаза, не двигалась. Её лицо перекосилось в некрасивой гримасе, и что-то чудовищное проступало в этом выражении.

– Ме-ей!!! – ещё сильнее закричал я, но то ли гул перекрывал звуки, то ли мне только казалось, что я кричал. – Очнись, Мей!!!

Очередной толчок вызвал обрушение здания. Сверху на нас повалились доски. Я, как в замедленной съёмке, видел, как стена уже вот-вот собирается обрушиться прямо на маленьких щенят. В этот момент Мей, выйдя из забытья, сделала то, что мы из-за нечеловеческого давления никак не могли сделать ранее. Она вскочила с места и, с трудом передвигая ногами, кинулась спасать щенят. Я представила, как Мей заваливает досками. Нет, я не мог этого допустить!

– Давай же, ну! – надрылся я и, через силу поднявшись, ватными ногами направился к сестрёнке.



Мне почти удалось оттолкнуть её, но в это мгновение раздался грохот, и стена вместе с потолком стали стремительно падать на нас. Нам совсем некуда было бежать. Обнявшись крепко-крепко и зажмурив глаза, мы ждали своей участи... На меня посыпались деревяшки. Одна особенно сильно ударила по голове, и я почувствовал, что теряю сознание.

Очнулся я от жуткой духоты и чьих-то всхлипываний. Вокруг была черная непроглядная тьма. Сухой пыльный воздух забирался в самое горло, отчего я тут же закашлялся.

– Дагэ? – до меня донесся жалобный стон сестрёнки. – Ты жив?

– Кажется, – не очень уверенно ответил я. – Что случилось?

– Дом обрушился, – выговорила Мей. – Мы под завалом.

Она находилась совсем рядом. Я слышал её тяжелое прерывистое дыхание. Она попыталась подползти ко мне, но доски над нами тут же затрещали, и Мей в страхе замерла.

– Всё, хорошо. Не двигайся. Сейчас что-нибудь придумаем, – наигранным бодрым голосом сказал я.

Я не мог ничего придумать. От слов Мей мне стало страшно, к горлу невольно подкатывал ком. Я в ужасе понял, что не чувствую под собой ног. Попытки пошевелиться не дали результата, и я без сил опустился на пол.

– Нас найдут, – успокаивающе заговорил я, стараясь дотянуться до сестрёнки. Наши пальцы едва соприкоснулись.

Сам я был уверен, что нас уже никто никогда не найдёт. По щекам текли горячие слёзы. Я тихо плакал. Рядом, сжимая в руках два скулящих комочка, также тихо плакала Мей. Я не хотел умирать. И она тоже.

Шли минуты, а может быть даже часы. Я покорился судьбе и провалился в пустоту. Вскоре в голове стали раздаваться какие-то стуки, только я не придавал этому значения. Не знаю, сколько времени прошло. В какой-то момент я услышал скрежет, а потом на меня дохнуло свежим прохладным воздухом. В сплошной темноте передо мной возник лучик света – небольшая щель, размером с ладонь. Шум приближался, и я хотел закричать: «Мы здесь! Вот они, мы!», но из моего горла вырвался лишь сдавленный хрип.

Вдруг я услышал мягкий мужской голос, он, несомненно, говорил что-то успокаивающее, только почему-то моё сознание отказывалось воспринимать его слова. Гремели доски, я слышал, как огромная машина разъезжает вокруг, пытаюсь вызволить нас



из плена. Щель понемногу расширялась, но мои глаза всё ещё не привыкли к пронзительному свету, и в ярких огнях белое, склонившееся ко мне лицо, казалось ликом ангела.

«Пить», – подумал я. Тут на меня полилась холодная вода. Она текла по моим волосам, и я старался поймать языком каждую капельку, которая была целым глотком жизни для меня.

«Это рай?», – пронеслось в голове.

Когда ангел ответил мне на незнакомом языке, я увидел, что мы на свободе. Рядом столпились люди в форме и больших зеленых касках. Позади них катили спасательные краны, безжалостно давящие остатки дома. Наш спаситель аккуратно подхватил меня на руки и положил на носилки.

– Мей... а как же Мей? Мей! – выкрикнул я, стараясь встать, но чьи-то сильные руки меня остановили.

Вскоре из завалов вынесли сестрѐнку. Она была жива и всё ещё держала в руках маленьких щенят. Увидев Мей, я зарыдал совсем как маленький. Следом за мной начала реветь и она. Мы выглядели так, как будто не мылись несколько лет: грязные, чумазые, со спутанными волосами и опухшими от слез красными глазами. Мей положили на носилки рядом со мной и, схватив хрупкую детскую ладонь, я ещё долго не выпускал её из рук.

Начался дождь. Он неистово хлестал меня по щекам, и я не узнал знакомую с детства улицу. Дороги покрылись трещинами, дома превратились в груды досок и камней. Вдали мигали машины скорой помощи, а рядом с развалами располагался палаточный лагерь, в котором сновали туда-сюда белокожие ангелы в прозрачных





дождевиках. Над одной из палаток развивался трёхцветный флаг. Я догадался, что это были спасатели из России.

Нам оказали медицинскую помощь. Какая-то девушка спросила на китайском, как можно связаться с нашими родителями и дала нам две тарелки с очень вкусным супом. Там было много россиян. Все они, расположившись на земле, подбадривали нас. Оказалось, что нашего спасателя звали Иван. Он возглавлял группу спасателей, вылетевших на вертолете для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Любой человек прошел бы мимо заброшенного дома, в котором мы были, но Иван, следуя интуиции, полез осматривать развалины и приказал привезти технику, чтобы их разобрать. Команда ни на секунду не усомнилась в его решении. Провозившись почти час, спасатели уже было хотели сдаться, но услышав скулеж наших щенят, с ещё большим энтузиазмом принялись за работу. Именно благодаря спасателям мы с сестренкой сейчас живы и сидим здесь.

– Юн, Мей! – послышался до боли родной голос. У входа в палатку стояла наша мама. Заплаканная, растрёпанная, она взволнованно благодарила спасателей.

– Мама! – Мей первая бросилась к ней в объятья. А я, взяв на руки белого сонного щенка, подошел к нашему спасателю и протянул ему маленький комочек. Тот с улыбкой его принял, и я со всех ног побежал к Мей с мамой...

* * *

Я стоял возле выхода из аэропорта «Шереметьево» и караулил чемоданы, пока Мей искала автоматы с газировкой.

– Вот и я, – передо мной появилась взбудораженная сестрѐнка. Я и сам немного нервничал. Мы впервые были в России, и всё благодаря Мей. Она стала одной из немногих студенток, сумевших показать блестящие знания и приехать в Москву на учёбу по обмену. Последние десять лет Мей усиленно изучала русский язык, загоревшись идеей попасть в эту снежную и загадочную страну. Что ж, её мечта сбылась.

Перед нами остановилась машина, и из неё вылез мускулистый белоснежный пёс, за ним последовал седоволосый мужчина. Это был наш русский друг Иван...



Илюза Биглова,
13 лет, МБОУ СОШ № 119, г. Уфа



Номер спасения – 112

Если с вами случилось несчастье
Или вдруг приключилась беда,
Не забудьте позвать соседа
Или сразу звоните туда,
Где помогут вам в вашей проблеме,
Там, где добрые люди всегда.
Назовите ваш адрес и имя,
И решится любая беда.
Номер этот совсем несложный
Там три цифры, их помни всегда.
112 – вот номер спасенья.
Пусть решится любая беда!

Булат Галиев,
11 класс, МАОУ гимназия №16, г. Уфа

Спасатель – профессия века

Ежедневно по телевизору мы слышим множество новостей о действиях спасателей. То они ликвидируют последствия аварий, то отворяют дверь нерадивому хозяину, оказавшемуся взаперти, то спускают с дерева кошку – любимицу бабушки и внуки. Мы привыкли к тому, что если люди попадают в беду, то к ним спешат на помощь, и уже не замечаем подвиг этих самых «помощников». А ведь быть спасателем непросто...

Первое знакомство с представителем этой профессии происходит ещё в детстве. В киножурнале «Ералаш» спасатель предстает как любимец ребятни, который всегда готов прийти на помощь. Знакомство со спасателями продолжается в голливудских фильмах. Они предстают сильными, смелыми мужчинами, которые с некоторой показной легкостью помогают тем, кто попадает





в самые сложные ситуации. В итоге в сознании людей формируется очень романтическая профессия. Ну, действительно, кто бы не захотел быть героем в глазах окружающих и главным любимцем девочек? Но кино и жизнь – разные вещи. Профессия спасателя не просто сложна, она опасна и подразумевает готовность жертвовать своей жизнью ради спасения другого человека. Гражданин, твердо решивший стать спасателем, должен быть готов каждый день преодолевать огромные физические нагрузки и зачастую ставить работу выше своих интересов. Этой профессией не овладевают из корыстных целей: спасателями становятся только те, чье призвание помогать людям.



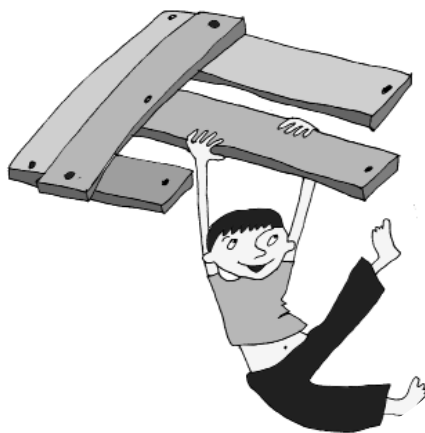
Специальные спасательные ведомства в России были созданы относительно недавно – в 1990 году. Вспомним спасательную операцию в Финском заливе 1899 года, когда броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» сел на мель. Тогда впервые была использована радиосвязь, что и определило успех операции, которая показала не только потрясающие возможности новых технических средств, но и, как мне кажется, необходимость в обучении людей, подготовленных к проведению аварийно-спасательных работ.

В заключение хотелось бы сказать, что профессия спасателя занимает особое место среди множества опасных профессий, задача которых спасать человеческие жизни. Спасатель не имеет узкой специализации: он должен быть всегда готов справиться с любой угрозой для безопасности окружающих. Поэтому спасатель – профессия века!



Слушайте, люди!

Слушайте, люди! Во все города,
Во все уголки страны,
Куда неожиданно проникла беда,
На помощь придут они –
Спасатели, сильные люди – герои,
Хвалы, уважения, чести достойны.
Вы знаете? В городе N
Живет мальчик по имени Ден.
Он озорник и баловник,
И слушаться он не привык.
Однажды летним жарким днем
Играл Ден в доме, что на слом
Давно назначен был. И вот
Скакал и прыгал обормот.
Так раскачал все балки он,
Что рухнул аварийный дом.
Лишь миг – спасатели пришли
И под обломками нашли
Героя нашего целехоньким, живым.
У Дена в памяти навек неизгладим
Остался этот случай. В тот же день,
Когда лучи редели, удлинялась тень,
Пообещал серьезно всем
Стать спасателем наш Ден.
Кто знает, через много лет
Исполнит ли он свой обет:
Спасать людей от разных бед?
Конечно, да! Вот мой ответ.





Руслан Рамазанов,
5 класс, МОБУ СОШ с. Нижние Киги

Случилось чудо

У нас в саду растут две большие черёмухи. К ним каждый год прилетают соловьи, и поздней весной и в начале лета мы наслаждаемся соловьиной песней.

Это было в прошлом году. Мы с Рустамом, моим закадычным другом, строили новую конуру для нашего пса Мухтара. Вдруг мама с криком выбежала из дома, она ругала нашу кошку, которая залезла на дерево и напала на соловья.

Мама очень любит соловьиное пение. Она часто, бросив всю работу и забыв обо всем на свете, садится напротив открытого окна и слушает песню этих птиц.

И сегодня мама, отодвинув пироги, которые стряпала, опять наслаждалась этой чудесной песней. Сидя на невысокой веточке,

соловей так самозабвенно пел, что забыл об опасности. Мама слушала божественную музыку и одновременно внимательно следила за соловьем. Вдруг откуда ни возьмись появилась кошка и бросилась на соловья, а мама через открытое окно в кусты черемухи бросила скалку... и с криком выбежала. Мы все пошли к черемухе, а кошки-преступницы и след простыл. Все сильно расстроились: видимо, это коварное существо сбежало с соловьем в зубах. Но мама нам велела внимательно осмотреть местность. И вдруг я заметил маленькую птичку буровато-коричневого цвета, сидевшую у ствола черемухи. Конечно, это был соловей!

Я осторожно взял птичку и отдал маме.

У соловья был сломан кончик крыла. Мы осторожно положили соловья в маленькую коробочку и пошли





к нашей соседке, ветеринарному врачу Зайнаб-апе. Соловей дрожал, изредка издавал еле слышный какой-то непонятный звук. Зайнаб-апа очень сомневалась, что сможет помочь птичке и что такое крохотное существо может выжить... Но, по настоянию мамы, она все-таки наложила шины из зубочисток на кончик крыла соловья.

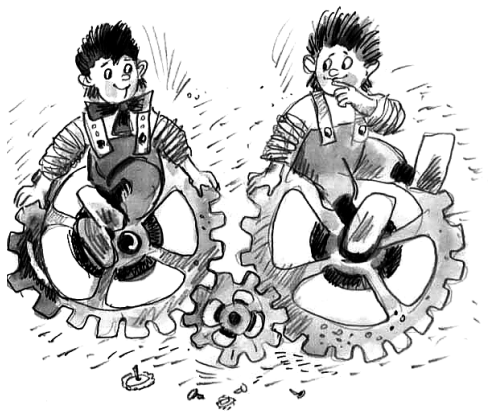
В семейном совете за содеянное преступление мы решили наказать кошку. Надо же было додуматься, поймать соловья! Мы с Рустамом положили ее в мешок и отнесли к бабушке, на другой конец деревни.

Соловья мама поила молоком, водой. По Интернету мы сразу изучили, чем питается соловей, натерли морковку и смешали с толчеными белыми сухарями, поставили в коробку. Потом мы с Рустамом сходили в сосновый бор за муравьиными яйцами и маленькими жучками. В первый день соловей сидел и почти не шевелился, мы очень боялись за него. На второй день мы с папой съездили в райцентр и купили для нашей птички специальный для насекомоядных корм и клетку. К нашему приезду соловей стал шевелиться, клевать. За всем этим мы наблюдали издалека, ведь соловей – очень пугливая птица!

Состояние птички с каждым днем улучшалось, видимо, крыло заживало, чему мы очень радовались. Соловей уже нас не боялся, иногда при нас клевал корм. Уже поднимал больное крыло! Мама ставила клетку перед открытым окном. Пели другие соловьи, но наша птичка к ним не присоединялась. Она ходила по клетке, подняв больное крыло, а через неделю стала медленно порхать. Дней через десять соловей начал издавать какие-то свисты, но еще не пел.

Через две недели соловей свободно ходил по клетке. Чтобы узнать, насколько окреп соловей, мы решили проверить: выпустили его в комнату – соловей полетел! А на следующее утро он запел. В тот же день мы его выпустили на волю.

Наша соседка Зайнаб-апа (она же ветврач) считала, что случилось чудо. Ведь удалось спасти такое крохотное и слабое существо.



Главный редактор
Горюхин Ю. А.

Редакционная коллегия:

**Бикбаев Р. Т., Вахитов С. В., Гаитбаев Н. А., Грахов Н. Л., Игнатенко С. В., Карпухин И. Е.,
Паль Р. В., Прокофьева И. О., Савельев И. В., Фенин А. Л., Фролов И. А., Фаттахутдинова М. С.,
Хрулев В. И., Чарковский В. В., Чураева С. Р.**

**Редакция
Приемная**

Назифуллина Р. М. (347) 277-79-76 (факс)

Главный бухгалтер

Давлетшина М. А. (347) 277-79-76

Заместитель главного редактора

Чураева С. Р. (347) 292-77-61

Ответственный секретарь

Вахитов С. В. (347) 223-91-69

Отдел поэзии и прозы

Фаттахутдинова М. С. (347) 223-91-69

Фролов И. А. (347) 292-77-61

Отдел публицистики

Чечуха А. Л. (347) 223-64-01

Технический редактор

Муратов И. М. (347) 223-91-69

Корректор

Дементьева Е. Н.

Оформление «Классного журнала»

Зайниева Е. В.

Адрес редакции, издателя:

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

E-mail: bp2002@inbox.ru

<http://bp01.ru>

<http://www.hrono.ru/proekty/belsk/>

Подписной индекс 50751.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ 02-00196,
выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по РБ 29 сентября 2009 года.

Подписано в печать 15.07.2015 г.

Формат бумаги 70*100 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитуры «FreeSet», «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,53.

Уч.-изд. л. 19,55. Тираж 1300 экз.

Заказ № 2.0136.15 Цена договорная.

Рукописи не рецензируются

*и не возвращаются. Требования
к рукописям размещены на сайте
журнала bp01.ru/advice.php.*

Телефоны доверия

ФСБ России: 8 (495) 224-22-22

МВД России: 8 (495) 237-75-85

ГУ МВД РФ по ПФО: 8 (2121) 38-28-18

МВД по РБ: 8 (347) 128. с моб. 128

МЧС России по РБ: 8 (347) 233-9999

Отпечатано с готовых файлов на
ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат
450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2
Телефон (347) 223-97-00

Выпуск издания осуществлен при
финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям.

*Передавая рукописи в редакцию журнала,
авторы соглашаются с условиями договора
оферты, размещенного на сайте bp01.ru*

*Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения
того или иного автора.*

*При перепечатывании материалов
ссылка на «Бельские просторы» обязательна.*